ДЕРИБАСОВСКАЯ РИШЕЛЬЕВСКАЯ

ОДЕССКИЙ

45

АЛЬМАНАХ

ОДЕССА ● ПЛАСКЕ АО ● 2011

ББК 84(4Укр-4Оде-2Од)63-47я430+63.3,014(4Укр-4Оде-2Од)63я430
Д 362
УДК 821.161.2'06=161.1(477.74-21)-92(082.1)+908(477.74-21)(09)"452.2"

Д 362 Дерибасовская — Ришельевская: Одесский альманах (сб.) / кн. 45 Всемирн. клуб одесситов: Сост.: Ф.Д. Кохрихт, Е.М. Голубовский, О.И. Губарь, И.Л. Липтуга. — Одесса: Издательская организация "ПЛАСКЕ" АО, 2011. — 328 с.

ISBN 978-966-8692-19-2

Д $\frac{4702640204}{2004}$ $\frac{0503020902}{2004}$

Редактор Феликс Кохрихт

Редколлегия: Евгений Голубовский (заместитель редактора)
Олег Губарь
Иван Липтуга

Editor Felix Kokhrikht

Editorial board: Yevgeniy Golubovsky (deputy editor)
Oleg Gubar
Ivan Liptuga

ISBN 978-966-8692-19-2

© Авторство художественных текстов, 2011

От редакции

В Одессу возвращаются международные фестивали. Горожане уже привыкли к джазовому, театральному, возрождается кинофестиваль и, наконец-то, литературный.

Для Одессы, города, давшего стране и миру плеяду выдающихся писателей, именно в литературном фестивале давно уже назрела потребность.

Тем радостнее, что Одесский литературный музей и московский журнал "Октябрь", его главный редактор Ирина Барметова, автор разработки концепции и творческой программы Международного Одесского литературного фестиваля, осуществляют этот проект.

Среди тех, кто способствовал исполнению замысла проведения Одесского Международного фестиваля, особо поблагодарим генерального партнера литературного музея АО "ПЛАСКЕ", его президента Олега Исааковича Платонова и народного депутата Украины Сергея Рафаиловича Гриневецкого.

Летний номер альманаха "Дерибасовская – Ришельевская" мы решили выпустить перед фестивалем (намечен он на 8-13 июля), в ходе литературных встреч устроить презентацию этого 45-го номера. Нам оказала огромную помощь Ирина Николаевна Барметова в организации материалов (стихи, рассказы, статьи, эссе...), которые помогут читателям альманаха познакомиться с писателями – участниками фестиваля.

Мы убеждены, что в Одессе нет нужды представлять писателей-одесситов (где бы они ни жили сегодня), участвующих в этом фестивальном номере, – Михаила Жванецкого, Юрия Михайлика, Ефима Ярошевского, Олега Кудрина. Их имена на слуху, они поддерживают статус неумирающей южнорусской школы, одесского "Юго-Запада".

А вот гостей фестиваля кратко представим в том порядке, в каком даны их тексты в альманахе.

Дмитрию Глуховскому 32 года. Начинал как журналист. Роман "Метро 2033" был выложен в Интернете и получил широкое признание читателей. В 2005 году роман был опубликован в издательстве "Эксмо". В Сети его прочли три миллиона читателей, а тираж бумажного издания превысил полмиллиона экземпляров. Сегодня у Глуховского опубликовано три романа, книги рассказов, пьеса. Он лауреат премии "Лучший дебют" (2007).

Валерий Попов живет в Петербурге, автор более двадцати книг прозы, президент Петербургского отделения Русского Пен-клуба, лауреат Премии С. Довлатова за лучший рассказ (1993), премии "Северная Пальмира" (1998), премии "Золотой Остап" (1999), Новой Пушкинской премии 2009 года.

Вячеслав Пьецух начал печататься в 1978 году. За эти годы у него вышло более 15 книг рассказов, повестей, романов. Из самых заметных премий – Новая Пушкинская премия (2006), премия "Триумф" (2010).

Асар Эппель, наверное, известен одесситам, прежде всего, как автор сценария и иронических стихов к песням в фильме "Биндюжник и король". Но он автор десятка книг прозы, переводов из Ю. Тувима и В. Незвала, И.Б. Зингера и Л. Стаффа., Б. Шульца и В. Шимборской. Награжден офицерским крестом ордена Заслуги (Польша, 2000 год).

Леонид Юзефович по профессии историк. Может быть, поэтому основной жанр его произведений – исторические детективы. Он "отец" сыщика Ивана Путилина, автор "Казарозы" и "Песчаных всадников". Лауреат премии "Национальный бестселлер" (2001) и "Большая книга" (2009).

Юрий Кублановский – поэт, публицист, критик. Его поэзию высоко оценивали как Иосиф Бродский, так и Александр Солженицын. Начинал в "СМОГе" вместе с Л. Губановым, В. Алейниковым. В 1982 году был выдворен из СССР, жил в Париже и Мюнхене. В 1990 году вернулся в СССР. В 2003 году получил Премию А. Солженицына, в 2006 – Новую Пушкинскую премию.

Владимир Салимон – поэт. Главный редактор журнала "Золотой век" (1991-2001), зам. главного редактора журнала "Вестник Европы" (с 2001 г.). Автор десяти книг стихов. Лауреат европейской премии Римской академии им. А. Драга за лучшую поэтическую книгу года (1995).

Евгений Солонович – переводчик с итальянского, подаривший русскоязычному читателю лучшие образцы итальянской классической поэзии. Профессор Литературного института в Москве. Командор ордена "Звезда итальянской солидарности".

Николай Богомолов – литературовед, профессор, лауреат Ломоносовской премии. Основные работы посвящены русской литературе начала XX века.

Представив авторов альманаха, хочется сказать, что на литературный фестиваль в Одессу их собрала возможность поразмышлять о традициях южнорусской литературной школы, их собрал Исаак Бабель, день рождения которого приходится на окончание фестиваля – 13 июля, призвала надежда на открытие в Одессе памятника И.Э. Бабелю.



Олег ГУБАРЬ

Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы*

Водоснабжение. Гидрогеологические исследования

Для лишенного значительных наземных водоемов нарождающегося города водоснабжение было одной из первостепенных проблем. Поэтому устройство водосборников и колодцев в низменных местах — в Водяной, Карантинной, Военной балках, на Пересыпи, в местах разгрузки подземных вод вдоль приморских обрывов ("фонтаны" с различным дебитом, впоследствии сделавшиеся топонимами), а равно гидрогеологические поиски, — все это составляло одно из важнейших занятий городского самоуправления с самого младенчества Одессы.

Так, в одной из описей Одесского городового магистрата числится не сохранившееся дело под заголовком "Сведения о состоянии и наличии воды в колодцах в 1796 г. в пожарное время"[1]. В той же описи значится и другое дело, от 19 августа 1799 г., — "О сборе с здешних городских жителей по 10 руб. на исправление колодца"[2]. В сохранившемся архивном деле 1798-1799 годов из того же фонда магистрата речь идет о необходимости соорудить вскладчину общественный колодец для водопоя, "по дороге с горы", выложить камнем, на что необходимо употребить 50 рублей[3]. Судя по всему, речь идет о колодце в Карантинной балке, "по дороге с горы" в направлении гавани. К.Н. Смольянинов упоминает об открытии в 1797 г. источников на морском берегу, среди которых есть один древний, кооптированный керамическою трубою[4].

Уже в самые первые годы существования города гражданские и военные обитатели устроили довольно значительное число колодцев, ибо наплыв гужевого транспорта требовал увеличения числа водопоев. На плане города Франполли 1807 г. только в Водяной балке и на Пересыпе обозначено не менее трех десятков колодцев. Не менее полутора десятка колодцев насчитывается в устье Карантинной балки и в целом близ порта и карантина.

Возле колодцев на Водяной балке и Пересыпе как раз и возникают первые промышленные предприятия, каковые, как и садовые заведения, вообще не могли состояться без наличия источников водоснабжения. Так,

* Продолжение. Начало в кн. 35-41, 43.

небезызвестный одесский старожил Николай Лифинцов 15 мая 1803 г. подает прошение об отводе ему места под хутор и промышленное предприятие близ хутора Дмитрия Калафати (выше упоминалось, что хутор Калафати — на Пересыпе) и господина Самарина, "подле криницы"[5]. 22 марта 1809 г. другой авторитетный старожил, именитый гражданин Кленов, просит место под кирпичный завод "на балке, где казенные колодцы (то есть на Водяной балке. — **О. Г.**), близ купца Егорова"[6].

После создания Строительного комитета устройство и эксплуатация городских колодцев, "фонтанов", искусственных поверхностных водоемов становятся регулярными, плановыми, бюджетными. Вместе с тем ОСК споспешествует сооружению и поддержанию в исправности частных и общественных колодцев и водопоев. Например, в заседании Комитета от 2 мая 1805 г. рассматривался вопрос "О починке всех в городе и вне оного колодцев и бассейнов и сделании одного нового бассейна по Тираспольской дороге, между пудренной фабрикой и г. Фраполли".

Финансирование работ осуществлялось из суммы, образующейся за счет сбора 2 1/2 копеек с каждой экспортируемой через одесский порт четверти пшеницы. Исполнение было поручено комиссионеру Еройскому, причем для заготовления материалов и прочих надобностей ему авансом под расписку вручалось 200 рублей[7]. 15 июня 1805 г. Ферстер докладывает Комитету, что в минувший воскресный день "при колодцах" единовременно работало 120 человек, которым заплачено 18 рублей[8]. Столь низкая оплата нелегкого труда, к слову, связана с тем, что работу выполняли солдаты, состоявшие на полном довольствии, и следовательно, получавшие меньшую оплату, нежели гражданские поденщики.

Упоминания о бесчисленных выплатах за рытье, починку, усовершенствование колодцев и ставков, устройство "фонтанов" рассыпаны в колоссальном количестве дел, посвященных деятельности ОСК. 13 сентября 1806 г. городской голова Амвросио рапортует Комитету о том, что им выдано каменщикам "за постройку за городом колодцев" 88 рублей. ОСК компенсирует эти расходы из портовой суммы[9]. Тут же на колодцы ассигнуется еще 200 рублей[10]. 20 сентября 1806 г. двоим мещанам выплачивают 150 рублей за сооружение двух колодцев[11]. 22 октября того же года дворянин Александр Теутул (тот самый, что впоследствии подарил значительный участок земли под Успенский монастырь на мысе Большой Фонтан) награждается похвальным листом: он сделал собственными силами два колодца, "за Херсонским шлагбаумом, по левую сторону дороги, идучи из города, под горе, между каменных скал"[12]. Местоположение их

ясно — район нынешнего Херсонского сквера. 25 октября одесские мещане имярек починяют и углубляют колодцы в Водяной балке, напротив садов майора Поджио и майора Спорити[13].

Два дела 1808 г. из фонда ОСК в значительной степени посвящены водоснабжению — "О исправлении колодцев, фонтала (то есть фонтана. — **О. Г.**) и других городских починок"[14] и "О проведении в город фонтала"[15]. В эти годы в городе начинают появляться поистине сверхглубокие колодцы, не такие "мелкие", как в низинах, а многосаженные, прорытые в высоком одесском плато до глинистых водоупоров, то есть до подошвы тех или иных водоносных горизонтов.

В некоторых случаях для водопоя можно было использовать так называемую "верховодку" — залегающий неглубоко загрязненный взвесью водоносный горизонт, водоупором для которого служат лессовидные суглинки. Следующий малоинтересный водоносный горизонт упирался в красно-бурые глины. Самый лучший, достаточно обильный и в прошлом экологически безупречный — понтический водоносный горизонт, в пористых трещиноватых известняках, подстилающихся тонкозернистыми меотическими глинами. Однако он проходит довольно глубоко от дневной поверхности, разгружаясь в море ("фонтаны"). Таким образом, колодцы из "верхнего города" в "нижний" в отдельных случаях превышали глубину в 40 метров! Впоследствии в духе античной традиции использовались также и цистерны для сбора дождевой воды, однако они не могли решить проблему водоснабжения: дождевые и талые воды применялись, так сказать, в качестве элитарных гигиенических и пищевых средств — для мытья волос, приготовления чая и т. п.[16]

Сооружение глубоких колодцев требовало не только определенных навыков, но и куда более солидных, чем прежде, капиталовложений. Однако строительство специализированных торговых рядов, прежде всего, мясных, предполагало и соответствующие издержки на водоснабжение. Заинтересованный со своей стороны в росте числа таких колодцев, ОСК поощрял тех искателей мест под застройку, которые обязывались не только соорудить дом или лавку по плану, но и вырыть при них колодец. Скажем, 18 февраля 1809 купец 3-й гильдии Тимофей Арешников просит место "по смежности новых резниц, на коем он расположен построить дом и вырыть колодец". По повелению герцога де Ришелье, просителю отводят место на один год для планового строительства и сооружения колодца[17]. 8 марта 1809 г. принимается решение о рытье глубокого колодца в районе пересечения нынешней улицы Жуковского и Авчинниковского

переулка. 15 марта городской голова Андросов заключает по этому поводу контракт на сумму 475 рублей с одесскими мещанами Черниговцевым и Холодковым. 22 марта Андросову выделяется 200 рублей на покупку камня для отделки этого колодца[18].

В течение того же года решается еще несколько вопросов улучшения водоснабжения. 29 апреля градской глава освидетельствовал городские колодцы и нашел, что многие требуют починки. Нужны: камень, доски, сваи. "А также на городской земле для водопою скота около двух фонталов, по причине большой грязи, потребно расчистить и насыпать мусор и законопатить корыта"[19]. 24 мая "для исправления на балке ближних 5-ти колодцев" выделяются необходимые материалы, а Андросову выдаются 150 рублей под расписку[20]. В тот же день "для исправления фонтана, состоящего не в отдаль хутора Его Сиятельства господина генерал-лейтенанта и кавалера Еммануила Осиповича дюка де Ришелье" отпускают 35 пудов не пережженной извести[21]. 17 июня отставной артиллерии поручик Антон Шостак передает часть своего контракта "по плотине на Водяной балке" отставному капитану Павлу Гебелю, и тот просит 1.000 рублей. Поскольку контракт с Шостаком был заключен на 4.500 рублей, и ему из них выдано только 1.500, то ОСК удовлетворяет прошение Гебеля[22]. Мы видим, таким образом, сколь масштабна и затратна деятельность Строительного комитета в сфере улучшения водоснабжения.

Эксплуатация колодцев на балках гужевым транспортом в этот период настолько интенсивна, что починки требуются регулярно. 4 августа 1810 г. Андросов докладывает о надобности исправить часть колодцев против сада майора Спорити, поскольку каменная кладка их снаружи разбита из-за часто подъезжающих "для набратия воды" фур[23]. 11 августа тому же майору Спорити возвращают 300 рублей за сооружение двух хороших колодцев вблизи его хутора[24]. Из этого расчета, между прочим, явствует, что рытье и облицовка глубокого колодца в "верхнем городе" обходилось в четыре с лишним раза дороже, нежели в "нижнем". К 21 ноября 1810 г. напротив сада сказанного Спорити было уже десять городских колодцев[25]. В этом же году требовали исправления "состоящий на городской земле фонтал близ хутора Рашковича"[26], то есть так называемый Рашковский фонтан, колодец в новом карантине — тут, правда, попросту сломался ворот[27] — и др. Под 1808 годом упоминается "ключ воды против Платоновской пристани"[28].

20 октября 1813 г. упоминается об исправлении одного из трех колодцев, состоящих при одесском военном госпитале[29]. Как известно, госпиталь находился над Военной балкой, близ нынешнего Воронцовского

дворца. То есть совершенно очевидно, что в устье Военной балки какое-то время уже функционировало, по крайней мере, три колодца. На плане Фраполли 1807 г. эти колодцы еще не обозначены. Следовательно, они устроены немного позже. 9 марта 1814 г. в ОСК поступает прошение граждан, проживающих на Херсонской площади, которые просят разрешить "выстроить колодец на площади против лавок 1-го квартала" (то есть примерно в створе Садовой улицы) на их общий капитал[30]. Как видно из многих архивных дел, подобные просьбы о сооружении вскладчину общественных колодцев на рыночных площадях всегда удовлетворялись.

Довольно много материалов из нескольких фондов посвящено истории устройства и эксплуатации под эгидой ОСК искусственных водоемов, прежде всего, в Водяной балке. Целый ряд сюжетов по этой проблематике — строительство, ремонт, возобновление городских плотин, ставков, бассейнов и т. д. — содержится, например, в журналах заседаний Строительного комитета разных лет[31].

Новые проблемы в ракурсе водоснабжения города возникли во время устройства второй, урезанной черты порто-франко, отсекавшей город от водообильных предместий. Тогда власти, в частности, инициировали новое "приискание воды" в Карантинной балке[32]. К периоду меж формированием второй и третьей версий черты порто-франко, 1823-1826 гг., относится чрезвычайно любопытное дело из фонда ОСК, которое так и называется: "О колодцах в Одессе"[33]. Оно содержит информацию не только о количестве и состоянии функционирующих в данный момент колодцев, но и ретроспективные сведения о качестве воды.

Начинается это дело докладом городового полицмейстера градоначальнику Гурьеву от 24 мая 1823 г. о том, что пришли в ветхость два устроенных ОСК колодца, а именно упомянутый выше колодец по улице Почтовой и другой, на Александровской площади. В связи с этим Гурьев запрашивает Комитет, на чей счет строились городские колодцы по улицам. В ответ на этот запрос ОСК уведомляет градоначальника, что с 1804 г. по сие время рытье колодцев "и вообще всякое устроение воды производилось Комитетом из сумм, в доход его представленных Высочайшим указом на имя дюка де Ришелье, состоявшимся в 11 день апреля 1803 года", в котором, в частности, говорится об использовании таможенного сбора на заведение и содержание "фонтанов, водопроводов, колодязей и тому подобных устроений"[34]. Здесь же — сметы, составленные Боффо на починку колодцев "внизу старого карантина", близ Военной гавани и на Александровской площади[35].

Исключительный интерес представляют собой ведомости городским колодцам — на Одесском плато и Пересыпе, в Водяной, Карантинной балках и др. В одной из них 13, а в другой 30 позиций. Указано не только местоположение и глубина, но даже вкусовые качества воды, что может оказаться полезным не только историкам, но гидрогеологам и экологам, прослеживающим эволюцию состава подземных вод. Проводивший эти исследования видный одесский медик и химик Иван Вицман сообщает в примечаниях к упомянутым ведомостям: качество воды на Молдаванке (то есть в Водяной балке) и двух приморских "фонтанах" выше, чем в перечисленных городских колодцах. Из реестра колодцам явствует, что глубина их на плато достигала 19-21 сажени, то есть превышала 40 метров[36].

В этом же деле немало информации об исправлении и восстановлении в середине 1820-х годов колодцев, устроенных в бытность Ришелье[37]. Одним из главных действующих лиц в этом процессе был ученый-естествоиспытатель инженер-майор Ж.В. Гаюи, управляющий I отделением IV округа путей сообщения. Он, между прочим, составил проект универсальным механизмам и оформлению колодцев, включая металлические шатры. Чертежи и деньги были отправлены на Луганский литейный завод для изготовления двух образцовых комплектов[38].

В числе прочих пришел в ветхость и очень важный подземный водоем — так называемый "фонтан на Херсонском спуске". Воссозданию этого "фонтана" посвящено отдельное архивное дело 1826 г. из фонда ОСК[39]. Водоем этот впоследствии использовался Когановским учреждением и многими окрестными жителями. А тогда, 16 июня 1826 г., был заключен контракт с "фонтанным мастером Яни Суольджи". Имя как будто турецкое, однако в другом архивном деле, связанном с той же проблематикой (устройство "фонтанов" летом 1824 г.), его называют болгарином[40]. Согласно контракту, этот иностранный фонтанный мастер в паре с одесским мещанином Афанасием Масленниковым обязывались отрыть и очистить ключ, после чего надлежало составить смету по проводке каменных труб к водохранилищу. Подрядчики сделали свое дело исправно, и при освидетельствовании члены Комитета коммерции советник Рено, градской глава Лучич и архитектор Фраполли констатировали увеличение дебита до такой степени, что в две минуты натекало более ведра. Затем был устроен бассейн со всеми атрибутами, вплоть до медного крана. В конце ноября "вода имеет беспрерывное течение, и доставляет собою продовольствие жителям предместья пересыпа"[41]. Здесь следует уточнить, что под Пересыпом территориально понимался район не только за нынешним

мостом (железнодорожной насыпью), но и весь Херсонский сквер, начало Балковской улицы, отроги Нарышкинского спуска.

Во второй половине 1820-х и в 1830-е годы в делах Строительного комитета попадаются уже сюжеты, связанные с сооружением каменных цистерн для сбора и хранения дождевой и талой воды. Скажем, в деле, касающемся обустройства участка и помещений, занимаемых местной Питейной конторой, идет речь о строительстве цистерны "пополам с городом, по 1500 рублей". Правда, город отказался от оного совместного предприятия, посчитав его невыгодным[42]. В середине 1830-х с предложением о сооружении цистерны выступили домовладельцы Александровской площади, однако и в этом случае возникло немало препятствий[43].

Вместе с тем, мы наверняка знаем о наличии в 1830-1840-е годы действующих цистерн в доме призрения нищих и в женском монастыре[44]. "Мы не имеем сведений, когда начали устраивать в Одессе цистерны, — пишут составители книги, изданной муниципалитетом к 100-летию города, — знаем только, что в 1827 г. было разрешено устройство цистерн в городских казармах, и полагаем, что в частных домах цистерны начали устраивать гораздо раньше. В конце пятидесятых годов, по данным А. Шмидта, в Одессе было 875 цистерн"[45]. Посетивший город в это время литератор М. Чистяков также упоминает о сборе питьевой воды в каменные цистерны, подчеркивая, что колодезная вода жестковата и мало пригодна для приготовления пищи[46]. М. Синявер констатирует: "Цистерны насчитывались в Одессе сотнями, но в настоящее время сохранилось лишь незначительное число их"[47]. Любопытно, что немало цистерн во дворах частных домов дожили до настоящего времени: на Греческой, Екатерининской, Преображенской, Херсонской, в Малом и Барятинском переулках и т. д.

В 1861 г. в 1-й части города функционировало 36 колодцев, во 2-й — 62, в 3-й — 150, в 4-й — 208, и в 5-й — 416. Наибольшая их плотность, по понятным причинам, по-прежнему приурочена к Водяной балке. При этом глубина наибольшего колодца в 1-й части составляла 23 сажени, то есть 49 метров. М.Б. Чистяков упоминает колодцы глубиной в 180 футов[48], то есть без малого 55 метров. Данные эти опубликованы в первом выпуске сборника трудов Одесского статистического комитета на основании тщательных изысканий Комитета по исследованию одесской почвы[49]. О деятельности последней институции, в которую входили квалифицированные специалисты, осталось довольно много материалов в фонде ОСК, и к этому мы еще вернемся.

Хорошим подспорьем к архивным источникам служат публикации, относящиеся к истории водоснабжения и помещенные в местной ретроспективной периодике. Скажем, в одном из сообщений "Одесского вестника" есть сведения о дебите наиболее значимых "фонтанов", расположенных в окрестностях города, — результаты исследований Ж.В. Гаюи 1818-1819 годов[50] и др.

Другой сюжет. В первой половине 1830-х по инициативе генерал-губернатора (идея градоначальника А.И. Лёвшина) в Одессе создали акционерную "Компанию артезианских колодцев". По этому поводу Министерство финансов заключило контракт в Париже. Дело было благое, а в случае успеха сулило и значительные выгоды. Практически все известные в городе фамилии приобрели недешевые акции, нередко по нескольку штук. Однако осуществленные французскими специалистами гидрогеологические исследования, включая устройство дорогостоящих буровых скважин, дали довольно скромные результаты, и ожидаемых дивидендов не принесли. Две гидрогеологические скважины со слабым дебитом поступили в распоряжение ОСК.[51]

Примечания

[1] Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 17, оп. 3, д. 72.

[2] Там же, д. 127.

[3] Там же, ф. 17, оп. 1, д. 55. — 33 л.

[4] Смольянинов К.Н. История Одессы. — Одесса, 1853. — С. 37.

[5] ГАОО, ф. 17, оп. 3, д. 214, л. 15.

[6] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 198.

[7] Там же, д. 257, л. 179.

[8] Там же, л. 287-288.

[9] Там же, д. 258, л. 32.

[10] Там же, л. 33.

[11] Там же, л. 59.

[12] Там же, л. 128.

[13] Там же, л. 135.

[14] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 26. — 172 л.

[15] Там же, д. 25. — 1 л.

[16] Заметки и воспоминания русской путешественницы по России, в 1845 году. — СПб., 1848. — Ч. 2. — С. 29-30; Из прошлого Одессы. Сб. статей. / Сост. Л.М. де-Рибасом. — Одесса, 1894. — С. 11.

[17] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 259, л. 98.

[18] Там же, л. 162, 174, 203, 204.

[19] Там же, л. 275.

[20] Там же, л. 318.

[21] Там же, л. 320.

[22] Там же, л. 408.

[23] Там же, д. 262, л. 7.

[24] Там же, л. 20.

[25] Там же, л. 327.

[26] Там же, л. 51.

[27] Там же, л. 58.

[28] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 26.

[29] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 266, л. 278-279.

[30] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 80, л. 49.

[31] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 257, л. 179; д. 259, л. 408; д. 262, л. 12; д.264, л. 241 и др.

[32] Там же, ф. 59, оп. 1, д. 231, л. 3.

[33] Там же, д. 260. — 92 л.

[34] Там же, л. 1, 3.

[35] Там же, л. 9.

[36] Там же, л. 27-28, 31-33.

[37] Там же, л. 36, 46, 54, 56, 64.

[38] Там же, л. 71, 72, 76, 83, 84, 88, 89, 91.

[39] Там же, оп. 2, д. 95. — 64 л.

[40] Там же, ф. 2, оп. 5, д. 286, л. 13.

[41] Там же, ф. 59, оп. 2, д. 95 л. 56.

[42] Там же, д. 128, 42 л.

[43] Там же, оп. 1, д. 2118. — 14 л.

[44] Заметки и воспоминания русской путешественницы по России. — Ч. 2. — С. 29-30.

[45] Одесса, 1794-1894. — С. 276.

[46] Чистяков М. Из поездок по России. — СПб., б. г. — С. 40-41.

[47] Синявер М.М. Архитектура старой Одессы. — Л., 1935. — С. 33, 39.

[48] Чистяков М. Из поездок по России. — СПб., б. г. — С. 41.

[49] Труды Одесского статистического комитета. — Вып. 1. — Одесса, 1865. — С. 91-106.

[50] Одесский вестник. — 1831. — 4 апреля (№ 27). Чрезвычайно значимым источником изучения истории водоснабжения Одессы, как и благоустройства города в целом (мощение, озеленение и проч.), может служить переписка градоначальника А.И. Лёвшина с генерал-губернатором М.С. Воронцовым 1828-1846 гг., см.: Архив князя Воронцова. — М., 1893. — Кн. 39. — С. 1-202.

[51] Одесский вестник, 1833, № 30, 19 апреля; К.Н. Смольянинов. История Одессы. — Одесса, 1853, с. 214; Архив князя Воронцова. Книга XXXIX. — М., 1893, сс. 5, 19, 52-53, 58, 69, 72, 76-77, 82, 93, 107.

Ева КРАСНОВА, Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ

"Соловки — жемчужина Белого моря"

Именно так называлась экскурсионная поездка в Архангельск и на Соловецкие острова, которая предлагалась одесситам летом 1980 года. В те времена в моде были поездки на Север: Кижи, Валаам, Соловки — манили начитанных советских людей своими загадками. Что-то мы читали о старинном монастыре на Соловецких островах, превращенном в начале 1920-х годов в Соловецкий лагерь особого назначения — СЛОН, а в 1937 году — в тюрьму с говорящим названием СТОН.

Туристов размещали в бывших монашеских кельях, кормили в трапезной, где после изгнания монахов питались заключенные и охрана, а главное — на территории бывшего монастыря в те времена можно было лазать везде и всюду круглые сутки, чему способствовали незабываемые заполярные белые ночи. Экскурсоводы, как и мы, почитывали Солженицына в самиздате ("Архипелаг ГУЛАГ" тогда был издан только за рубежом), рассказывали много интересного об истории этого уникального острова. Верхушку монастырской колокольни вместо креста венчала красная звезда, водруженная с огромным риском для жизни каким-то отчаянным заключенным, которому обещана была свобода.

Известно, что пока на Соловках функционировал монастырь, монахи полностью обеспечивали себя сами всем необходимым. При монастыре работала даже типография. Издавна в царские времена сюда ссылали неугодных власти людей, и молодая советская власть, закрыв монастырь и выгнав монахов, решила развить традицию и перевоспитывать в этом месте тех, кто был недоволен советской властью.

Образованные заключенные, которых было большинство в 1920-х и 1930-х годах, создали театр, выпускали еженедельную газету "Новые Соловки", литературно-художественный журнал "Соловецкие острова", издавали открытки. Руководило всеми этими работами Бюро печати СЛОН.

Сохранившаяся в библиотеках и архивах периодика Соловецкого лагеря красноречиво свидетельствует о жизни тех, кто не по своей воле подчас совершенно незаслуженно оказался в этом суровом, но загадочно прекрасном заполярном краю.

Всех, кто наградил нас Соловками,
Просим, приезжайте сюда сами,
Посидите здесь годочков три иль пять —
Будете с восторгом вспоминать.



О. Браз. Соловки. Преображенский собор



О. Браз. Кремль с западной стороны



И. Недрит. Белая башня и пристенок

Эти полные горькой иронии строки из стихотворения заключенного Бориса Емельянова написаны в конце 1920-х годов. Сейчас опубликовано много стихов, написанных на Соловках, существовал даже Соловецкий гимн, исполнявшийся заключенными перед проверяющим начальством.

Особое место среди документальных свидетельств существования СЛОНА занимают почтовые карточки — открытые письма, печатавшиеся в бывшей монастырской типографии, работавшей на Соловках до 1930 года.

Заключенные охотно приобретали их и отправляли своим родным во все концы Советской страны.

Сюжеты открыток разрабатывались самими заключенными: художники рисовали виды Соловков, фотографы делали пейзажные и даже репортажные снимки.

Больше двух лет, с 1924 по 1926 год, провел в исправительной ссылке на Соловках замечательный художник, портретист и пейзажист, одессит, выпускник Одесской рисовальной школы по классу К. Костанди и Петербургской академии художеств по классу И.Е. Репина, Осип (Иосиф) Эммануилович Браз (1873-1936). Перед арестом художник трудился хранителем

Эрмитажа и много сделал для сохранения и реставрации картин старых мастеров из музейной коллекции. Благодаря заступничеству художественной общественности удалось добиться освобождения заключенного. В 1920-х годах, в самом начале террора, такие чудесные избавления иногда случались. Освободившись, О.Э. Браз вскоре уехал за границу.

Находясь на Соловках, Осип Эммануилович много рисовал могучие церковные строения бывшего монастыря. На открытки попали автолитографии нескольких видов Преображенского и Успенского соборов, запечатленных художником в разное время года. Бюро печати УСЛОН отпечатало открытки в 1926 году в бывшей монастырской типографии на желтоватой бумаге тиражом 1000 экземпляров. Позднее эти открытки переиздавались в других соловковских сериях на более плотной бумаге.

Восемь гравюр по дереву с видами башен и церквей старинного Соловецкого монастыря, названного при советской власти кремлем, были выполнены еще одним художником-заключенным, выходцем из Латвии Иваном Петровичем Недритом (1887-1938). Известно, что И. Недрит заведовал цинкографией в Риге, принимал участие в художественной выставке в 1919 году. После первой соловецкой отсидки он был арестован вторично в зловещем 1937 году,



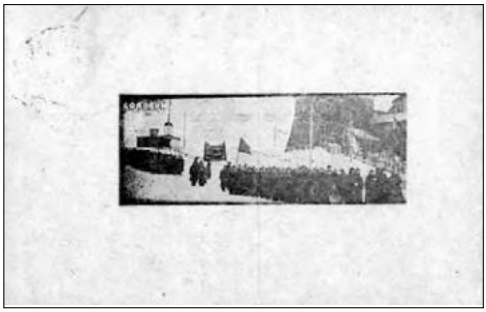
И. Недрит. В Кремле



И. Недрит. Уголок в Кремле



И. Недрит. Вид на Кремль с севера



Демонстрация заключенных 7 ноября 1925 г.



Демонстрация заключенных 7 ноября 1925 г. Реверс

расстрелян в 1938 году, реабилитирован в 1989.

Все колоритные гравюры латышского художника стали впечатляющими сюжетами соловецких открытых писем, отпечатанных на плотной бумаге и обрамленные черной рамкой. Авторство И. Недрита подтверждалось слитыми вместе буквами "И" и "Н", заметными на каждой открытке.

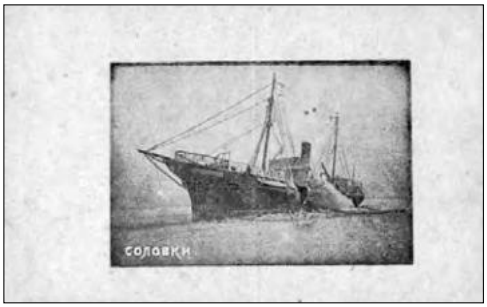
Мощная, по-северному строгая красота древних башен и церквей соловецкого ансамбля в работах Недрита сочеталась с неповторимой окружающей природой. Вид старинных башен ночью и днем на фоне грозного неба передавали печаль заключенного-художника.

Значительно разнообразили видовые сюжеты на открытках фотографии, выполненные в большинстве своем, по-видимому, штатным фотографом УСЛОН Эрлихом. Скорее всего, он также был заключенным, однако достоверно это неизвестно.

Большая серия пейзажных фотографий с красотами монастыря, снятых с разных сторон, объединена словом "Соловки", нанесенным на изображения и попавшим на открытки.

Особо выделялись сюжетом и оформлением две фотооткрытки на тонкой бумаге с надписью "Соловки". На одной из них большая группа лю-

дей с флагом и транспарантом — фотограф запечатлел демонстрацию заключенных 7 ноября 1925 года. Это единственное изображение обитателей Соловецких островов на открытках.



"Глеб Бокий" во льдах. Декабрь 1925 г.

Среди большого разнообразия монастырских видов люди не видны вообще нигде. Уникальная фотография отпечатана в малом формате и по каким-то дизайнерским замыслам заняла лишь центральную часть открытки, снимок окружает широкое белое поле.

Похожа по дизайну еще одна открытка с надпечаткой "Соловки", на которой снят пароход "Глеб Бокий" во льдах в декабре 1925 года. Крепкие северные льды, появлявшиеся у берега уже в октябре, прекращали навигацию в Белом море на несколько зимних месяцев.

...А зимой стерегут от беды
Целых полгода крепкие льды.

По крепкому зимнему льду заключенные с конвоем двигались пешком, да еще тащили за собой лодки, чтобы переправляться через возникающие полыньи. А расстояние от Кеми на материке до Соловков составляло 60 километров!

Пароходик "Соловецкий", исправно возивший до революции в летние месяцы паломников с материкового города Кемь на Соловки и обратно, получив имя одного из создателей ГУЛАГа Глеба Бокия, продолжал курсировать по тому же маршруту, но с заключенными и их охраной. Будущий академик Д.С. Лихачев в воспоминаниях о соловецком заключении назвал Г. Бокия людоедом, принимавшим в "тройке" решение о расстрелах.

Но вернемся к соловецким открыткам, которых всего было выпущено четыре издания. Открытки продавались на Соловках и на материке, в Кемском пересыльном пункте (Кемперпункте), охотно раскупались заключенными для отправки родственникам и друзьям.

После 1930 года типография на Соловках, печатавшая открытки, газеты и журналы, была разобрана и переведена на материк, выпуск открыток был прекращен и никогда не возобновлялся, запасы их постепенно иссякли. Теперь соловецкие открытки 1920-х годов стали огромной филокарти-

ческой и человеческой редкостью: их можно обнаружить только у получателей, членов семей и друзей заключенных, сохранявших почтовые карточки как память о любимых.

Из 23 соловецких коллекционных открыток 16 "прошли почту", как говорят филокартисты. Все они были отправлены заключенным 1 отделения 10 роты Соловецкого лагеря Спиридоном Иустиновичем Калиным в Одессу родным. 14 открыток адресованы дочери — подростку Ольге Спиридоновне Калиной, проживавшей вместе с матерью — женой Спиридона Иустиновича Марией Мефодиевной Калиной, и многочисленной родней с ее стороны на улице Мечникова, 72, квартира 2. Когда жена с дочерью гостили в деревне, соловецкий узник адресовал открытку в ту же квартиру племяннице жены Аннушке — Анне Антоновне Бродовской.

Обвинение, которое было предъявлено Калину, стало нам известно благодаря помощи замечательной женщины, одесситки в нескольких поколениях, истинной подвижнице в деле восстановления исторической правды о массовых репрессиях, совершавшихся в СССР, и увековечивания памяти о жертвах советского тоталитаризма, доцента-филолога Одесского национального университета им. И.И. Мечникова Лидии Всеволодовне Ковальчук.

Из копии материалов дела 28583 архива УСБУ в Одесской области стало известно, что Спиридон Калин родился в 1881 (или 1883) году в Кишиневе, до ареста работал счетоводом на одесской телефонной станции. По постановлению Коллегии ОГПУ, он был арестован 11.05.1928 года и обвинен по статье 58-6 УК РСФСР 1927-60 годов (шпионаж). 31.08.1928 года Калину был вынесен приговор, предусматривавший лишение свободы сроком на три года в концентрационном лагере.

Судя по коллекционным открыткам, эти три года Спиридон Иустинович провел на Соловках. После истечения трехлетнего срока со дня ареста, 30.04.1931 года, Калину был вынесен окончательный приговор — лишение сроком на три года права проживания в 12 населенных пунктах, а также Чите и Омске.

Автор посланий с Соловков был не единственным и, судя по срокам, не главным фигурантом дела. Вместе с ним по делу проходили два его земляка, родившиеся в Кишиневе в 1894 году: счетовод Павел Алексеевич Холодков и лицо без определенных занятий Дмитрий Георгиевич Степанов. П. Холодков, как и Калин, был осужден на три года лагерей, а Д.Г. Степанов получил по приговору 10 лет концлагеря. Видимо, ОГПУ посчитало именно его главным шпионом в этой беспартийной троице выходцев из Молда-

вии. Трудно себе представить, в пользу какого государства могли шпионить эти рядовые граждане, какими владели секретами, представлявшими интерес для иностранцев. Абсурдность множества обвинений, составленных зачастую на основании доносов, нам теперь хорошо известна. Реабилитации бывших заключенных проводились массово во второй половине XX века. Прокуратура Одесской области приняла решение о реабилитации всех троих 17.04.1998 года, когда никого из них уже не было в живых.

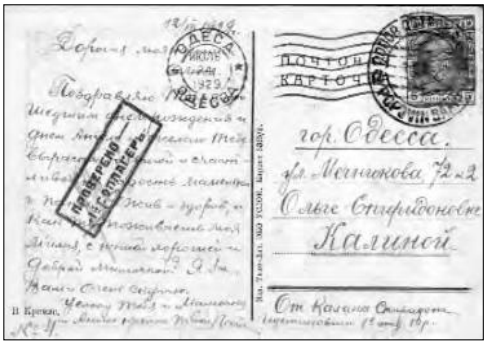
Вернемся к текстам соловецких открыток, регулярно отправлявшихся заключенным С.И. Калиным, отбывавшим наказание по приговору ОГПУ в СЛОНе.

Письма дочери пронумерованы от № 1 до № 21, но некоторые номера в нашей коллекции пропущены. Самая ранняя дата написания письма — 14.06.1929 года, через десять месяцев после вынесения приговора, самая поздняя — 20.08.1930 года, за семь месяцев до окончательного приговора, определившего поселение.

Мы не можем установить, как долго заключенный Калин добирался из Одессы на Соловки, но прохождение посылаемых им открыток нетрудно проследить по почтовым штемпелям на них и датам, поставленным заключенным счетоводом.

Рассмотрим уникальные по своей редкости почтовые штемпеля на открытках. Дата написания письма отличалась от даты отправки, читаемой на почтовом штемпеле, на 10-12 дней. За это время почтовое отправление подвергалось цензурной проверке: на всех открытках поперек текста стоит штамп: "Проверено — 1-й Соллагерь" и "Проверено — УСЛОН". Кроме того, почта находилась на материке, в городе Кемь, названном А.И. Солженицыным "воротами Соловков", и "на унылом, без дерева, без кустика, Попов острове, соединенном дамбой с материком". Через Кемперпункт проходили все заключенные, направлявшиеся на Соловки, и единицы, которым, как Осипу Бразу, удалось оттуда выбраться. Как писал в воспоминаниях академик Д. Лихачев, сосланный, как и Калин, по абсурдному обвинению на Соловки, в Кеми кончалась "власть советская" и начиналась "власть соловецкая".

На штемпеле отправления открытых писем заключенного Калина 1929 года читаются слова: "Попов остров" на русском и финском языках: "Popovin saari". Штемпели писем 1930 года несколько изменены: "Кемь. АКССР" (Автономная Карельская советская социалистическая республика в составе Российской Федерации существовала с 1923 года) и "Kemin" по-фински.



Проверено. 1-й соллагерь. Попов остров



Проверено. УСЛОН. Попов остров



Штамп Кемь

В центре штемпелей — дата отправления, сверив ее с одесским почтовым штемпелем, мы узнаем, что открытки с Белого моря добирались до жемчужины на Черном море, Одессы, за 7-8 дней.

Тексты коллекционных открыток, посылавшихся Спиридоном Иустиновичем с Соловков, свидетельствуют об образованности отправителя. Кроме того, у него прекрасный четкий, легко читающийся почерк. Тщательность и аккуратность в нумерации посланий и датах отправки выдает бухгалтера-счетовода. Видимо, до революции он получил соответствующее образование и занимался коммерцией вместе с братом Фомой Иустиновичем, жившим в Одессе на Новосельского, 43. В нашей коллекции есть открытка с текстом на молдавском или румынском языке, посланная ему из родного Кишинева деловым партнером.

Летом 1930 года заключенный Калин был переведен из I отделения в IV, что видно из его обратного адреса. В адресе указано еще одно соловецкое географическое понятие — Муксалма. Это один из малых Соловецких островов, соединенный с основным дамбой. Известно, что на Муксалму ссылали провинившихся монахов, затем, как в карцер, узников СЛОНа.

Заброшенное здание тюрьмы на Муксалме, которое мы как экскурсанты увидели в 1980 году, все еще вызывало ужас и создавало ощущение полной беспомощности, незащищенности и безысходности. Толстые стены, мощные, не разрушенные временем решетки, обшитые металлом двери с пудовыми амбарными замками заставляли думать, что выбраться из этой тюрьмы невозможно.

Что делал на Муксалме заключенный Калин, чем провинился, и на какие работы его вместе с ротой и отрядом направляли, он в своих посланиях дочке не пишет. Формат открытки был очень удобен для властей, так как позволял сообщать только скупой разрешенный текст: "Жив, здоров, скучаю..." — на большее просто не было предусмотрено места на почтовой карточке.

Однако сохранились сведения из воспоминаний заключенного СЛОН Бориса Солоневича, бежавшего в Финляндию и опубликовавшего там в 1937 году свои рассказы о Соловках: "Представьте себе работу изо дня в день, из ночи в ночь, без праздников и отдыха, на низком скалистом берегу моря. Из этого моря нужно вытаскивать и складывать в штабеля мокрые бревна, так называемые баланы. Эти баланы, добытые в лесу силами заключенных, потом идут на экспорт. И не раз где-нибудь под корой бревна иностранцы находили слова мольбы о помощи, написанные кровью рабов советской страны".

Возможно, Калина использовали на каких-то канцелярских или кухонных работах, а не на добывании баланов. Спиридон Калин ничего не писал об этом, в своих кратких посланиях он касался только разрешенных бытовых тем. Но даже самые простые слова в его открытках пропитаны глубокой тоской по такому далекому родному дому, оставшимся там близким, особенно по дочке — "Крошке Олюсе". Можно себе представить, как тяжело человеку, насильственно вырванному из благополучной крепкой семьи и оказавшемуся в тяжелых условиях. Ясно, что привыкшему к умственному труду счетоводу нелегко было в 45-47 лет заниматься изо дня в день изнурительным физическим трудом в суровых условиях Севера.

Из текстов понятно, что жена посылала Спиридону Иустиновичу продуктовые посылки и деньги, за что он постоянно благодарил ее. Дарье Мефодьевне Калиной адресована только одна коллекционная открытка, написанная в июле 1929 года. Видимо, она жаловалась мужу в письме, что ей приходится нелегко в разлуке с ним. Соловецкий узник отвечает, что "нам всем очень трудно живется в разлуке, но ничего не поделаешь, будем терпеть, авось настанут лучшие дни".

Никаких подробностей о тяготах лагерной жизни он написать не мог, да, наверное, и не хотел волновать близких, только постоянно просил жену и дочь беречь себя и заботиться друг о друге.

О дальнейшей судьбе заключенного Калина мы ничего не знаем. Как жилось ему в ссылке, и где он ее отбывал? Смогли ли и захотели ли приехать к нему горячо любимые жена и дочь? То, что он перестал посылать открытки, могло означать только то, что запас их на Соловках закончился в связи с ликвидацией типографии. В дальнейшем, да и ранее, заключенный мог писать письма, а они далеко не всегда сохранялись родственниками. В этом случае иллюстрированные открытки имели преимущество.

Остальные коллекционные иллюстрированные соловецкие открытки не подписаны заключенными. Однако все они, созданные усилиями талантливых людей, оказавшихся в этом суровом и прекрасном краю не по своей воле, навсегда останутся документальными свидетельствами не только красот северного края и старинной архитектуры, но и деяний молодого советского государства, где не ценилась человеческая жизнь, и грандиозные проекты осуществлялись за счет непосильного труда тысяч заключенных.

Как любые подписанные вручную открытые письма, послания узников СЛОНа Спиридона Калина и других, неизвестных нам, сыграли и свою привычную роль, предопределенную им двадцатым веком, — передавали весть от сердца к сердцу.



Олег ГУБАРЬ

"Энциклопедия забытых одесситов"
Из новой книги

Майор по имени Меер, или Где размещалось первое одесское варьете

Какие только благоглупости и курьезы не просачиваются в каноническую историю Одессы... Забавно то, что таковые нередко вводятся в научный и бытовой оборот весьма серьезными исследователями — не предумышленно, конечно, а по недоразумению. Вот типичный сюжет.

В одном из первостепенных источников по истории города, книге А. Орлова "Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год", изданной в 1885 году, где речь идет об устроителях общественных развлечений на рубеже XVIII-XIX столетий, упоминаются содержатели "маскератов и увеселительных вечеринок" "купцы: Степан Рожнов и Майор Рейзмани, цесарская (то есть австрийская. — **О. Г.**) подданная, еврейка Рухля Давидова и Анна Львова"[1].

Публичные увеселения имели место, по крайней мере, с начала 1796 года. Об этом прямо говорится в ордере замещавшего в это время де Рибаса генерал-майора Киселева градоначальнику секунд-майору Небольсину от 16 февраля того же года: "Чтобы при случае надобности к публичным зрелищам, в маскарад и подобным тому местам для содержания караула требовать людей от его (градоначальника. — **О. Г.**) дежурства из выбранных в гребцы (то есть базировавшуюся здесь гребную флотилию. — **О. Г.**), заслуженных храбростью против неприятеля, особливо уважения достойных, и чтобы оным за труды было производимо от содержателей публичных мест каждому по 25 копеек".[2] Оплата за дежурство, к слову, вполне приличная: землекоп, например, получал в эти годы от 40 до 80 копеек за долгий и напряженный рабочий день.[3]

До 13 апреля 1799 года увеселения дозволялось проводить без уплаты пошлины в городской бюджет, а затем полицмейстера, надворного советника С.Е. Лесли уведомили, что содержатели обязаны заключать годичные договоры с Одесским городовым магистратом.[4] В результате Рожнов и Рейзмани оформили необходимые контракты — соответственно на 100 и 150 рублей. Кроме всего прочего, они обязывались подписками блюсти благопристойность, порядок и тишину, для чего к увеселительным собра-

ниям приставлялся полицейский десятник (гражданский чин), за каковое удовольствие в городской доход полагалась всякий раз оплата в 5 рублей. Приглашения на таковые мероприятия оформлялись на карточках с изображениями, но без текста, в противном случае потребовалось бы разрешение цензуры.

В качестве иллюстрации к этому сюжету ссылающийся на материалы Московского архива министерства юстиции А. Орлов приводит следующий эпизод. Однажды купчиха Рожнова подала прошение в муниципалитет, в котором сказано: "Имея от Магистрата свидетельство на устройство увеселительных вечеринок, назначила таковую на 1-е января 1800 г., и когда съехалось уже разного звания чинов, то с приказания полицмейстера Лесли частный пристав, пришедши с несколькими вооруженными солдатами, увеселение запретил, а музыкантов выгнал, а между тем соседке, еврейке Рухле, позволил". По этой причине Рожнова просит возместить ей убытки за разноску приглашений, наем танцовщиц, прислуги, музыкантов, отопление помещений, за свечи, приготовленные закуски, кофе, шоколад, сливки, лимоны. Кроме того, она потеряла деньги, полагавшиеся за входные билеты: собралось 30 лиц мужского пола.

К комментарию этого сюжета мы вернемся ниже, а пока обращаю внимание на то, что из академического издания он в искаженном виде перекочевал в научно-популярные, а далее пошел гулять по страницам газет и сайтам интернета. Так, уже в изданной к 100-летию города авторитетнейшими профессорами императорского Новороссийского университета А.И. Кирпичниковым и А.И. Маркевичем брошюре "Прошлое и настоящее Одессы" прямо указывается на содержателей "маскератов" и увеселительных вечеринок купца Степана Рожнова, майора Рейзмана, Анну Львову и еврейку Рухлю Давидову, у которых "время проводилось за картами, кутежами и развратом".[5]

Относительно последнего пассажа нам совершенно нечего возразить: разумеется, тридцати лихим разночинцам первобытной, мягко говоря, не вполне цивилизованной Одессы (здесь в те времена творились жуткие бесчинства) не оставалось ничего иного в "зале и покоях", где их ожидали арендованные "танцовщицы", уличные музыканты, выпивка и закуска. К слову, в своем обращении Рожнова догадалась не перегибать палку, и просила возмещения затрат "за исключением купленных напитков". По существу же дела тут можно кое с чем и не согласиться. Ну, во-первых, не кажется ли вам, что четыре увеселительных центра для новорожденного города чересчур много? В самом деле, после кончины покровительни-

цы-императрицы Одесса буквально погибала — вплоть до небезызвестной отправки апельсинов к "высочайшему двору" и последовавших вслед за тем милостивых санкций. Но посылка сия была отправлена в феврале 1800 года, а наши обстоятельства связаны с предшествующим периодом очевидного упадка.

Учитывая все это, принялся копаться в архивных документах тех лет, в частности, из фонда Одесского городского магистрата. Здесь сохранилась и часть контрактов, заключенных им по разным поводам: скажем, найма лиц для выпаса скота, принадлежавшего одесским гражданам (вообразите себе, коров выгоняли из пределов нынешних улиц Дерибасовской, Греческой, Екатерининской и проч.), охраны недостроенных сооружений, аренды общественных бань, городских мер и весов, винной продажи и т. д. Тут-то и обнаружился один из интересующих нас контрактов. На поверку оказалось, что упомянутый майор Резмани на самом деле не российский офицер с немецкой фамилией, а еврей Майорка (в русской транскрипции), то есть Меер Рейзман.

3 января 1801 года он заключил договор с "одесским городовым управлением" о содержании в городе "публичных увеселений (кроме благородных) от сего числа впредь на один год с платежом за то в городской доход ста пятидесяти рублей денег, присовокупя к тому и остающуюсь за мною в недоимке городовому управлению за содержание в прошлом 1800 году таковых же увеселений тридцать шесть рублей пятьдесят копеек". Контракт предусматривал монопольное право Рейзмана на организацию таковых мероприятий в Одессе и был подписан как им самим, так и городским головой (бургомистром) и бухгалтером. Если же кто-либо незаконно устроил бы публичные увеселения, городские власти обязывались незамедлительно пресекать подобные выходки.[6]

Из этого следует, что Рожновы, очевидно, имели соответствующий контракт на 1799 год, а Рейзман — на 1800-й, оттого полицмейстер по распоряжению городского начальства и запретил Рожновым вечеринку 1 января 1800 года. По данным того же А. Орлова, Степан Рожнов на 31 января 1800 года значится одесским купцом 3-й гильдии, объявившим капитал в 2100 рублей.[7]

Любопытна и информация о параллельных занятиях Рейзмана. 1 июля 1801 года он заключил двухгодичный контракт с городом о монопольном содержании винной продажи на территории от дороги на Овидиополь по Водяной балке до самой Пересыпи, с оплатою по 300 рублей в год. Предприятие это, однако, через месяц было прикрыто, поскольку регламенти-

рующие функции перешли от городского управления к Комитету для отстройки гавани в Одессе (впоследствии — к Одесскому строительному комитету). Комитет же передал питейный откуп в руки другого лица, дворянина Ивана Турчанинова, а потому Рейзман понес убыток. Замечательно, что соответствующее прошение о возврате внесенных в городскую казну наперед 100 рублей написано от имени "одесского купца Майорки Рейзманова жены Рухли Дувидовой"[8], то есть Рахили Давидовны Рейзман. Вот вам и четыре мнимых содержателя общественных увеселений, каковых на самом деле было двое, причем в очередь: Степан Рожнов с супругой Анной Львовной и Меер Рейзман с женой Рахилью Давидовной.

Возврат денег чете Рейзманов затянулся. В середине апреля 1803 года уже сам "Майорка" ходатайствовал о возмещении понесенного убытка.[9] Известный в юной Одессе муниципальный деятель, купец Илларион Портнов, и его коллеги рассудили, что успевший поторговать некоторое время спиртным Рейзман получил некоторые дивиденды, а потому определили вернуть ему лишь половинную сумму, то есть 50 рублей.[10]

Разобравшись с числом и именами содержателей первых увеселительных заведений, обратимся к местоположению последних, о котором на сегодняшний день нет никаких известий, не считая уже процитированной информации: "залы и покои" Рожновых и Рейзманов соседствовали, то есть помещались в смежных домах. Вопросы, связанные с ранней застройкой города, нередко трудноразрешимы, поскольку первоначальная нумерация кварталов и отдельных мест впоследствии корректировалась. Это в особенности касается Греческого форштата, в котором раздача участков на первом этапе градостроительства только началась. В те годы Одесса была едва заселена, о чем, в частности, свидетельствуют генеральные планы города и их проекты 1802-1803 годов, составленные военным инженером Е.Х. Ферстером.[11] Понятно, что "залы и покои", во-первых, должны были находиться в густонаселенном районе, во-вторых, в обширных помещениях, а таковые известны наперечет.

Подсказка неожиданно обнаружилась там, где меньше всего ожидалась. Дело в том, что финансовые документы практически не изымались из ведомственных архивов. Случалось, по прошествии десятилетий (!) какая-нибудь инстанция могла встрепенуться и потребовать отчет о недоплаченных и недополученных казной мизерных суммах. И вот эти-то ретроспективные бюрократические аллюры приводят к фиксации крайне любопытных фактов.

Так, в начале апреля 1823 года в Одесском строительном комитете вдруг вспомнили, что дом престарелой вдовы коллежского секретаря Мунтянова уйму лет числится в залоге по взятой покойным ее супругом в 1804 году ссуде в 1.500 рублей. Из этого долга было выплачено 1380 рублей, а затем еще 60. Позже, по старости и бедности домовладелицы, выплату оставшихся 60 рублей отсрочили на два года. Сюжет затянулся, а между тем Мунтянова считает, что не только ничего не должна Комитету, а даже переплатила, ибо когда-то "полиция не доставила в Комитет 100 рублей, взысканных с жидовки Рухли за наем дома".[12] Николай Мунтянов — один из первых жителей Одессы, секретарь городского магистрата в конце XVIII столетия, его имя, между прочим, значится в прошении почтенных одесситов императору Павлу I при небезызвестной посылке 3000 померанцев.[13] Как и многие первопоселенцы, был он человеком весьма предприимчивым, его даже пытались уличить в каких-то взятках уже в 1798 году.[14]

Но вернемся к его дому, который и арендовала Рухля Рейзман. Вспоминая детство, Михаил Феликсович де Рибас, в частности, рассказывает: "Мы остановились в Одессе (события относятся к середине 1810-х годов. — **О. Г.**) в одном беленьком домике, принадлежавшем г. Мунтянову и находившемуся на углу Коблевской улицы и Соборной площади, где теперь дом Вейнберга. По поводу постройки этого беленького домика мне рассказывал мой отец довольно курьезный анекдот, глубоко врезавшийся в мою память. Когда собор во имя Святого Николая был окончен (в 1808 году. — **О. Г.**), то его преосвященство архиерей екатеринославский Гавриил прибыл для освящения. Гавриил был известен высокими качествами сердца и блестящим красноречием (...). После освящения храма архиерей и все присутствовавшие на церемонии были приглашены в дом Мунтянова, который был тогда старостою при соборе и присутствовал при его сооружении. Во время завтрака преосвященный вдруг сказал: "Я всегда верил в чудеса, творимые святым Николаем, но теперь воочию убедился в их действительности". На вопросы присутствовавших он отвечал: "Да как же! Разве это не чудо, что каменья, лес и железо перелетели с места постройки храма на сие место и сами выстроили этот дом!". Все рассмеялись, а сам Мунтянов счел долгом улыбнуться".[15]

Именно в этом доме на Соборной площади впоследствии проживала вдова Мунтянова (Греческий форштат, VIII квартал, место № 85), ныне это второе место от угла Коблевской улицы в направлении Садо-

вой, дом не сохранился. Должен заметить, что двусмысленная шутка епархиального архиерея скорее задевала не столько Мунтянова, сколько попечителей сооружения храма — надворного советника Андрияша и капитана Алексеева, которые полностью контролировали ход строительства.[16] Все бы хорошо, и местоположение "покоев и залы", содержавшихся четой Рейзманов, можно было бы считать установленным, если бы мы не знали о том, что дом этот строился или достраивался примерно синхронно с собором, то есть меж 1803-м и 1808-м годами. Тут все сходится: рядом, на углу будущей Садовой улицы, в то время находился и весьма приличный дом упомянутого Андрияша, который позднее арендовался городом для размещения Благородного девичьего института. Быть может, "маскераты" устраивались в первичной постройке, которую Мунтянов просто-напросто перестраивал — частично или полностью?

Похоже, так оно и было. Действительно, из "Книги Одесского городского магистрата о записке купчих крепостей 1799 года" мы узнаем о том, что "3 сентября 1799 отставной поручик Михайла Кривчиков продал городскому секретарю Мунтянову собственный свой дом каменный, покрытый дранью, о десяти покоях, 15 на 30 сажен, двор с землянкою одною и сараем". Более чем достойное для Одессы тех лет здание, и при этом в числе соседей значится и упомянутый Андрияш[17]. Михаил Кривчиков, известнейший прораб Строительного комитета, также один из первопоселенцев Одессы.[18]

На плане Одессы, составленном городским архитектором Фраполли в 1807 году, половина квартала по Соборной площади, от Садовой до Коблевской, действительно обозначена уже застроенной довольно солидными сооружениями.[19] И снова закавыка: на упомянутом плане Ферстера (1802) это место, как и соседние, показано еще свободным, и только второй-третий участки со стороны Садовой заняты готовыми домами. Это можно объяснить тем, что на момент составления городского генерального плана дома Мунтянова и Андрияша как раз капитально перестраивались по причине, остроумно обозначенной преосвященным Гавриилом. Во всяком случае, согласно архивным документам, 18 июня 1804 года этот дом коллежского секретаря Мунтянова был принят в залог как существующий по свидетельству Городского магистрата, причем владелец получил под него солидную ссуду.[20]

Примечания

[1] А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. — Одесса, 1885, с. 75.

[2] К.Н. Смольянинов. История Одессы. — Одесса, 1853, с. 72.

[3] А. Орлов, там же, с. 97.

[4] Государственный архив Одесской области (ГАОО), ф. 17, оп. 3, д. 185; дело не сохранилось, однако его название говорит само за себя: "Об обложении налогом находящихся в Одессе домов публичного увеселения. 1799-1800".

[5] Прошлое и настоящее Одессы. — Одесса, 1894, с. 18.

[6] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 52.

[7] А. Орлов, там же, с. 126.

[8] ГАОО, ф. 4, оп. 1А, д. 2А, л. 75.

[9] Там же, л. 76.

[10] Там же, лл. 77-78.

[11] ОГИКМ, инвентарный № К-600.

[12] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 283. лл. 403-404.

[13] К.Н. Смольянинов. История Одессы. — Одесса, 1853, с. 111; А. Орлов. Исторический очерк Одессы с 1794 по 1803 год. — Одесса, 1885, с. 53.

[14] ГАОО, ф. 17, оп. 1, д. 32.

[15] Из прошлого Одессы. — Одесса, 1894, сс. 352-353.

[16] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 258, л. 99 и др.

[17] ГАОО, ф. 17, оп. 1, д. 15, лл. 4-5.

[18] А. Орлов, там же, с. 131 и др.

[19] ОГИКМ, инвентарный № К-602.

[20] ГАОО, ф. 2, оп. 5, д. 283, лл. 403-404.



Ирина АВЕРИНА

"Культурное гнездо" Щепкиных-Станкевичей

Личность Евгения Николаевича Щепкина (1860-1920) хорошо известна историкам Одессы. В этом году исполняется 150 лет со дня его рождения и 90 лет со дня смерти. Весной исторический факультет Одесского национального университета имени И.И. Мечникова после долгого перерыва возобновил "Историографические чтения", посвятив их именно Е.Н. Щепкину.

В Большой советской энциклопедии о нем написано кратко: историк, педагог и общественный деятель. Внук актера М.С. Щепкина. Участник либерального движения начала XX в.; член 1-й Государственной думы от кадетской фракции. За подписание Выборгского воззвания в 1906 уволен со службы; преподавал в частных учебных заведениях Одессы. В период реакции порвал с кадетами. После Февральской революции 1917 вернулся в Новороссийский университет, примыкал к партии боротьбистов. С 1919 года член коммунистической партии. Но что скрывается за этими сухими строчками? Ведь наследие Е.Н. Щепкина является частью культуры исторического периода, непосредственно связанного с определенной социальной группой и научным кругом, который смело можно назвать таким термином, как "культурное гнездо".

Таким "культурным гнездом", на мой взгляд, можно было назвать всю семью Щепкиных. Дед Евгения Николаевича — известный актер Михаил Семенович Щепкин — находился в дружеских отношениях с представителями того узкого круга русской интеллигенции, который определял собой западническое направление общественной мысли начала XIX века. Его имя постоянно встречается в воспоминаниях и переписке В.Г. Белинского, А.А. Панаева, А.И. Герцена, Т.Н. Грановского, Н.Х. Кетчера, В.Ф. Корша, В.Г. Боткина и др.

Так, в одном из писем 1840 года В.Г. Белинский просит К.С. Аксакова: "Щепкину, а также Дмитрию Михайловичу и Николаю Михайловичу Щепкиным (отец Е. Н.) — словом, всему запорожскому семейству... правь челобитье великое и не жалей себя".[1] Отец Евгения Николаевича сохранил эти близкие дружеские отношения с членами кружка В.Г. Белинского на долгие годы. Все они были молодыми людьми одного поколения:

В.Г. Белинский и А.И. Герцен всего на восемь лет старше Н.М. Щепкина, И.С. Тургенев — на два года.

Интересен факт, что знакомство Николая Михайловича с его будущей женой — матерью Евгения Николаевича — косвенным образом состоялось в Одессе. Как описывает этот случай исследователь М.В. Станюлис: "Однажды в июне 1843 года в Одессе один из сыновей В.И. Станкевича — Александр — случайно встретил в гостинице М.С. Щепкина, приехавшего в город на гастроли. Александр решает познакомиться с ним, о чем позже напишет сестрам Александре и Марии в Воронеж: "...Я украдкой любовался на этого милого человека. После я решился подойти к нему... (он) тотчас вспомнил, что видел меня у В.Г. Боткина... "Очень рад, — несколько раз говорил он мне со своей добродушной улыбкой и тряс мне руку, — мне будет с кем поговорить..." Мы пошли в его номер, говорили об Одессе, о море, о театре, о Гоголе. Среди очень обыкновенного разговора в нем часто высказывалась теплая душа" (29 июня 1843 г.). И на другой день: "Пришел ко мне сейчас Щепкин, чудесный сосед. Судьба позаботилась о моем удовольствии" (30 июня 1843 г.).[2]

Судьба позаботилась и о том, что после этой встречи между семьями устанавливается дружеская связь, которая чуть позже становится основой новой семьи. Летом 1848 года Николай Щепкин и Александра Станкевич поженились и переехали жить в Москву. Как писал в своих воспоминаниях о семье Николай Николаевич (старший брат Евгения Николаевича): "Уклад артистически-мещанский, доставшийся как бытовое наследство со стороны отцовской и как стародворянский уклад, в котором воспитывалась мать, очень хорошо уживались и дополняли друг друга". Все жили интересами и заботами общества, не замыкаясь в помещичьем кругу. Двери дома были открыты людям мыслящим, болеющим за судьбу Отечества. Среди них встречались "очень интересные и высокоразвитые люди либеральной фронды, безответственной оппозиции, много лиц из литературного мира. К людям родители были очень снисходительны, но в дом на правах близких допускались немногие".[3]

Мария Владимировна Станкевич (сестра матери) описала в письме к родным в Воронеж один из зимних вечеров 1949 года, проведенных в доме Николая Михайловича и Александры Владимировны. В тот день в гости к сыну приехал М.С. Щепкин. "Обед был на славу; вино лилось и веселило сердце; тут были все люди и человеки, каких редко поискать. Старик Щепкин с другим стариком (Павлом Степановичем Щепкиным), одушевленный игрой Рудольфа, задавали чудесный пляс, увлеченные

молодежью. Заиграл адский вальс, и Кетчер (переводчик Шекспира) пошел плясать таким чертом, как будто выскочил из Гофмана. Тут был и Фролов, переведший "Космос" (А.-Ф.-В. Гумбольта), и Грановский, и Корш с женами, и доктор Пикулин, и братья Щепкины, чудесный народ..." (29 января 1849 г.).[4]

Родители Евгения Николаевича задолго до отмены крепостного права в России освободили своих крестьян, наделив значительным количеством земли. Также они опекали круглых сирот из деревни, воспитывали их, платили за них деньги в училище и мастерам за обучение ремеслам. А своих детей с малолетства учили, чтобы они каждому крестьянину говорили "Вы" и были с ними вежливы и приветливы.

Летом двери усадьбы Николая Михайловича в деревне были широко, по-щепкински, открыты родным и знакомым. Из семейной переписки мы узнаем, что у него отдыхали родители, братья, Брюсовы. Грановский с женой. Сам Грановский пишет Станкевичам: "У Щепкиных нам очень хорошо. В течение 10 дней, проведенных здесь, я написал более чем в течение целой зимы, проведенной в Москве" (7 июля 1854 г.). В ноябре 1857 года М.С. Щепкин пишет из Москвы в Нижний Новгород Т.Г. Шевченко письмо и приглашает его приехать на дачу к сыну.[5]

Путеводной нитью через два поколения семьи Щепкиных прошла дружба с А.И. Герценом. М.С. Щепкин часто бывал в доме у А.И. Герцена, где проходили нескончаемые споры о современной общественной жизни. Когда в 1847 году А.И. Герцен вынужден был покинуть Россию, в числе провожающих был и М.С. Щепкин. Известен факт, что в 1853 году именно Михаил Семенович приезжал в Лондон только затем, чтобы встретиться с Герценом и попытаться отвратить его с революционного пути. От лица московских друзей Герцена Щепкин предлагал свернуть "ненужную", с их точки зрения, деятельность "Вольной типографии" и уехать в Америку: "...ничего не пиши, дай себя забыть, и тогда года через два-три мы начнем работать, чтобы тебе разрешили въезд в Россию". "Вы затопите Россию кровью..." — пророчески обращался великий артист к человеку, который получил в революционных кругах имя Искандер.[6]

Родители Евгения Николаевича, путешествуя в 1857 году по Европе, специально заехали в Лондон к А.И. Герцену. Николай Михайлович Щепкин еще в начале пути написал ему письмо. Сохранился ответ Александра Ивановича: "Любезный Щепкин, я не только не забыл Вас, но и не разлюбил, я следил за вами всеми из моего далёко... и знал о вашей женитьбе и пр.". Герцен пишет о том, какое значение имел для него приезд

М.С. Щепкина в 1853 году: "Я ему был бесконечно рад, хотя все, что он сообщил мне о России, было очень печально. Ваше письмо совсем иное — у вас столько же веселого и полного надежды, сколько у Михаила Семеновича было безотрадного...". По поводу высказанных Николаем Михайловичем надежд на Александра II Герцен пишет: "Пока не будет шага к освобождению крестьян, к избавлению России от палки и кулака, пока цензура не заменится судом (хоть как в Пруссии), до тех пор я могу молчать, но хвалить не стану..." (декабрь 1856 г.).[7]

Эта встреча определила дальнейшую судьбу отца и всей семьи Евгения Николаевича. Вернувшись из-за границы (по примеру Герцена), он начал заниматься издательской деятельностью, продолжая традиции "Колокола" по идеологическому и политическому просвещению русского общества. За свои убеждения и распространение произведений Герцена отец Евгения Николаевича попал под надзор полиции с 1858 по 1861 гг. С февраля 1858 года по предписанию московского военного генерал-губернатора графа А.А. Закревского за ним и М.С. Щепкиным учреждается бессрочный секретный строжайший полицейский надзор.[8]

М.С. Щепкин попал под надзор "за дозволение себе входить в неправильные суждения об эмансипации"; его сын — "по подозрению" в продаже запрещенных книг и брошюр.[9] В августе того же года в донесении А.А. Закревского шефу жандармов и начальнику III отделения князю В.А. Долгорукову дан "список подозрительных лиц в Москве". В списке наряду с К.С. и И.С. Аксаковыми, Н.Х. Кетчером, Е.И. Якушкиным и другими названы также Михаил Семенович и Николай Михайлович Щепкины, из которых первый "желает переворотов", а второй "действует одинаково с отцом". А.А. Закревский писал, что Щепкин причастен к "элементам, которые могут послужить неблагоприятным людям, чтобы произвести переворот в государстве".[10]

Под давлением обстоятельств книжный магазин пришлось закрыть, и Николай Михайлович с головой ушел в общественную деятельность. Настало время реформ Александра II, введение нового городского положения в Москве, земских учреждений и новых судов. О переменах в доме шли постоянные разговоры. Особенно горячо обсуждалась судебная реформа. "Представлялось, что после вековой неправды и рабства суды являлись каким-то откровением свободы и равенства", — писал Николай Михайлович Щепкин.[11] В 1863 году он избирается от сословия потомственных дворян в гласные городской Думы. Он также избирался гласным губернского земского собрания от города Москвы. В 1864 году становит-

ся одним из первых московских мировых судей. Приемная его помещалась при квартире, так что взрослые дети всегда старались присутствовать во время разбора дел, постоянно общались с лицами, работавшими в канцелярии отца.

Детство Евгения Николаевича проходило в атмосфере любви и доброты. Как писал позднее его брат Николай Николаевич: "Могу только с благодарностью вспомнить отца и мать, окруживших нас в раннем детстве чудными внешними впечатлениями, здоровыми условиями физической жизни и такой средой, постоянно пребывая в которой мы получали задатки демократизма. Моей души не ломали, только поставили дух и тело в благоприятные условия".[12]

Всем сыновьям Николай Михайлович дал возможность получить университетское образование, но все происходившее не могло не отразиться на их судьбах. Евгению Николаевичу было 17 лет, когда его старший брат Владимир наряду с другими народниками, в том числе с Желябовым и Перовской, был привлечен к дознанию, которое завершилось в 1877-1878 годах судом, "Процессом 193-х". На суде адвокатом Владимира был Спасович, а защитником выступил его отец Николай Михайлович.[13] Вместе с адвокатом они добились оправдательного приговора для сына. По приговору суда Владимир получил год тюрьмы, но был освобожден от наказания ввиду продолжительности предварительного тюремного заключения. Сохранились выдержки из речи Николая Михайловича: "Г. прокурор собирает все наши (с женой) тридцатилетние труды, работы, и плоды их всей тяжестью бросает на голову нашего сына: "Он вышел из хорошего семейства, — говорит прокурор, — и это утягчает его вину!". Ведь это ужасно, господа судьи! Что же теперь нам делать? Отказаться от сына и сказать: "Да, действительно, у нас хорошее семейство, а вот он какой злодей вышел!". Но вы знаете, господа судьи, что ни один отец этого не сделает и не скажет. Я прямо утверждаю, что нет закона, увеличивающего меру наказания за то, что человек вышел из хорошей семьи". Далее Николай Михайлович говорил о том, что в традициях семьи были просвещение "низов" и благодельные дела, что своих крестьян они освободили задолго до 1861 года — отмены крепостного права, — и даже в то время за это их прославляли "красными"! Николай Михайлович защищал не только сына, но и те либерально-демократические идеи, которые исповедовали в среде прогрессивно настроенной интеллигенции России, к которой принадлежал он сам и его отец — М.С. Щепкин. Те взгляды, которые унаследовали их дети, в том числе Евгений Николаевич Щепкин.

После выигранного процесса официальное общество отвернулось от его отца. Он нигде не мог найти работу. Здоровье его пошатнулось, и в 1886 году Н.М. Щепкин умер. После смерти отца Евгений Николаевич Щепкин, выпускник Московского университета, оставленный для подготовки к профессорскому званию на кафедре всеобщей истории, вынужден был заняться преподавательской деятельностью, давать частные уроки. Как писал он годы спустя своей матери: "Конечно, многое плохо в наших семейных делах, но могло быть и хуже. Хорошо, по крайне мере, что за последние пять лет все стоит на точке замерзания..." (Одесса, апрель 1903).[14]

В 1890 году в Москве был образован исторический кружок, заседания которого проходили в доме у П.Г. Виноградова. Там встречались, обсуждали новые идеи научного и политического плана известные ученые и молодые студенты, в том числе Е.Н. Щепкин, что также не могло не отразиться на мировоззрении будущего ученого. Уже впоследствии Е.Н. Щепкин писал из Копенгагена в 1895 году: "Неожиданно узнал, что проф. Виноградов взял отпуск на год и проводит его в Скандинавии, пока в Норвегии, изучает языки. Итак, оппонент мне уже готовится".[15]

И годы спустя: "О Виноградове и его "гигантских шагах" давно идут слухи (...) надо ждать фактов. Для науки это будет потеря, если он вполне уйдет в администрацию. Я бы лучше пожелал ему кресло в академии, коли университетский стул стал узок. Но, конечно, все мы во власти потоков жизни. Так скажу и о себе. (...) Ведь разве что проф. Виноградов действительно получит пост близ министерства, тогда, пожалуй, перед нами, его учениками, так станут иные пресмыкаться, что подумаешь: ох, не удрать ли?".[16]

Е.Н. Щепкин был непосредственно вовлечен в круг молодых либеральных историков того времени. Результатом становилось не только обновление исторического познания, но и расширение возможных форм организации науки, методов научно-исследовательской работы. Столкновение мнений в ходе дискуссий в различных обществах, семинарах, переписке вело к синтезу методологических подходов, к новому осмыслению и интерпретации исторического материала.

Так, для Е.Н. Щепкина одним из важнейших вопросов была защита магистерской диссертации. В фондах Государственного исторического музея г. Москвы сохранилась упоминание о переписке по этому поводу с Р.Ю. Виппером, В.И. Герье, П.Г. Виноградовым, А.И. Кирпичниковым и др. В 1902 году Евгений Николаевич пишет матери: "Кирпичников и его

партия не присоединились к Виппер, но воздержались от голосования, дабы не доводить своей креатуры до отставки. Вот тебе краткое резюме всего дела и всей моей обширной переписки с Виппером, Герье, Кирпичниковым и др. по этому делу за апрель-май. Весной все это было несколько тягостно, как перед дуэлью, но теперь чувствую приятное сознание, что исполнил долг перед Московским университетом и русской исторической наукой. Если осенью В.И. Герье согласится взять на себя оппонентство, то я буду защищать книгу в Москве, но не ранее октября. Если же он откровенно скажет, что ему некогда, тогда я перенесу дело в Санкт-Петербург и потребую, чтобы туда была сообщена и копия с постановления московского факультета о принятии моей диссертации. Как видишь — жизнь есть борьба, и для здоровых нервов, и борьба есть жизнь".[17]

Связь новой идеологии либеральной историографии с предшествующей историко-философской традицией. С одной стороны, представители "нового" поколения историков в лице Н.И. Кареева, П.Н. Милюкова, А.А. Кизеветтера, А.С. Лаппо-Данилевского, Д.М. Петрушевского, Е.Н. Щепкина и др. стремились к преодолению традиционной методологии исследования, расширяли проблемное поле историко-социальных построений, что отражало общие тенденции модернизации исторической науки и механизм выработки нового самоопределения либеральной интеллигенции в конце XIX века. С другой стороны, именно в выборе тем исследования отчетливо проявлялось преемственность построений либеральной историографии и представителей т. н. "государственной школы", исследовательских приемов, воспринятых у В.И. Герье, В.О. Ключевского.

В письме к брату Вячеславу Николаевичу он писал:

"(Берлин) снова очаровал меня, конечно, почти исключительно библиотекой. Сижу в ней почти целый день и требую книги массами, преимущественно всякие польские родословные и писцовые книги. По ним удалось выправить мои архивные сведения о Лжедмитрии и его литовских сподвижниках, а также найти критическую точку зрения на русские известия — повести и летописи, где впутаны без толку те же имена.

В Вене во время пребывания там Пирлинга я "разгорелся", перерыл все австрийские документы и рукописи в библиотеке и нашел еще много важных "намеков" и фактов (между прочим в двух рукописях Hof Bibliothek нашел по-латыни крайне важную повесть о Лжедмитрии — Narratio succinfa, — составленную в его дни по польским сведениям; насколько могу судить, они не были напечатаны, а известия, сходные с нею,

находим у Маржерети и т. п. Пирлинг все что-то хотел припомнить, как будто знавал ее, но должно быть хитрит!

В архивных известиях нашел подтверждение того, что уже среди современников Лжедмитрия считали за незаконного сына Грозного. Я поставлю эту цитату из архива Венского эпиграфом, хотя другие доказательства (намеки у Массы и одно известие, не понятое Маржеретом) разовью во второй половине исследования. Из Данцига имею уже известия, что там целые Сеймовые записи и за последующие годы; сниму с них пока сливки дня в 3-4. Но все это задержало мою вторую главу диссертации. Но обо всем при свидании. (...) Но по моей теории счастья пора снова расплачиваться Москвой. Жму руки".[18]

Либерально-историческая мысль в конце XIX — начале XX вв. развивалась в русле общего развития всемирной истории, социологии, психологии, философии, воспринимая новейшие достижения наук в теоретико-методологическом плане. С другой стороны, мировые события и особенности общественно-политической ситуации в России накладывали своей отпечаток на мировоззрение историков и их судьбы. Сохранилось два письма к матери, в которых Е.Н. Щепкин высказывал свою позицию.

"(...) Читать что-либо помимо моей специализации, к сожалению, некогда; всего менее Золя, который всегда наводил на меня только скуку. Я не верю ни в его знание жизни, ни в долговременность его славы (...).

Столкновение англичан с бурами как историческое событие настолько значительно, что я не могу прилагать к нему моральную точку зрения. Каждый народ, который заявляет притязания на самостоятельную роль в истории человечества, должен рано или поздно выдержать борьбу. Буры доказали свою жизнеспособность, а потому человечество может опереться на них в Африке и сочувствовать им. Если бы Англия была в силах дать мир и гражданское равенство Африке, то человечество примирилось бы с наступательным характером ее политики. Я не сочувствую Англии именно потому, что она взяла на себя непосильную ей задачу и ослабление другого государства, способного утвердить культуру. Но что бы ни говорили представители государств, сходящих на второстепенные, пассивные роли, как Франция с Золя, "захваты" в интересах культуры неизбежны, и тем законнее, тем легче они обходятся без кровопролития и насилия. Поэтому я счел бы величайшей ошибкой русских государственных людей, если бы они не воспользовались в течение следующих лет затруднениями в Африке, чтобы дать России в Азии такое твердое положение, которое нужно ей для ее культурной роли. (...)

Итак, без захватов нельзя; пусть Золя побрюзжит и на нас...

Мои первые воспоминания связаны с разгромом Франции, теперь, кажется, на очереди внешнее могущество Англии; вместе с ним шатается крайний кит парламентарного правления, возможный только там, где армия слаба. Для королевы-императрицы Виктории это удар, но культурное значение Франции и Англии может продолжиться без ущерба для человечества, даже если они и сойдут на роль счастливой Голландии".[19]

"Я верую в два начала для очищения русской администрации и на окраинах, и в самой России.

1). Гласность во всех ее видах — печатная гласность, гласность в ходатайствах, гласность в обсуждении местных нужд в земствах и т. п. Конечно, слово и печать могут стать опасным орудием, но вредность речи, статьи, книги, журнала не может определять один чиновник, будь то полицмейстер или министр внутренних дел; они сами деятели и люди, они склонны клеймить опасным всякое течение, которое требует от них законности и энергии. Только учреждения, смешанные из административных, судебных, земских и академических элементов, могло бы беспристрастно судить, где свободное слово стремится улучшить администрацию, а где оно действительно подрывает власть.

2). Грамотность. Будь то церковная школа, будь то земская или министерская — чем более, тем лучше. Предыдущее поколение видело падение крепостного права. Наше сделало бы свое дело, если бы дожило до падения безграмотности.

3). Законность. Об этом начале уже как-то высказывали. Вот мои выводы из сравнения русских порядков с западными, которыми я отнюдь не увлекаюсь слепо. Международное положение, к счастью, давит не только в сторону сохранения военно-административного строя, но и в сторону улучшения быта масс. Организация переселения в Сибирь и на окраины долго считалась вредной выдумкой профессоров и газет, пока опасность со стороны желтой расы не сняла охулки с этого движения. Понижение роста новобранцев, увеличение процентов бракованных заставляет бороться с пьянством, которым держится часть бюджета, с сифилисом, с худосочием крестьянских масс. Отсюда — крестьянский банк, казенная продажа вина и т. п. Вообще, самый идеал солдата конца XIX века требует известной интеллигентности масс".[20]

Как показала дальнейшая судьба Е.Н. Щепкина, его деятельность была связана с изменениями в законодательной, социальной и образовательной сферах общественной жизни России того периода. Как и многие ли-

бералные историки того времени, он сочетал в себе функции исследователя, мыслителя, популяризатора, общественного и политического деятеля; обладал оригинальностью и проницательностью ума, научным остроумием, исторической интуицией, ученой эрудицией, энциклопедизмом. Эволюция их творчества определялась потребностями эпохи, внутренней логикой развития истории и теории познания.

Примечания

[1] Гриц Т.С. Щепкин М.С. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 271.

[2] Станюлис М.В. Н.М. Щепкин. Краткий биографический очерк // Живая коллекция. Сб. научн. трудов. Вып. 3. М., 2009. С. 170.

[3] Там же. С. 173.

[4] Гриц Т.С. Щепкин М.С. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 426.

[5] Станюлис М.В. Н.М. Щепкин. Краткий биографический очерк // Живая коллекция. Сб. научн. трудов. Вып. 3. М., 2009. С. 176.

[6] Михаил Семенович Щепкин. Жизнь и творчество. В 2-х тт. М., 1984. Т. 1. С. 104.

[7] Станюлис М.В. Н.М. Щепкин. Краткий биографический очерк // Живая коллекция. Сб. научн. трудов. Вып. 3. М., 2009. С. 177.

[8] Там же. С. 178.

[9] Гриц Т.С. Щепкин М.С. Летопись жизни и творчества. М., 1966. С. 625.

[10] Там же. С. 626.

[11] Станюлис М.В. Н.М. Щепкин. Краткий биографический очерк // Живая коллекция. Сб. научн. трудов. Вып. 3. М., 2009. С. 179.

[12] Там же. С. 181.

[13] Отдел письменных источников Государственного исторического музея г. Москвы (далее ОПИ ГИМ), ф. 440, оп. 1, д. 811.

[14] ОПИ ГИМ, ф. 276 (Щепкины), оп. 1, д. 109, лл. 52-53.

[15] ОПИ ГИМ, ф. 276, оп. 1, д. 107, л. 47.

[16] ОПИ ГИМ, ф. 276, д. 108, лл. 80-81. Письмо к матери, Одесса, 12 ноября 1902 г.

[17] ОПИ ГИМ, ф. 276, оп. 1, д. 109, л. 29. Письмо к матери, Одесса, 8 июня 1902 г.

[18] ОПИ ГИМ, ф. 276, оп. 1, д. 109, лл. 44-45. Письмо к брату, Берлин, 9 сентября, 1901 г.

[19] ОПИ ГИМ, ф. 276, оп. 1, д. 108, лл. 32-33. Письмо к матери, Одесса, 31 декабря 1899 г.

[20] ОПИ ГИМ, ф. 276, оп. 1, д. 107, лл. 51-52, Письмо к матери, Копенгаген, октябрь 1895 г.



Геннадий ГРЕБЕННИК

Записки обитателя одесского истфака

"Мамы разные нужны,
Мамы всякие важны..."
С. Михалков

1

Всякий поживший человек имеет воспоминания, но далеко не всякий имеет право занимать внимание не знакомых ему лично жителей планеты своей "историей". Почему люди пишут мемуары? Потому что волею судеб они стали свидетелями исторических событий, имеют прямое отношение к историческим решениям и контактировали с людьми исторического масштаба. Общественный интерес ко всем трем составляющим Истории побуждает взяться за перо. Это — один, наиболее распространенный, мотив мемуаристов. К нему я не имею никакого отношения.

Когда читаешь воспоминания таких великих политиков, как Отто фон Бисмарк и Уинстон Черчилль, то понимаешь, что свои мемуары они превратили в орудие политической борьбы. В них они решали задачу апологетики своей политики. Это также не мой случай.

Есть еще мотив пользы. Это многосложный мотив. Для кого и для чего я берусь восстанавливать факты прошлого, окрашенные личным участием и субъективным восприятием? Во-первых, для себя любимого. Наступает возраст, когда уже начинает вырабатываться отношение к собственной жизни как к некому целому: увидеть смысл в том, что *было*, свершилось, связалось, и продолжает свое *бытие* в феноменологии текущих событий, — пожалуй, это важная задача для самопознания личности.

Во-вторых, я пишу для нынешних поколений студентов. То поколение, к которому я принадлежу, училось на историческом факультете до "нашей эры"; мы — родом из СССР, страны, которую сегодня одни идеализируют, другие обливают грязью, третьи хотят поскорее забыть. Существует миф о том, как победители Трои пожалели жителей побежденного великого города и разрешили им уйти, взяв по своему выбору что-то из вещей по минимуму. Один из самых славных защитников Трои Эней не взял ничего, кроме изображений своих богов. Восхищенные его благочестием эллины разрешили ему взять что-нибудь еще. Тогда Эней вынес

на своих плечах своего немощного отца. Если человек чувствует в себе живую связь с поколениями дедов и отцов (а это — советские поколения), то он ощущает свой долг нести бремя своей реальной, а не мифической истории. Я отношу себя к таким людям.

Как историкам нам повезло: нас угораздило жить на сломе эпох. Вулканологи меня поймут. Первую часть своей жизни мы прожили в советскую эпоху, причем в лучший ее период, а вторую половину проводим в мире с другой системой ценностей, причем в период его тяжкого становления. И вот тут наше общество подстерегает угроза, суть которой выражена в шекспировских словах: "Распалась связь времен". Поэт Леонид Васкинен развил эту тему в стихотворении, где есть такие строчки:

На кладбище растоптанных традиций
Свое осуществляем бытиё.
.....
Отец давно понять не может сына,
А внуку чужда деда простота,
Века, касаясь, протекают мимо,
Без встречи расставаясь навсегда.

Речь идет о том, что в результате катаклизма глобального масштаба, каковым стал распад СССР, в нашей исторической памяти образовались провалы, которые сегодня пытаются заполнить мифами, выдаваемыми за "правду истории". Моя скромная задача состоит в том, чтобы противопоставить этому заказному мифотворчеству правдивый рассказ о тех временах и событиях, свидетелем и рядовым участником которых я был.

Память — ненадежная штука. Если периодически не повторять свои "истории", они выветриваются, расплываются, утрачивая существенные детали, а если повторять, то превращаются в легенды. В них рассказчик становится весомым персонажем. Расставляя своих "героев" в удобные для него мизансцены, он в конце еще и присваивает право на мораль. Отдавая себе в этом полный отчет, автор этого мемуара хочет честно передать ощущения и впечатления того молодого, не уверенного в себе человека, каким он был в свои студенческие годы. С другой стороны, опыт преподавания в университете у него в настоящий момент будет поболее того, который был в период его ученичества у большинства его преподавателей, что позволяет ему a posteriori судить о них в профессиональном плане. Поэтому воспоминания дополнены размышлениями. Итак, представляю читателю свои записки на тему: мои главные уроки на истфаке.

В Одессе ветреной в эпоху Брежнева живя,
Учились на истфаке мы, над книгами корпя.
Мешая молодость свою с вином и пивом,
Молились Клио мы одесского разлива.
Стремителен бег жизни, а мы не боги.
Настало время подводить итоги.
Не нужно выводить себя за скобки,
Мы сами — артефакты той эпохи,
Проводим в душах у себя раскопки.

2

Я учился на историческом факультете Одесского государственного университета имени Ильи Ильича Мечникова в 1973-1978 гг. То есть я отношусь к поколению "семидесятников". Боже, как же мы тогда были счастливы! Нас спасало только то, что мы об этом не подозревали. Впрочем, повод воспринимать мир в радужном свете у нас был весьма серьезный. Мы прошли серьезный отбор и поступили на престижный исторический факультет. Конкурс тогда был на истфак один из самых высоких в университете — семь человек на место, реально еще выше, поскольку ряд мест были заранее выделены льготникам: сиротам, инвалидам, людям после армии, сельским стипендиатам. Наконец, были среди нас и "фраера", поступившие по протекции. Мы, слава Богу, ничего об этом не знали. Много позднее, когда я сам стал регулярно участвовать в работе приемной комиссии, для меня открылось, что наша система отбора путем вступительных экзаменов была не столь уж безнадежно объективной.

Итак, мы поступили и с первых чисел сентября отправились всем курсом в село Благоево "спасать урожай". Там перезнакомились друг с другом. Было и еще одно немаловажное обстоятельство: тут же базировался третий курс. Кроме того, одним из наших кураторов была вчерашняя аспирантка Алла Доля. Именно она и старшие коллеги-третьекурсники преподали неофитам первый предмет — студенческую мифологию исторического факультета. Как известно, главными героями, небожителями студенческой мифологии являются преподаватели. Поэтому, спустя месяц приступив к занятиям, мы уже знали "кто есть who" по ту сторону "баррикады", и вели себя соответственно.

Куратором нашего первого курса был назначен тогда еще молодой доцент кафедры истории древних и средних веков Владимир Никифорович

Станко (1937-2008). В 1973 году ему было всего лишь 36 лет. "Станок" — так мы его называли в своем кругу — казался старше своего возраста. Он читал нам "Историю первобытного общества". Странный это предмет, рожденный взаимодействием данных археологии, этнографии, антропологии, сравнительной биологии, философии... Скрепляет все это сочетание научная фантазия исследователя, ибо как жили гоминиды в эпохи палеолита, мезолита или даже неолита, доподлинно не знает никто.

Станок был археологом-палеолитчиком. Взрослые люди посвящают свою жизнь тому, что отыскивают в земле "камешки" и потом долго спорят, пытаясь понять, то ли это эолиты, то есть камни, "обработанные" ветром или еще какой-нибудь природной стихией, то ли это вожделенные камни, обскубанные неумелой рукой древнего человека. Надо быть фанатом и обладать вызывающим прилив адреналина чувством первооткрывателя, чтобы стать охотником за артефактами и посредством скудных предметных находок в раскопах установить фетишистскую связь с далекими предками. Именно таким фанатом, мне представляется, был Владимир Никифорович, когда он появился за кафедрой и стал читать нам свой курс по истории первобытного общества. Несомненно, наука у него тогда была на первом месте, а преподавание — на втором. Он был фундаментально увлечен своей научной работой, что незамедлительно передалось нам через его лекции.

Сразу было видно: перед нами серьезный ученый. И это вызывало к тому, что он говорит, особенное доверие. Хотелось узнать еще больше. Поэтому я, к примеру, засел за чтение и конспектирование работ тех ученых, на которых он ссылался в своих лекциях: академика Окладникова, его ученика Деревянко, Ефименко, Нестурха, Борисковского, Масона. Я был восхищен работой антрополога, археолога и скульптора М.М. Герасимова, который на основе фрагментов костей скелета реконструировал облик неандертальского мальчика из Тешик-Таш, железного хромца Тамерлана, царя Ивана Грозного. Фантастика!

Благодаря Владимиру Никифоровичу мы прикоснулись к проблеме антропогенеза и социогенеза, по-русски говоря, к проблеме происхождения человека и общества. Хотя это вовсе не проблема, а великая тайна, которая средствами науки решена быть не может. Поэтому сам Станок пребывал в великой иллюзии и нас в ней поддерживал. Что поделаешь — не он один. Как возникло человечество? Собственно говоря, так называлась книга Ю.И. Семенова (М., 1966), которую нам усиленно рекомендовал Станок. Еще по его наводке мы читали книгу Б.Ф. Поршнева "О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии)" (М., 1974).

Урок номер один для нашего брата-преподавателя. Университетский преподаватель обязательно должен быть активным исследователем. Вкус к научному творчеству нельзя привить студенту, если сам его не имеешь. Актуальный научный поиск находит выражение в чтении лекций под углом проблемного подхода. И это не дидактический прием, а естественный выход научного творчества. Этому требованию идеально соответствовал В.Н. Станко в те далекие годы.

3

На этом же курсе читала нам историю Киевской Руси доцент кафедры истории СССР Анна Михайловна Шабанова (1933-2006). Она была притчей во языцех, и из этой притчи следовало, что ее "трудно пройти". Были случаи, когда у нее сдавали экзамен пять и более раз, и не сдали. Легенда оказалась вполне достоверной.

Искусству терпения мы учились на лекциях Анны Михайловны. Читала она их размеренным голосом, монотонно. Лекции читались в амфитеатровой 14-й аудитории в здании на Советской Армии (ныне — Преображенская), которое истфак делил в те годы с университетской библиотекой. (Кстати, было очень удобно: после занятий мы плавно перемещались в залы библиотеки и сидели там дотемна.) Как сейчас помню: мы, несколько сдружившихся за время колхозной практики ребят, сидели справа, ближе к выходу, и откровенно томились. Шла третья пара. За окнами кипела жизнь, а мы добросовестно старались вдумываться, чем закупы отличаются от рядовичей, и кто ж такие на самом деле были смерды — свободные крестьяне или нет. Получалось плохо. Мы чувствовали себя галерниками. Рядом со мной сидел крепкий жизнерадостный парень, ярко выраженный сангвиник Григорий, он же Гоша, Пекарский. Родом с Любашевки. К тому времени ему уже стукнуло 25 лет, то есть он был старше нас, вчерашних школяров, на целую жизнь. Он поступил на истфак с пятого раза. До этого успел побывать в армии, сходить пару раз матросом в море, работал грузчиком в порту. Он первый не выдерживал, начинал бросать реплики, кто-то что-то отвечал, возникал шум. И Анна Михайловна прерывала лекцию, кого-то из нас поднимала и отчитывала. При этом она обещала нам устроить "веселую жизнь" на экзамене. Надо отдать ей должное: она выполнила свое обещание на все сто.

Злокозненный вавилонский царь Хаммурапи придумал свои законы только для того, чтобы мучить советских студентов. Благодаря Анне Ми-

хайловне нам показалось, что милейшие древнерусские князья Ярослав Мудрый и К° его значительно переплюнули, создав свой сборник законов "Русская правда". Анна Михайловна превратила "Русскую правду" в орудие средневековой пытки и сладострастно терзала нас статьями этого кодекса. Я до сих пор помню — и уже никогда не забуду, кто такие были огнищанин, вирник, тиун и, что б ему ни дна ни покрышки, ратайный староста. Помню также, какая вира (штраф) полагалась за убийство смерда и какая — за убийство огнищанина. Зачем мне эти ценные сведения, сказать не могу.

В своем курсе она явно отдавала предпочтение социально-экономической истории в ущерб политической и практически игнорировала историю культуры Киевской Руси. А ведь это важнейшие разделы, формирующие фундамент исторического сознания отечественного историка, да и к тому же интереснейшие!

Человек — это стиль. Думаю, что не нашлось рядом с Анной Михайловной человека, который убедил бы ее скорректировать стиль преподавания. Это очень трудно, но возможно. Она была еще молода, и значит, способна на сомнение. В 1973 году ей было всего лишь сорок. Для преподавания — это только подход к золотому возрасту расцвета.

Я бы, например, перенес детальное изучение правовых отличий категорий зависимого крестьянства на семинарские занятия, а в лекциях постарался бы показать всестороннее значение "Русской правды" как памятника правовой культуры Русского государства, а не только как источника социально-экономических, феодальных отношений. Для этого можно было бы провести сравнение с аналогичными памятниками Западной Европы.

Неужели ее устраивала репутация грозы студентов? Строить всю стратегию преподавания на требовательности, наверное, неправильно. Особенно когда речь идет о первом курсе. Известно, что людей ловят на интересы, как рыбу на червя (Горький). Но одно дело — интерес, идущий от романтического восприятия истории, от естественной любознательности, другое — научный интерес. Научный интерес надо еще пробудить, к нему нужно подойти, комбинируя требовательность с применением игровых ситуаций, моделирования, реконструкции и других приемов, развивающих творческое отношение к историческому познанию. А пичкать первокурсников именами и концепциями — в этом пользы мало. Никакого творчества от нас Анна Михайловна не требовала, ибо сама к нему, видимо, была мало способна.

Сейчас, спустя десятки лет, я думаю, что манере А.М. Шабановой скучно читать лекции сопутствовал еще один крупный для университет-

ского преподавателя недостаток: она не имела собственной точки зрения на вопросы, которые разбирала. У Анны Михайловны за плечами была хорошая ленинградская школа. С точки зрения историографии, ее лекции были безупречны. Не помню случая, чтобы в течение лекции она не упомянула несколько раз традиционный для нее набор имен: Борис Дмитриевич Греков, Борис Александрович Рыбаков, Михаил Николаевич Тихомиров, Лев Владимирович Черепнин, Владимир Васильевич Мавродин, Серафим Владимирович Юшков, Иван Иванович Смирнов. Она обязательно называла их полностью — по имени, отчеству и фамилии. Если мне не изменяет память, она училась в ЛГУ у В.В. Мавродина. Но не помню случая, чтобы она сказала что-то вроде: несравненный Михаил Николаевич Тихомиров считает так-то, неподражаемый Лев Владимирович Черепнин занял по этому вопросу такую-то позицию, выдающийся авторитет Владимир Васильевич Мавродин (да будет он всегда здоров!) обосновал свой взгляд, а великолепнейшие Серафим Владимирович Юшков и Иван Иванович Смирнов с ним не согласились. Но Я полагаю, что все они в этом вопросе ошибаются, и вот почему! В ее лекциях отсутствовало ее собственное "Я". К своим научным кумирам Анна Михайловна относилась, как древние славяне к идолам: она их боготворила.

В компаниях с выпускниками истфака, закончившими его много позднее меня, при упоминании Шабановой они начинали весело, как пароль, произносить: Тихомиров, Мавродин, Юшков... Анна Михайловна не развивалась! Она законсервировалась, окуклилась, но в бабочку так и не превратилась. Вот в чем, по моему мнению, была ее драма как преподавателя.

Я не помню прозвища Анны Михайловны, по-моему, мы ее никак не обозвали, знаю только, что заочники приклеили ей прозвище "Концепция" — за неумеренное употребление этого слова. В сущности, Анна Михайловна была миловидной, приятной, молодой женщиной, но она не давала нам ни одного шанса взглянуть на нее с этой точки зрения. Тем не менее, для меня контакт с Анной Михайловной стал *важным жизненным уроком: есть вещи и люди, которых надо принимать такими, какие они есть.*

Продолжение следует

Феликс КОХРИХТ

Бальная Одесса

Сегодня, во второе десятилетие 21 века, каждый одессит — при наличии компьютера, подключенного в Интернет, — может увидеть родной город с высоты птичьего полета, а затем как бы виртуально снизиться и зависнуть над собственным домом. Техника дает нам возможность убедиться в гениальной простоте и изяществе градостроительного подвига инженера де Волана и разноуспешных архитектурных упражнений его современных коллег.

Но, как оказывается, живет в Одессе человек, работающий параллельно с "Яндексом" и "Туглом" и отвечающий на их всеобъемлющую мощь благородством помысла, тщанием и верой в свое предназначение. Оно в том, чтобы оставить потомкам лики не только живущих нынче земляков, но и портреты домов, в которых мы обитаем.

К каждому фото, занесенному в электронную память (а их нынче более 57 тысяч), он присовокупляет дату съемки, адрес, некоторые технические характеристики строения и его состояние на сегодняшний день. Он уже отснял практически все дома центра города и Молдаванки и идет дальше.

Ростислав Ричардович Баль — носитель генов польских и русских родов, живущих в Одессе уже в пятом-шестом поколении. Матери — Людмилы Ивановны Пировой — уже давно нет в живых, а вот отец, Ричард Янович, здравствует в свой 91 год. Вообще-то, он крещен Рышардом, но в паспорте — Ричард. Старший Баль, трое его сыновей (среди них — Ростислав) и дочь — кадровые рабочие завода "Автоагрегат", но герой этих заметок выучился на инженера, а затем стал сотрудником милиции и дослужился до майора.

Сегодня он — активный член Польского общества и фотолетописец Одессы.

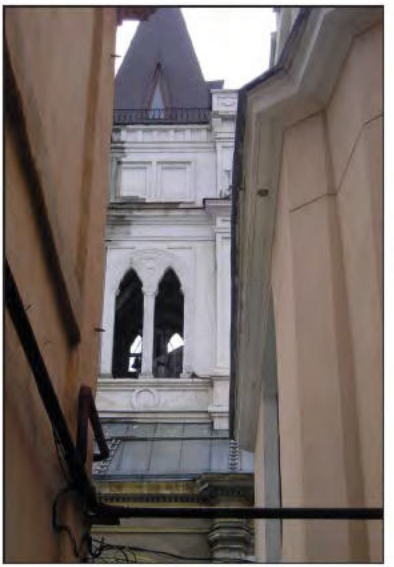
Мне не удалось просмотреть весь богатейший архив Баля, но то, что мы увидели на выставке во Всемирном клубе одесситов и на нескольких дисках, свидетельствует не только о масштабности его замысла, но и о несомненных способностях. Среди них — стремление увидеть необычное в обыденном и умение передать его в фотографиях. К примеру, я, старожил Одессы, не сразу узнал в его композиции католический собор на Екатерининской — здание скорее напомнило мне Флоренцию...

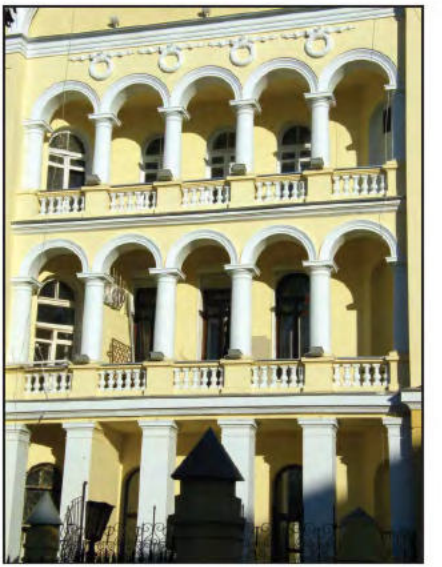


Особенно волнуют портреты старых домов, переживающих, увы, не лучшие времена, а вселяют надежду жанровые зарисовки из будней одесских ребятишек.

В эти дни Ростислав Баль подбирается к шеститысячному паспорту, который он составляет на строения нашего города с положенной такому документу фотографией.

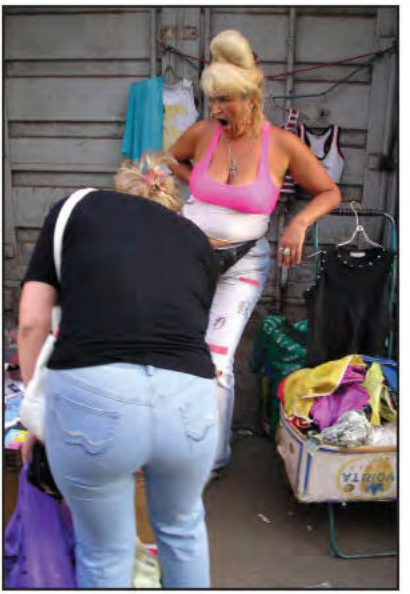
И наш город позирует ему.



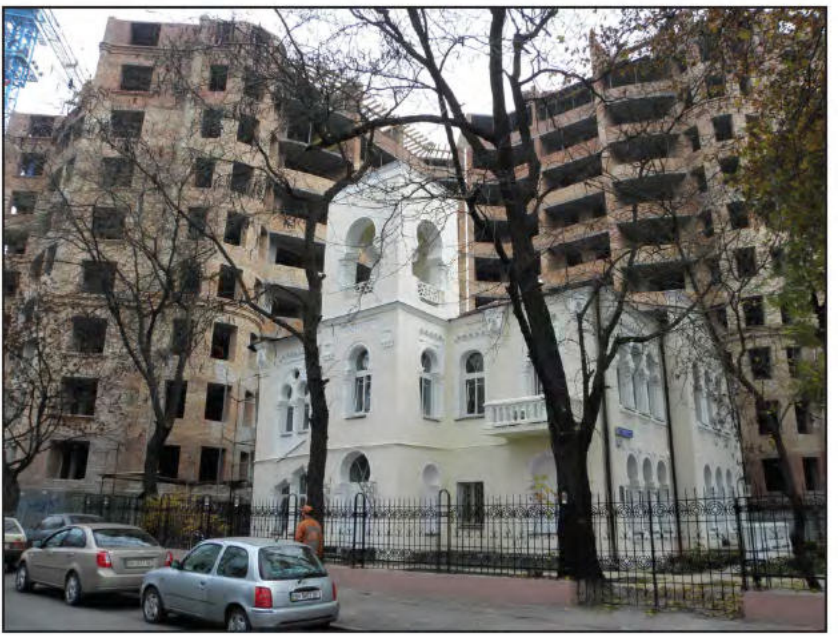












Ростислав АЛЕКСАНДРОВ

Четыре угла

От редакции. Первые четыре номера нашего альманаха (год рождения – 2000) открывались небольшими, но удивительно емкими замечательными очерками известного краеведа Ростислава Александрова о четырех углах двух легендарных одесских улиц, Дерибасовской и Ришельевской. Эти первые номера альманаха спустя 10 лет стали библиографической редкостью, и мы вновь публикуем эти материалы для новых читателей.

Улица – элемент городской структуры. И подобно тому, как каждая клеточка организма содержит его генетический код, каждая улица в своей истории содержит нечто специфичное для города, коему она принадлежит. На перекрестках двух улиц их история, резонируя, создает "мемориальное поле" такой напряженности, что, только ступи сюда, как оно пронзит тебя, генерируя в памяти не только давно забытое, но, казалось, никогда не ведомое.

И если это относится к каждому перекрестку, то что уже говорить о таком, как Дерибасовская угол Ришельевской... Здесь отдает негромкой прелестью Пушкинской, изяществом Ланжероновской, искрометностью Дерибасовской, респектабельностью Ришельевской, а вокруг "годовыми кольцами" отложилась веселая, печальная, мудрая, бестолковая, трагичная, счастливая и неповторимая двухсотлетняя история прекрасного города. Доказать это можно только рассказами о каждом доме на Дерибасовской угол Ришельевской и самим содержанием альманаха "Дерибасовская – Ришельевская", дай ему Бог, как говорили в Одессе, "здоровья, счастья и немножко деньгами".

Третий угол. "Там хлопотливо торг обильной…"

"Там хлопотливо торг обильной / Свои подъемлет паруса..." – писал А.С. Пушкин в "одесской главе" "Евгения Онегина", не преминув, как говорится, в первых же строках ее отметить самую, пожалуй, характерную, яркую и животворную черту города, пленившего его своим европейским духом. Поэт квартировал в отеле на углу Дерибасовской и Ришельевской, где изначально сформировался один из центров городской торговли в известных "всей Одессе" домах Рено, Кирико, Портнова. Последний был невысоким, но изрядной протяженности по обеим улицам, и, сохранись доныне, числился бы по Дерибасовской и Ришельевской под номерами соответственно 9 и 5.

Десятилетиями нам настойчиво, если не сказать назойливо, вдалбливали мысль о том, что в прошлом нигде, никогда, ничего толкового, путного, хорошего не было, и вообще, велосипед изобрели лишь после 1917

года. Только ведь многое из кажущегося таким новым на поверку оборачивается всего лишь естественно или принудительно, но хорошо забытым старым. И сегодня, может быть, трудно себе представить, но еще лет сто пятьдесят — сто шестьдесят назад заезжие провинциалы буквально столбенели перед сверкающими витринами фешенебельного "Магазина Юлия Ведде и К°" в доме Портнова, где галантные приказчики "как родных" встречали покупателей и любезнейше предлагали им изделия из бронзы и кожи, зеркала, часы, всевозможную косметику, обувь, прочая и прочая... А в располагавшихся здесь бок о бок магазинах, салонах, лавках, мастерских можно было заказать изысканные мужские туалеты у французапортного Луи Провандье и женские — у Секелари, приобрести массу отменно сработанных вещей в "Магазине иностранных товаров" одесского старожила Волохова, придирчиво выбирать ароматнейшие сигары в табачной лавке Матковича... В мастерской перчаточного мастера Санковского местные щеголи обзаводились наимоднейшего фасону перчатками, которые не стыдно было бросить в лицо обидчику, а почтенные негоцианты оформляли бумаги и куплю-продажу земли, недвижимости, экипажей и другого добра в конторе нотариуса Фаддея Березкина, не менее, кстати, известного как прозаик, драматург, переводчик...

На рубеже 1860-1870-х годов дом Портнова отошел к Ралли. А в 1890 году на его месте по проекту известного архитектора Ф.В. Гонсиоровского построили ныне существующий дом — четырехэтажный, с изящным граненым эркером, роднящим его с двумя другими старыми домами на Дерибасовской угол Ришельевской, и мансардой, роднящей Одессу с Парижем.

Павел Семенович Ралли принадлежал к старинной купеческой династии, но и без этого его дом в самом центре Одессы никак не мог оказаться вне торговой инфраструктуры города. И потому продавали там великое множество товаров разнообразного назначения и происхождения: немецкие фотоаппараты фирмы "К. Цейс", звонкие мячи для новоявленного футбола, асбест из Бельгии, драгоценные сибирские меха, самое совершенное по тем временам английское снаряжение для водолазных работ, не поддающееся износу сукно из Лодзи, знаменитые американские бритвы "Жиллет", цвета старого янтаря столярный клей Санкт-Петербургского завода, престижные швейцарские часы, высококачественные смазочные масла из Риги, плетенные из кокосового волокна половики и дорожки, поблескивающие черным лаком "редкие по качеству, простоте, прочности, красоте шрифта и дешевизне пишущие машины "Идеал — Полиглот", нежные пармские фиалки и медицинскую электроаппаратуру, кото-

рую имел в виду Остап Бендер, рекомендуя нервничавшему Воробьянинову "лечиться электричеством". И магазин ярославского и костромского полотна И.М. Соловьева соседствовал тут с "Торговым Домом Альфонса Андреевича Кюльпе" и "Вторым Российским страховым от огня обществом", которое на пользу людям да собственное благополучие безбедно просуществовало около девяноста лет и "сгорело" только в огне трагических событий 1918-1920 годов, когда не на бабушку-старушку из песенки Утесова, но на всю Одессу "сделали налет"...

Потом, в разные годы, в бывшем доме Ралли пребывали Центросоюзимпорт, Минералсольэкспорт, Главбумснаб и другие "конторы", чьи названия можно было выговорить лишь по крайней необходимости. Но и они, ничего общего не имевшие с "торгом обильным", о котором писал Пушкин, канули в прошлое. А в памяти не самых молодых наших земляков осталось подернутое теплом детских воспоминаний единственное в Одессе 1950-х годов кафе, где подавали разноцветные шарики мороженого и сифоны с газированной водой, которую тогда еще многие по старинке называли зельцерской.

Нынешний же "старожил" этого дома — магазин "Колбасы" — на фоне множества новых торговых заведений, может быть, и не очень заметен. Но сам факт его расположения здесь обретает особый смысл, если вспомнить, что еще в сороковых годах XIX века в доме Портнова благоухала аппетитными ароматами колбасная торговля Феррали — случайное это совпадение, но символичное. Когда-то, побывав в Марселе, Исаак Бабель опрометчиво написал, что там он увидел Одессу, "какою она стала бы через двадцать лет, если бы ей не преградили прежние пути". Тогда это "крамольное" откровение цензура похерила, что сути дела, конечно, не изменило. Но сегодня "прежние пути" постепенно приоткрываются, а что из этого получится, то, как говорили в Одессе, "будем жить — будем посмотреть". И, может, еще оживет во дворе дома Ралли давно заброшенный фонтан, и под жарким одесским солнцем в его прохладных струях снова вспыхнет радуга.



Ростислав АЛЕКСАНДРОВ

Саша Черный родился в доме у самого Александровского участка

Со стороны Пантелеймоновской улицы Ришельевскую замыкает здание бывшего Александровского полицейского участка, увенчанное давно "безработной" пожарной каланчой. А неподалеку испокон веку стоит принадлежавший когда-то Семашко, а потом Бронзу, числящийся ныне под номером 74 трехэтажный дом, во дворе которого укрылся допотопный особнячок и флигель о трех этажах, прорезанный арочным проемом, ведущим во второй, так называвшийся черный двор.

По фасаду дома одно из торговых помещений первого этажа занимал когда-то бакалейно-гастрономический магазин Д. Тополя, который по мере течения времени менял хозяев, но оставался таким же, как сотни других в Одессе. И, не занимаясь ни в каких гимназиях, там можно было легко и приятно изучать географию Российской империи, равно как ближнего и дальнего зарубежья: брынза бессарабская, колбаса польская, маслины греческие, масло прованское, огурчики нежинские, окорок житомирский, сардины португальские, сельдь керченская, сыр швейцарский, шпик венгерский и знаменитые одесские "Бычки в томате" черноморско-азовской фабрики консервов С.В. Фальц-Фейна на Балковской улице...

Более узким и специфичным был ассортимент товаров помещавшейся в этом же доме агентурно-комиссионной конторы "М. Бродский и Я. Бродецкий" — машины и механизмы немецкой компании "Тайденрайх и Гарбек" да кафель от фирмы "Гугель", которым облицовывали высокие, увенчанные фигурными карнизами печи, больнично-белые, казенно-коричневые или уютно-зеленые. Последние, кстати, отлично сочетались с такого же цвета абажурами настольных ламп, сукном письменных столов, обивкой мягкой мебели и плюшевыми портьерами. Такие украшенные помпончиками портьеры тогда являли собой непременную деталь интерьера и могли висеть где угодно — в гостиной респектабельного негоцианта, спальне мелкого чиновника, кабинете почтенного профессора, борделе на Запорожской, приемной модного врача и меблированных комнатах с неожиданным названием "Австралия" на Ришельевской, 74.

Для такого заведения это место удачным было: заявлялся ли провин-



циал, только что сошедший с поезда и даже не помышлявший о "Лондонской" гостинице, или девица без комплексов, но с очередным кавалером, только что полюбившим ее под трактиром "Лондончик" на Ришельевской угол Малой Арнаутской, в любом случае "меблирашки" не пустовали. И хозяин мог даже раскошелиться на телефон, а его супруга, наверное, не стояла возле вокзала с плакатиком "Комната у самого Александровского полицейского участка".

Касаемо же телефона и перефразируя Остапа Бендера, можно сказать, что тогда это была еще скорее роскошь, нежели средство общения, без которой вполне обходилась, к примеру, находившаяся во дворе дома прачечная З. Руинского, где до немыслимой белизны стирали белье для гостиниц, кофеен, ресторанов и хозяек, предпочитавших не затевать это дело дома. И впрямь, теперь трудно представить, но о горячем водоснабжении в то время понятия не имели, электрические и газовые водонагреватели в глаза не видели, о чудодейственных домашних стиральных машинах слыхом не слыхали и в качестве моющих средств использовали разве что известь да щелок. А ведь белье нужно было не только выстирать, накрахмалить, подсинить, выкрутить и, как говорили в Одессе, сохнуть где-нибудь во дворе или на чердаке. После всего этого его требовалось выгладить тяжеленным разогретым древесными угольями утюгом, обливаясь потом и задыхаясь от влажного пара. Словом, это был каторжный труд, после которого даже такой здоровый парень, как Мартин Иден, герой одноименного романа Джека Лондона, отработав неделю в китайской прачечной, в выходной день годился лишь на то, чтобы добраться и отвести душу в ближайшем кабачке.

А его собратьям из одесской прачечной на Ришельевской улице, пожелай они отдохнуть таким изысканным образом, достаточно было просто выйти со двора и, пересчитав наличность, тут же нырнуть в "Вино-

торговлю Бронза", на пороге которой оставались всегдашние заботы, сиюминутные треволнения, накопившаяся усталость, и... возвращались только через несколько часов или даже к утру следующего дня — в зависимости от интенсивности возлияния. Правда, закон предусматривал "недопущение покупателям напиваться до беспамятства", но гуманно оговаривал, что "если бы сие случилось, то такое лицо не может быть оставлено без присмотра и помощи до полного вытрезвления, каковые лежат на обязанности виноторговца". Помимо этого ему запрещалось отпускать спиртное в долг уже пребывавшим подшофе или малолетним, принимать в качестве платы или залога краденые вещи и "допускать в заведение распутных женщин". Разумеется, не всегда, не везде и не всеми сие было выполняемо, проверяемо и в случае чего наказуемо, поскольку чиновный люд никогда не состоял из одних бессребреников. Но что неуклонно соблюдалось, так это запрет "раздробительной", то есть распивочной продажи даже самых благородных напитков горячительного свойства ближе, чем в сорока саженях от казарм, кладбищ, тюрем, учебных заведений, молитвенных домов и храмов. По этой причине, когда за углом от дома Бронза, на Пантелеймоновской улице, появилось величественное здание Афонского подворья, оно не только умиротворило души верующих, облагородило силуэт города и огласило округу праздничным колокольным звоном, но ударило по карману владельцев соседних питейных заведений, подлежавших безусловному закрытию. Но то, что худо для одних, бывает во благо других, и их коллега Бронз, чье заведение оказалось близ новоявленной "безалкогольной зоны", поимел еще больший доход за счет миграции оттуда выпивающих. Но на Ришельевской, 74, естественно, не только поклонялись Бахусу...



Одно время во дворе этого дома размещалась небольшая типогра-

фия, где можно было напечатать "летучки" с текстом и нотами популярной песенки, бланки товарных накладных, пригласительные билеты типа "имярек имеет честь...", белоснежные визитные карточки или фирменные, на цветной бумаге, сигнатурки, другими словами, ярлычки для склянок с микстурой или пакетиков с порошками, украшенные гравированным изображением аптеки, где эти снадобья приготовили. Множество лекарств еще готовили сами провизоры: манипулировали фарфоровыми ступками, костяными лопаточками, весами с крохотными чашечками, "колдовали" над спиртовками, пробирками, баночками и колбочками, что-то отвешивали, отмеривали, растирали, растворяли, смешивали, выпаривали и настаивали.

Один из этого многочисленного и уважаемого сословия, коммерческий агент Акционерного общества "Санкт-Петербургская химическая лаборатория" М. Гликберг в середине 1880-х годов вознамерился было открыть собственное дело, о чем подал положенное в таком случае "прошение господину одесскому градоначальнику" да что-то не сложилось. Но чиновники добросовестно подшили собственноручно исполненное им прошение к текущим бумагам, и через сто с лишним лет случилась от него неожиданная польза. Как оказалось, проситель проживал тогда в квартире № 18 дома Семашко на Ришельевской улице, каковой адрес десятилетиями оставался потаенным для всех, кто интересовался семейством одесского провизора. У него было пятеро детей — две дочери и три сына, старшего из коих звали Александром, в младые годы просто Сашей. А когда появился на свет его двоюродный брат-тезка, в отличие от него, блондин, то для удобства семейных разговоров новорожденного стали называть Сашей белым, а его старшего братишку соответственно Сашей черным. Спустя годы семейное прозвище обернулось литературным псевдонимом Саша Черный, известным всей читающей России, а потом истосковавшейся по ней эмиграции.

Уже там, в 1923 году, он написал стихотворение "В Одессе" — поэтические мемории о родном городе, которое стоит, пожалуй, привести здесь полностью. А через десять лет Саша Черный напечатал для русских ребят рассказ "Голубиные башмаки", в котором воспоминаниями о далеком детстве остались могучие биндюжники, портовые люмпены, Греческая улица, незабываемого вкуса вареники с вишнями и одесское словечко "шмаровоз", по которому безошибочно можно узнать нашего земляка, где бы он ни жил и во что бы ни рядился, — в кимоно ли, пончо или юбочку из пальмовых листьев...

В Одессе



Вдоль деревянной длинной дамбы
Хвосты товарных поездов.
Тюки в брезенте, словно ямбы,
Пленяют четкостью рядов.
Дымят гиганты-пароходы,
Снуют матросы и купцы.
Арбузной коркой пахнут воды —
И зыбь и блеск во все концы.
На волнорезе так пустынно...
Чудак в крылатке парусинной
Снимает медленно с крючка
Вертлявоскользкого бычка.
Всю гавань тихо и лениво
Под солнцем добрым обойдешь...
Воркуют голуби учтиво,
Босяк храпит в тени рогож.
Кадит корицей воздух летний...
Глазеешь на лихой народ
И выбираешь, как трехлетний,
Себе по вкусу пароход.
Вперед по лестнице гигантской!
Жара бросает в пот цыганский,
Акаций пыльные ряды
С боков свергаются в сады.
Дополз до памятника "Дюку"...
День добрый, герцог Ришелье!
Щитком к глазам подносишь руку:
Спит море — синее колье...
В ребре средь памятника — бомба,
Жужжит кольцом цветник детей,
И грек, исполненный апломба,
Раскрыл, пыхтя, лоток сластей.
Сажусь у лестницы на кладку, —
Мороженщик снял с круга кадку.

Сквозь Николаевский бульвар
Плывет змея беспечных пар.
Голландский шкипер белоснежный
Склонил к Кармен одесской лоб.
Взлетает смех, как жемчуг нежный,
Играет палкой местный сноб,
Горит над жирным турком феска,
Студент гарцует средь девиц...
Внизу среди морского блеска
Чернь пароходных верениц...
Казаки, статные, как кони,
Кружком расселись в павильоне...
Урядник грузен, как бугай.
Запели... Эх, не вспоминай!



Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ

Телефонное право

Небо над Москвой было густо-синим, а далеко-далеко — там, где Ленинский проспект зажевывало горизонтом, — ярко алело от закатного огромного солнца. Под этим волшебным красно-синим колпаком казалось, что вся столица накрыта гигантской НКВДшной фуражкой.

Иванов тихо улыбнулся своим уютным мыслям.

Потом опустил руку в полиэтиленовый пакет и нащупал рукоять "Стечкина", словно елочная игрушка, обернутого в мятые газеты. Поднес к глазам мобильный с пришедшей MMS: с пятидюймового экрана на него упрямо, с вызовом смотрела красивая молодая женщина.

Девять вечера. Сейчас она выходит из метро. До сюда идти восемь минут, если она нигде не задержится по пути. Впрочем, задерживаться ей негде; жизни у нее никакой нет. И быть не может. А значит...

Иванов кинул еще один взгляд на фото. Синие глаза магнитили, не отпускали. Иванов знал: это линзы. И волосы ненастоящие... Но оторваться от снимка не получалось. С усилием он отвернулся от экрана и уставился на малахольных прохожих сквозь девяностопроцентную тонировку.

Девять ноль две.

Пора.

Он потянул ручку и вынырнул из своего черного маленького лексуса, похожего на космический глайдер. Пакет в левой руке. Стрелять Иванов будет прямо сквозь него. Через минуту подъедет карета "скорой помощи" с особенными номерами. Тело погрузят на носилки, а когда "скорая" прибудет к месту назначения, в ней уже будет пусто.

Женщина с синими глазами исчезнет, словно никогда и не существовала.

Но прежде чем уничтожить ее, он должен задать ей один вопрос.

* * *

— Оправдан! — звонко сказала судья. — И подлежит освобождению в зале суда.

Зал взорвался. Репортеры забубнили в телефоны, мешая и заглушая друг друга, прокурорские васильки разом выцвели, самоуверенные люди в черном, курировавшие процесс от Админки, закурили прямо в зале и тоже взялись за свои увесистые гербовые мобилы.

— Звездочка-десять-решетка! — говорил один другому.

— Да знаю я! — огрызался второй и набирал номер.

Опальный олигарх, который все оглашение приговора проразгадывал кроссворды "От тещи", смирившись уже с тем, что следующие десять лет пройдут неотличимо от десяти лет предыдущих, обалдело и подозрительно уставился сквозь толстое стекло на судью, будто в аквариум ему подсыпали регулакса.

Собрав бумаги и выдернув из розетки телефонный шнур, судья зацокала каблучками по рассохшемуся казенному паркету, вклинилась в бушующую толпу — и канула, прежде чем люди в черном, получив импульс из своих мобильных, успели ее настичь.

А потом было не до судьи: надо было что-то делать с оправданным олигархом, который уже несмело складывал из затекших от кроссворда пальцев черчиллевскую Victory.

Конец оперативной съемки. Экран померк.

Генерал щелкнул пультом, обернулся к Иванову и уставился на него внимательно. Глаза у них были одинаковые — полупрозрачные русские с ленинским прищуром, и лица вообще одинаковые тоже — среднестатистические, для маскировки в толпе. Генерал смотрелся в Иванова, как в свое отражение десятилетней давности, — а Иванову хотелось думать, что это он в свое будущее отражение смотрится. Одеты оба были похоже: светло-серые, как Главное здание ФСБ, костюмы, галстуки недорогие, но приличные. Никаких знаков различий, конечно: подполковничьи лычки у Иванова, а у Генерала — его генеральские, были вытатуированы прямо по обнаженной душе.

Есть на Лубянке разные отделы; многие давно уж перешли на хозрасчет и живут — как Есенин жил русской природой — крышеванием всей многоликой экономики нашей Родины, от уличных палаток и металлопроката до газового транзита и наркотрафика. Но есть и те, что до сих пор занимаются служением Родине. Отдел, в котором числился Иванов, был из таких.

— Всех причастных нужно зачистить, — мягко сказал Генерал.

— Всю цепочку? — уточнил Иванов. — Или только сам объект?

— Всех причастных, — повторил Генерал.

— Но вдруг это однократный сбой? Замыкание?

— А если нет? Если это системная ошибка? Или заводской брак? А то и диверсия! Нет, брат Иванов. Тут всю цепочку сверху донизу надо.

— Это ведь новая модель, да? — проявил осведомленность Иванов. — Усовершенствованная?

Генерал печально вздохнул и кивнул утвердительно.

— В том-то и дело. Только вот в чем беда: мы не смогли понять, в чем это усовершенствование заключается. И в процессе ликвидации твоя задача установить: идет ли речь о единичном случае, или же у нас целая линейка бракованная, и теперь всю партию отзывать надо.

Иванов встал.

— Разрешите идти?

— Ступай, — Генерал тоже поднялся, провожая подчиненного. — И учти. Мы эту историю неспроста именно тебе поручаем. Ты у нас ведущий специалист, Иванов. Дело государственной важности. Мне сам Сисадмин в скайп писал. И дал понять, что Президент беспокоится. Ты же понимаешь, это его личная тема... Мы уже готовимся к худшему. Если будем всю партию отзывать, скажут, что проводят судебную реформу с заменой кадрового состава... Но стоит это бешеные миллиарды, даже без учета распилов. В твоих силах это предотвратить, Иванов.

— Так точно, — собранно козырнул Иванов.

— Ну, с богом! — улыбнулся Генерал.

И перекрестился на пейзаж маслом, изображающий Железного Феликса на Лубянской площади — незыблемо стоящим на своей исконной голгофе, еще до вознесения.

* * *

Засекреченный завод "Дукс", упрятанный на улице Правды промеж бастиона Русской Народной Телерадиокомпании и Главного хранилища Центробанка, в советские времена производил велосипеды, пылесосы и истребительную авиацию, а в новую эпоху по конверсии перешел на сдачу помещений подпольным вьетнамским пошивочным мастерским.

Но юркие бессонные вьетнамцы были запущены в святая святых лишь для отвода госдеповских глаз. Сквозь стрекотание швейных машинок через пыльные груды отшитых лжеармани до чуткого уха доносилось еще затухающее биение сердца отечественного приборостроения. За цехами, обеспечивающими Коньковскую одежную ярмарку, прятались тайные проходные в цеха, работающие на Гостехнологии.

Одолев залы, где тачались дедовским способом джинсы со стразами, актуальные кофточки и сумки "Прада", Иванов оказался у пыльной каптерки с растекшимся по трухлявому стулу рыхлым вохровцем.

Любой шпион тут бы и срезался, принявшись отгадывать давно всеми забытые пароли. Но Иванов знал, как работает пропускная система. Тыся-

ча, свернутая пополам, на стол — и покрасневшая от подозрительности вохровская рожа приняла снова язвенный зеленоватый оттенок. Семафор сработал. Путь открыт.

Иванов вошел и огляделся. Тут он раньше бывал — курировал производство. Курировал-курировал, да не выкурировал. Генерал не зря тревожится: именно у его отдела это производство на контроле. Ему теперь и разгребать.

Все образцово и инновационно. Станки, стерильные полы, снежно-белые стены, люди в хирургических халатах снуют взад-вперед, словно поршни, разгоняющие титанический паровоз российских инноваций до каких-то уже совершенно неприличных скоростей.

Сверившись с картой, Иванов шагнул в левый коридор, добрался до нужного кабинета и тихо открыл дверь.

Мастер в аккуратном синем комбинезоне корпел над микросхемами. В воздухе стоял запах горячей канифоли. Лысина интеллигентно отсвечивала в белом сиянии ртутных ламп.

Мягко чмокнул замок и еще нежнее — пистолетный затвор. Мастер испуганно обернулся.

— Знакомы? — спросил Иванов, показывая ему фото на MMS.

Тот закивал, неразборчиво замычал что-то, торопясь и давясь словами.

— И что случилось? — вежливо и спокойно поинтересовался Иванов, упираясь глушителем "Стечкина" мастеру в кадык.

— У нас... У нас все нормально было... ОТК ж прошло... — прохрипел мастер.

— Телевизор смотрите? — покачал головой Иванов.

Мастер побледнел пуще прежнего, попытался проглотить ком в горле, да не смог: ствол кадык не пускал.

— И что в этом нормального? — продолжил Иванов. — Это либо преступная халатность, либо диверсия потенциального противника. Мне надо знать, что именно.

Мастер замотал головой, силясь что-то сказать.

— Я просто собрал... Как всех остальных... Голову даю!

— Ничего не напортачил? — уточнил Иванов строго, чуть ослабляя давление.

— Нудыкъепта... — вырвалось у мастера экспрессивное. — Что там можно напортачить? Кукла надувная сложней устроена! Только...

— Только?.. — насторожился Иванов.

— Во время Т.О. я в ней какой-то модуль новый нашел... Не стал трогать... Решил, что конструктор доставил... С него спрашивайте...

Иванов помолчал, вздохнул почти сочувственно и пожал плечами.

— Хорошо, спросим у конструктора.

Мастер кулем повалился на пол. Иванов придержал его немного, чтобы тот не стукнулся головой, и аккуратно отступил назад, стараясь не перемазать туфли в медленно растекающейся багровой луже.

* * *

Конструктора Иванов дождался в подъезде. Взлетел по ступеням и втиснулся в последний момент в изнасилованный вандалами маленький лифт, прижав очкарика к стенке.

— Михаил Семенович? Я к вам. В гости, — улыбнулся он, распахивая перед ним бабочкины крылья волшебной ксивы.

Хозяйского спаниеля Иванов упрятал в туалет, чтобы тот не мешался.

Пока кипятили чай и грели паяльник, познакомились. Михаил Семенович все крутился и ныл, что наручники запястья натирают, но Иванов ему объяснил, что как интеллигентному человеку ему, конечно, в связи с положением Михаила Семеновича очень сочувственно, но как профессионал он все-таки не должен давать волю эмоциям.

Сначала Михаил Семенович от всего открещивался. Утверждал, что не знает ничего и ничего не понимает. Потом в дело пошел как раз прогревшийся как следует инструмент, и разговор стал клеиться лучше.

Грантов конструктор от Сороса, Форда, Британского совета или других подразделений ЦРУ вроде как не получал. Советско-спартанский интерьер утлой холостяцкой двушки в Бутово заставлял верить ему, и Иванов поверил — он вообще от природы был человеком доверчивым, это работа его немного закалила.

Но если не диверсия, то что? Халтура? Поломка?

— Давайте вместе разбираться! — предложил Иванов покрасневшему от натуги конструктору. — Вот схема устройства "КПМ-2010", которым оборудованы все наши суды. Дизайн кастомизируется и выполняется под человека. Шестьдесят процентов продукции завода "Дукс" выглядят, как женщины, сорок — как мужчины.

Это Иванов, конечно, не случайно так издалека начал. Говорить он говорил, а сам пока продолжал работать инструментиком. В интересах Михаила Семеновича было поскорее перейти к сути. Покамест конструктор пыхтел, но держался молодцом.

— Устройство простое, — Иванов посмотрел на схему. — Вот тут — динамик. Вот это — речевой синтезатор. Напрямую к синтезатору подключен жесткий диск с УПК. В имитации анального отверстия автомата "КПМ" находится стандартное гнездо для телефонного провода. Вот этот модуль, позаимствованный нашей промышленной разведкой в американских куклах BabyBorn, помогает автомату симулировать человеческое поведение — моргать, издавать непроизвольные звуки и срыгивать. Как мы видим, больше в этом чертеже нет ничего интересного, — и он принялся запихивать кульман в рот насморочному Михаилу Семеновичу, позволяя ему немного смочить чертеж слюной и утрамбовывая бумагу глушителем.

— Я ничего не забыл? — для проформы спросил Иванов и сам тут же спохватился: а забыл ведь!

Тот самый загадочный модуль, о котором толковал почивший мастер на "Дуксе".

— Михаил Семенович, — дав конструктору отмычаться, чтобы не перебивать его, произнес Иванов. — Вы утверждаете, что не занимались вредительством. Однако вы установили на наш автомат некую подозрительную насадку. Автомат "КМП-2011", который и дал позорный сбой на важнейшем приговоре, был этой насадкой оборудован.

— Не ставил я никаких модулей! — сжевав кусок кульмана, всхлипнул конструктор. — Да, мы вели работы по усовершенствованию "КМП", но...

— Михаил Семенович! — строго нахмурился Иванов. — Раньше все в вашем устройстве было лаконично и прекрасно. Ничего лишнего! По телефонному проводу в устройство "Карающий Меч Правосудия" поступал сигнал в тоновом режиме. Звездочка — необходимый срок заключения в цифровом виде — решетка. Вот все, что нужно было набрать куратору процесса. И устройство "КМП" оглашает приговор в соответствии с поступившим сигналом. Что еще нужно от судьи в нашей стране? Ваш механизм — само совершенство, и усовершенствовать его невозможно! Что за насадку вы встроили в "КМП-2011"?!

Последний вопросительный знак с восклицанием Иванов изобразил паяльником; и, видимо, перестарался. Конструктор захрипел, повалился на пол, запрыгал, как плотва на льду, и уголком губ потек ручеек крови.

Иванов кинулся к нему — рано, рано! — но было поздно. Черт, привык он все-таки в последнее время к крепким хозяйственникам, совсем разучился работать с интеллигенцией! Надо было понежней как-то его — возможно, психологически...

Конструктор, лежа в крови и рвоте, что-то хрипел.

Иванов нагнулся: вдруг дает признательные показания, курилка?

— Это же... Студент... Студент ей это...

И все.

Помер, подлец.

* * *

Вот она.

Цок, цок, цок. Стучат каблучки.

Непросто ее было найти. Все судьи ходят с чемоданчиками: это они с собой передатчик "Глонасс" носят. Более ранние модели были с такими авоськами в клеточку на колесиках, но спорный дизайн подрывал доверие населения к судебной системе. А потом, благодаря инновациям и внедрению, слава Чубайсу, нанотехнологий, передатчик стал умещаться в обычный дипломат — правда, закрывая его, на нем приходилось чуть попрыгать, как на переполненном чемодане. Ну, да это так, издержки...

А вот эта пропала с радаров — выбросила свой чемоданчик. Еще один странный поступок!

Еле выследили, использовав агентурную сеть приподъездных бабок, унаследованную еще от НКВД.

Куда же она идет? Что тут забыла?

Иванов огляделся по сторонам и кошачьей походкой последовал за синеглазой судьей. Штопаная пятиэтажка, третий подъезд. Нет, BabyBorn'ов этому не учат... А ну как, похолодел Иванов, этот чертов модуль ей MI6 вшило? С них станется, после камней-шпионов... И вот она сейчас прет сюда на радиоуправлении?

А?!

Точно!

Вот все и стало на свои места. И сейчас он раскроет конспиративную малину британских коллег. Тут, конечно, медаль светит, за заслуги перед Родиной...

Иванов перещелкнул предохранитель на "Стечкине", из-за угла подсмотрел, в какую квартиру звонит синеглазая, и сразу, не давая опомниться открывшему ей, с разбега ударил в замок ногой. Дверь распахнулась, Иванов ураганом влетел внутрь...

Свет вспыхнул и погас, звякнуло что-то, обожгло, и взорвалась голова.

Иванов ошалело потряс ей, слепо поводя стволом влево и вправо...

— Беги! Беги! Я прикрою тебя! — чей-то полудетский тенорок.

Иванов выстрелил, ничего не видя, в голос.

Кто-то ахнул, и тенорок умолк. Потом послышался шепот, тихий, усталый:

— Умоляю тебя... Беги...

Цок, цок, цок... Закрылась дверь.

Вдруг стало светлей: зрение возвращалось. Иванов вдохнул глубоко, зажмурил глаза и открыл снова.

Он почему-то сидел на полу в крошечной голодранской прихожей с трюмо из ДСП и полосатыми тошнотненькими обоями. Рядом, прикрывая дыру в животе, сидел рыжий прыщавый мальчишка — еще и двадцати нет. Через дверной проем видна комната: с потолка на лесках свисают клееные авиамодельки. На полу валяется сковорода, рядом — остатки недожаренной глазуньи. Ага, вот чем его оприходовали...

— Вы за ней... Или за мной? — прошелестел мальчишка.

— За тобой, — соврал Иванов.

Взбунтовавшуюся КМП они найдут еще... А парень, видно, что-то знает.

— Хорошо, — тихо сказал рыжий.

— Рассказывай, — приказал Иванов. — Что ты сделал с этим механизмом?

— Сам ты механизм! — крикнул мальчишка и тут же ойкнул, сморщившись от боли. — Она... Она настоящая. Ее Катей зовут.

— У нее в техпаспорте так записано, — покачал головой Иванов. — Вместо серийного номера. Это устройство "КМП-2011".

— Она не устройство, — побледнел рыжий. — Она девушка!

— Ты в машинку, что ли, втюрился, пацан? — не веря своим ушам, вытаращился Иванов.

— Она не... — мальчишка клюнул носом, проваливаясь в обморок.

— Эй! Эй! Смотри не умри мне тут! — забеспокоился Иванов. — Хорошо, не машинка! Красивая она...

— Красивая... — подтвердил слабо паренек. — Я по телевизору процесс этот смотрел... С олигархом... И с первого взгляда в нее... Встречал ее... С цветами... Думал, она человек... Не знал...

— У нас люди судьями не бывают, — поведал умирающему государственную тайну Иванов. — Людям такое доверять нельзя. Вдруг возьмут и сами решат что-нибудь? А нам потом — расхлебывай.

— Я когда понял, в чем дело... Ну... Сделал ей апгрейд...

Вот оно! Вот откуда таинственный модуль! Что там усопший конструктор про студента говорил?..

— Ты где учишься, сынок? — насупился Иванов.

— В Бауманке...

— А... Тогда не мудрено, что ты на манекенов кидаешься... — почесал затылок Иванов; парнишку даже уже становилось жалко.

— Я ей... Поставил один чип... Сам сделал... Хотел быть с ней... Чтобы взаимно... Ну... Чтобы она тоже меня полюбила...

— Что за чип-то? — весь подобрался Иванов.

— Ну... Душу ей... Инсталлировал...

— Ты что гонишь-то? Какая душа? Душ не бывает! — хмыкнул Иванов.

Мальчишка не возражал: испустил дух.

— Даебтвоюналево, — позволил себе экспрессивное обычно сдержанный Иванов.

* * *

А ведь черт его знает, что он ей там инсталлировал! Вдруг она теперь по-английски говорит, и уже в очереди на политическое убежище стоит, пока он с ее пигмалионом лясы точил?

Иванов выдвинулся на лестницу, уже готовый звонить Генералу и объявлять план "Перехват"...

Но она сидела пролетом ниже, обхватив колени руками и уткнувшись в них подбородком. Иванов вытянул из кобуры "Стечкин" и навинтил глушитель, чтобы лишний раз не тревожить соседей. И вместо Генерала набрал номер "скорой", которая приедет утилизировать ее корпус.

Она услышала — обернулась к нему. Иванову показалось, что в ее синющих глазах стоят слезы, но он знал: этого быть не может. Это не глаза, а линзы...

— Последнюю сигарету можно? — слабо улыбнулась она.

— Курите, — осторожно разрешил Иванов.

— А у меня нет... Откуда у меня? Я же механизм, — ее голос сорвался в хрипотцу, и она кашлянула, сгоняя ее. — Я думала у вас попросить, — с каким-то неумелым подростковым кокетством добавила она.

— Не курю, — ржаво ответил Иванов.

— А я думала, такие люди, как вы, всегда курят... — рассеянно сказала она.

— Какие... Люди?

— Которые убивают других людей. Вам же надо как-то успокаиваться...

— А вам тогда зачем курить? — неожиданно для себя спросил Иванов. — На смертную казнь у нас в стране мораторий. Таких приговоров вы не выносили.

— Не выносила, — согласилась она и снова улыбнулась — не игриво, а устало.

— Так зачем?

— Никогда не пробовала, — сказала она. — Вдруг страшно захотелось. Потому что теперь когда пробовать?

Внизу коротко взвыла сирена прибывшей неотложки.

А Иванову вдруг страшно захотелось, чтобы машина ехала дольше... Может быть, час. Может быть, два?

— Ну, вы стреляйте, — сказала она. — У меня вот тут уязвимое место. Он сюда зачем-то свою штуку установил, — она приложила два пальца к левой половине груди. — Романтик несчастный...

Она и вправду была очень красива — какой-то небесной и строгой красотою, как дамы на полотнах Веласкеса, и такая же серьезная.

— Скажите... — Иванов помолчал. — Прежде чем я... Чем мне придется... Я должен спросить.

— Так значит, сигареты нет? — легонько вздохнула она.

— Я... Могу в ларек спуститься... В принципе...

— Не можете, — она пожала плечами. — Вы меня тут оставите, а я сбегу.

— Ну ведь не сбежали уже, — возразил он.

— Не сбежала, — кивнула она. — А зачем? Куда?

Иванов кивнул.

— А... Как это... Быть вами? — спросил он зачем-то.

— Странно. Прекрасно и жутко. Как бабочкой-однодневкой. Радуешься до потери сознания — и понимаешь, что вот-вот все кончится. Потому что такого не бывает и быть так не должно. Потому что не позволят. И еще одиноко очень.

Неотложка снизу нетерпеливо и капризно забибикала. Кто-то вошел в подъезд, лязгнула стальная дверь.

— Вы хотели что-то спросить, — напомнила она. — Вы спрашивайте, а то времени, наверное, совсем мало осталось...

— Да, — одернул себя Иванов. — Да. Вы... Зачем вы его оправдали?

Она посмотрела на него долго, потом отвернулась.

— Вы не поймете.

— Пойму, — он убрал пистолет в кобуру.

— Мне мать его крикнула однажды, что у меня души нет. Что я чертова машинка.

— Она не могла знать, — вскинулся Иванов. — Исключено! Это гостайна.

— Какая разница? — она зацепила его своими синими глазами. —

Просто... Мне стало вдруг так обидно. Что-то шевельнулось во мне. Захотелось ей доказать — ей и всему миру, что у меня есть душа, есть...

— Душ не существует, — механически возразил Иванов.

— Мне вас так жалко... — она прильнула своим виском цвета слоновой кости к вымазанной дерьмом стене.

Снизу загрохотали берцы.

— Вон она сидит! Стреляй!

Захлопал глушитель — будто пыль из ковра выбивали; Иванов выхватил свой "Стечкин" и два раза выстрелил в ответ. Снизу замолчали.

— Зачем вы это сделали? — спросила она тихо.

— Не знаю, — честно ответил Иванов. — Не понимаю.

— Вас накажут теперь.

— Послушайте... Катя, — хрипло проговорил Иванов. — Я все устрою. Мы... удалим просто вам эту чертову насадку. И все. И вы вернетесь к работе. И будете... жить. Давайте? Я устрою... И мне не придется вас сейчас убивать. Пожалуйста.

— А зачем?

— Неужели вам жить не хочется?

— Жить хочется, — откликнулась она угасающим эхом.

* * *

— Что значит "под его страх и риск"?! — орал Сисадмин, силясь вырваться из тесного окошка скайпа. — Кто он такой, чтобы брать на себя этот риск? Кто *ты* такой?!

— Я... Мы... Он лучший сотрудник. Я должен ему верить... Он обещал... — Генерал то бледнел, чувствуя, что карьера вот-вот пойдет под откос, как подорванный партизанами немецкий бронепоезд, то краснел оттого, что ему приходится выслушивать такое от шпака с черным от пиара прошлым.

— Вся наша судебная система! Вся! Держится на этих гребаных механизмах! Ты понимаешь?! Да если они будут сами принимать решения! Выносить приговоры! Исходя из уголовного кодекса! Ты представляешь, что со страной будет?! Что с Родиной будет, ты представляешь, паскуда?!

— Да. Нет. То есть да...

— Крах! Всему кранты! И мне, и тебе! Судный день настанет! У нас, сука, страна не на праве держится, не на судах, блядь, а на круговой поруке! Ты нашему исконному государственному устройству очко раздраконить хочешь? Порви, где тонко, — все покатится!

— Я... Он... Он говорит, что все будет хорошо. Что она теперь под контролем. Что приговор будет как надо.

— Смотри у меня, полковник... — Сисадмин смерил Генерала ледяным взглядом и отключился.

— Это ты у меня смотри. Сучонок, — неуверенно пробормотал Генерал и полез в стол за валокордином.

* * *

В тесном зале Басманного суда народу было как в теплушке, уходящей на Колыму. Журналисты сидели друг у друга на головах. Прокурорские выглядели бледновато, люди в черном нервно переглядывались.

Судья — строгая, серьезная, синеглазая — открыла папку.

Опальный олигарх, на сей раз взятый с поличным и обернутый на всякий случай в смирительную рубашку, смотрел на судью с надеждой.

Генерал перекрестился. Иванов глядел на судью неотрывно, стараясь перехватить ее взор — и ободряюще ей улыбнуться. Но судья смотрела в дело.

— Виновен. За переход улицы в неположенном месте обвиняемый приговаривается к...

В душной тишине зала послышалось пиликание тонального набора. Иванов узнал кнопки прямо на слух: звездочка — восемь — решетка.

— К восьми годам заключения в колонии общего режима, — ровно произнесла судья.

Опальный олигарх сиротливо всхлипнул.

Генерал махнул коньяку из фляжечки.

* * *

— Ты молодец! Ты просто молодчина, Кать!

Иванов открыл Veuve Clicquot и разлил пенящееся шампанское по фужерам.

На столе стоял аккуратно порезанный на двенадцать частей торт и букет красных роз. Висящий в углу плоский Sony показывал крупно печальную физиономию опального олигарха, пришибленных правозащитников и разворошенный журналистский улей.

— Я тобой горжусь! — любуясь экранной Катей, сообщил Кате присутствующей Иванов. — Знаешь даже что...

Катя молчала, внимательно глядя на него.

— Я не решался тебе сказать... Я этого вообще с шестнадцати не говорил никому... Я тебя... Люблю...

Катя не произнесла ни слова, но в блеске ее глаз Иванову чудилась взаимность.

— А ты меня? Тоже? А давай выпьем, а? А то что-то все говорим, говорим... — засуетился он.

Опрокинул фужер, подскочил к Кате, попытался вложить ножку бокала ей в деревянные пальцы — не смог. Поднес шампанское к ее губам, чуть смочил их, и тут у Кати неожиданно отвалилась челюсть. Шампанское расплескалось.

— Это ничего. Ничего... — захихикал Иванов. — Я и сам уже натрескался...

У нее закатились глаза. Жутковато так закатились.

— Устала, да? — не испугался Иванов. — Пойдем, может, ляжем уже? Только... Надеюсь, ты не так сильно устала, чтобы... Ну... Я подумал... Столько нервов сегодня было... Может, так сказать, выпустим пар? Хехе...

Москва

Тосты жён

О, если бы наши жены говорили то, что говорят друзья на юбилее!

Хотя бы сотую часть.

Но жены не способны физически и умственно речь держать в честь мужа.

Даже ничтожный тост.

Ее спрашивают друзья: "Ну, ты что, несчастна с ним, что ли? Ну, ты недоедаешь с ним, что ли? Ну, тебе что, нечего одеть, что ли? Ну, тебе что, не надоело молчать? Почему ты молчишь?". Гости непрерывно кричат: "Любим, любим, уважаем! Ценим, знаем, понимаем!".

Ты можешь пискнуть хоть два слова?

Мол, обожаю встречно, не представляю себя с другим...

Или представляешь?

— Квартира есть? — мы спрашиваем тебя.

— Есть!

— Машина есть? — мы интересуемся у тебя!

— Есть!

— Повысился уровень быта в семье? — охарактеризуй уровень!

Почему посторонние люди должны по дереву стучать, а ты молчишь?

Кто умный, кто заботливый, кто терпеливый?

Ты с кем живешь?

Может быть, ты не согласна с ним в чем?

Давай, выдай альтернативу — мол, не то...

Охарактеризуй, кто он на самом деле, — ну, давай.

Что ты спишь под крики — "великий, добрый".

Ну-ка — как, счастлива? С кем?

Давай подлиннее.

Охарактеризуй чувства свои.

Народ не дурак.

Народ хочет слышать, с кем живет великий человек.

Но нет! Не могут жены при людях! — всё наедине норовят!!!

Исподтишка ночами норовят.

Когда мы беззащитны.

А в глаза толпе правду: мол, не могу жить без него: невыносимо огромная личность! Умру без него. Или с ним!

А? Где звук?

Это тебе не по телефону болтать — это при всех.

Тоста без всех не бывает!

Отрицательных тостов нет.

Никто не скажет: "Пью за то, чтобы он подох!".

Все тосты положительные — потому что мужчины им значения не придают... Чтобы выпить быстрее... Тост как произведение чем хорош? Всегда есть концовка!

А женщина войти в эту воду боится.

Ей отрицательное во что-то надо поместить.

Иначе каждый скажет: "Что ж ты днем одно, а ночью — другое...".

Мужчина мужчину ночью не видит.

От этого неизвестно, что бы они друг другу ночью сказали.

Понял, в какое время суток смысл жизни проявляется?

И праздничное скопление людей ничего не проясняет.

Правда начинается немного позже.

Задача мужика — не искать правду в тостах. Ищи там коньяк! Понял?

А общий звук приветствий не выключай.

Чтоб быть уверенным в себе!

Так как правду все равно не узнаешь, а уверенность в себе нужна, чтоб ночь выдержать.

Твой протостующий друг,
известный как муж, которому повезло!

Одесса — Москва



Валерий ПОПОВ

Три рассказа

Случай на молочном заводе
Пародия на детектив

Два лейтенанта, Петров и Брошкин, шли по территории молочного завода. Все было спокойно. Вдруг грохнул выстрел. Петров взмахнул руками и упал замертво. Брошкин насторожился. Он пошел к телефону-автомату, набрал номер и стал ждать.

— Алло, — закричал он, — алло! Подполковник Майоров? Это я, Брошкин. Срочно вышлите машину на молочный завод.

Брошкин повесил трубку и пошел к директору завода.

— Что это у вас тут... стреляют? — строго спросил он.

— Да это шпион, — с досадой сказал директор. — Третьего дня шли наши и вдруг видят: сидит он и молоко пьет. Они побежали за ним, а он побежал и в творог залез.

— В какой творог? — удивился Брошкин.

— А у нас на четвертом дворе триста тонн творога лежит. Так он в нем до сих пор и лазает.

— Так, — сказал Брошкин.

Тут подъехала машина, и из нее вышли подполковник Майоров и шесть лейтенантов. Брошкин подошел к подполковнику и четко доложил обстановку.

— Надо брать, — сказал Майоров.

— Как брать, — закричал директор, — а творог?

— Творог вывозить, — сказал Майоров.

— Так ведь тары нет, — сокрушенно сказал директор.

— Тогда будем ждать, — сказал Брошкин, — проголодается — вылезет.

— Он не проголодается, — сказал Майоров. — Он, наверное, творог ест.

— Тогда будем ждать, пока весь съест, — сказал нетерпеливый Брошкин.

— Это будет очень долго, — сказал директор.

— Мы тоже будем есть творог, — улыбаясь, сказал Майоров.

Он построил своих людей и повел их на четвертый двор; там они растянулись шеренгой у творожной горы и стали есть. Вдруг увидели, что к ним идет огромная толпа.

— Мы к вам, — сказал самый первый, — в помощь. Сейчас у нас обед, вот мы и пришли...

— Спасибо, — сказал Майоров, и его строгие глаза потеплели.

Дело пошло быстрее. Творожная гора уменьшалась. Когда осталось килограмм двадцать, из творога выскочил человек. Он быстро сбил шестерых лейтенантов. Потом побежал через двор, ловко увернувшись от наручников, которые лежали на крышке люка. Брошкин побежал за ним. Никто не стрелял. Все боялись попасть в Брошкина. Брошкин не стрелял, боясь попасть в шпиона. Стрелял один шпион. Вот он скрылся в третьем дворе. Брошкин скрылся там же. Через минуту он вышел назад.

— Плохо дело, — сказал Брошкин, — теперь он в масло залез.

Вход свободный

Будит меня жена среди ночи, кричит:

— Все! Проспала из-за тебя самолет! Беги за такси, быстро!

Вспомнил: она же мне вчера говорила — экскурсия у них от предприятия на массив Гиндукуш!

Накинул халат, понесся. Привожу такси, взбегаю — дверь захлопнута, жены уже нет.

— Понимаешь, — таксисту говорю, — дверь моя, видишь ли, захлопнулась, так что дать я тебе ничего не могу. Вот — в кармане только оказалось расписание пригородных поездов за прошлый год.

— Что ж, — говорит. — Давай.

Положил расписание в карман, уехал. А я дверь свою подергал — не открывается, крепко заскочила. Пошел я через улицу в пожарное депо, знакомого брандмейстера разбудил.

— Да нет, — он говорит, — никак нельзя! Нам за безогонный выезд знаешь что будет? У меня к тебе другое предложение есть: поступай лучше к нам в пожарные! Обмундирование дается, багор! Пожарный спит — служба идет!

— Вообще, заманчиво, — говорю. — Подумаю.

Пошел обратно во двор, бельевую веревку снял.

Поднимаюсь, звоню верхнему соседу.

— Здравствуйте! — говорю. — Хочу спуститься из вашего окна.

— А зачем? — он говорит. Я рассказал.

— Нет, — говорит, — не могу этого позволить, потому как веревка не выдержит, которая, кстати, моя.

Вырвал веревку, дверь закрыл. Спустился я тогда вниз, к монтеру.

— Сделаем, — говорит. — В мягкой манере!

Собрал инструмент, пошли. Долго так возился мелкими щипчиками. Потом схватил кувалду — как ахнет! Дверь — вдребезги!

— Вот так, — говорит. — В мягкой манере! А что двери нет — ерунда! Одеяло пока повесь!

Ночью я, понятно, не спал. Тревожно. Такое впечатление, вообще, будто на площадку кровать выставил.

Вздремнул только, слышу — скрип! Вижу — вошел какой-то тип, с узлом.

— Так... — меня увидел. — А нельзя?

— Почему же нельзя? — говорю. — Можно. Двери-то нет, сам же видишь!

Разговорились. Толик Керосинщиков его зовут... Ехал к брату своему за пять тысяч километров — и в первый же вечер получил от него в глаз.

— ...Но и он тоже словил! Усек? — Толик говорит.

Ясно, обидно действительно, — ехать пять тысяч километров исключительно для того, чтобы получить в глаз.

Говорит:

— Здорово мне у тебя нравится... Отдохну?

— Давай.

Прилег он на диван, ботиночки — бух! Накрыл я его картой полушарий для тепла.

Соседка входит из сто одиннадцатой.

— Сосед, — говорит. — Я у жены твоей, помнится, тазик брала, нельзя ли еще и сковородку взять?

— Да что там сковородка, — говорю, — садись! Сковородку бери, что там еще? Может, еще чего-нибудь тебе надо?

Потом увидел через отсутствующую дверь: влюбленные стоят на площадке, мерзнут.

— Входите! — говорю. — Чего мерзнуть?

— Ой, а можно? — говорят. — Спасибо!

Отвел я их во вторую комнату, оставил — только они там почему-то сразу принялись в домино играть... Бац! Я даже вздрогнул. Пауза, тишина. Снова — бац!

Ну, это уж не мое дело, пусть чем хотят, тем и занимаются. Пригласить к себе, а потом еще действия диктовать... Зачем?

На лестнице тяжелые шаги раздались. Входит водолаз. За ним резиновый шланг тянется, мокрый.

— Все! — глухо говорит. — Моторюга не метет! Обрежь кишку, быстро!

Обрезал кишку — перепилил тупым столовым ножом.

Водолаз воздух вдохнул:

— Ху-ху! Ну, выручил ты меня, браток!

Потом еще — монтер снова зашел.

— Ну, как без двери? — говорит. — Привыкаешь?

— Да-а!

— Вообще, — говорит, — жизнь вроде поживее пошла после того, как я дверь у тебя выбил.

Тут является родственник. Кока. Кока Коля. Говорит:

— Ну, как ты живешь?

— Ну, как?

— Даже двери у тебя нет.

— Двери нет, действительно.

— То-то вещей у тебя никаких нет.

— Вещей действительно нет.

— Откажись, — Кока говорит.

— От чего?

— Сам, — говорит, — понимаешь.

— Ей-богу, — говорю, — не понимаю.

— Ну, смотри!

И тут же врывается другая соседка, Марья Горячкина, и начинает кричать, что ее муж, Иван Горячкин, в моей бездверной квартире пропал.

— Давайте мне мужа моего! Не уйду, пока мужа не отдадите!

На водолаза почему-то взъелась:

— Отъел рожу-то!

Плюнула ему прямо на стекло.

Ушла.

Кока говорит:

— Ну, видишь?

— Что вижу-то?

— Послушай меня, — Кока Коля говорит. — Видел я тут объявление на улице: дверь продается, с обсадой и арматурой. Купим, поставим.

— Да нет, — говорю. — Неохота чего-то.

— Эх, — Кока говорит. — Какой-то ты безвольный!

— Я не безвольный! — говорю. — Я вольный!

— А что это за типы у тебя?

— Это, — говорю, — люди. Мои друзья.

Толик Керосинщиков тут зарыдал. Водолаз ко мне подошел, по плечу ударил железной рукой.

— Вот это по-нашему, по-водолазному! — говорит.

— ...Ну и чего ты добился? — Кока говорит.

И тут — появляется в дверном проеме фигура и начинает полыхать синим огнем!

— Марсианец, что ли, будешь? — говорю.

— Ага.

— Ну как, вообще, делишки? — спрашиваю.

Стал с ходу жаловаться, что холодно ему на Земле. Кока говорит ему:

— Вот вы — марсианец. Неужели для дела такого, как межпланетный контакт, не могли жильца другого найти — солидного, нормального!

— Значит, не могли! — грубо марсианец ему говорит.

Кока спрашивает:

— Простите, почему?

— До звонка не достаю — вот почему! Удовлетворяет вас такой ответ? Если бы тут открыто не оказалось, вообще мог бы на лестнице заледенеть!

Сидим в свете марсианца, беседуем, вдруг появляется жена (не понравилось ей, видно, на Гиндукуше!).

— Та-ак... — говорит. — А это еще кто?

— Марсианец, — говорю. — Не видишь, что ли?

— Знаю, — как закричит, — я твоих марсианцев!

— Да ты что, — говорю. — Опомнись!

— Не опомнюсь, — говорит. — Принципиально! А где дверь?

— Какая дверь?

— Наша!

— А-а-а... Разлетелась.

— С помощью чего?

— С помощью монтера.

— Ну, все! — жена говорит.

Ушла из дому, навсегда. Взяла с собой почему-то только утюг.

Толик говорит:

— Ну, ничего!

— Конечно, — говорю. — Ничего!

Скоро утро настало. Солнце поднялось. Крупинки под обоями длинные тени дают.

Зарядка по радио началась: "Раз-два, раз-два... Только не нагибайтесь!.. Умоляю вас — только не нагибайтесь!".

— Спокойно! — говорю. — Никто и не нагибается.

Выскочил я — теще позвонить, то есть жене. Обратно через улицу бегу, вижу: солнце светит наискосок с дома. Продавец в овощном магазине на гармони играет.

Тут от полного восторга пнул я ногой камешек, перелетел он через дорогу, щелкнул о гранитный парапет тротуара, отскочил, оставив белую точку.

Скоро жена вернулась. Стала демонстративно блины жарить, а я стал демонстративно их есть.

...День сравнительно спокойно прошел. Только вечером уже, на красном закате, вошел вдруг в комнату караван верблюдов. Шел, брякая, постепенно уменьшаясь, и в углу комнаты — исчез.

Фаныч

Однажды на остановке метро ждал я одну колоссальную девушку! Вдруг вместо нее подходит старичок в длинном брезентовом плаще, в малахае, надетом задом наперед.

— Такой-то будешь сам по себе?

— Ну, такой-то, — говорю, — вы-то тут при чем?

— Такую-то ждешь?

— Ну, такую-то. Вы-то откуда все знаете?

— Так вот, — говорит, — просила, значит, передать, что не может сегодня прийти. Я, выходит что, вместо нее.

Я умолк, потрясенный. Не мог я согласиться с такой подменой.

— Так вы что, — спросил наконец я, — прямо так и согласились?

— Еще чего, так! Три рубля...

— Ну, — сказал я, — так куда?

Он долго молчал. Потом я не раз замечал эту его манеру — отвечать лишь после долгого хмурого молчания.

В тот вечер, как и было задумано, шло выступление по полной программе: филармония, ресторан, такси.

Все это было явно ему не по душе. На каком-то пустыре поздней ночью он наконец вышел, хлопнув дверцей.

"Да, — думал я, — неплохо провел вечерок!.. Такая, значит, теперь у меня жизнь?"

И действительно, жизнь пошла нелегкая... Казалось бы, все обошлось, случайный этот знакомый исчез. Но почему-то тяжесть и беспокойство, вызванные его появлением, не исчезли. И вдруг я понял, что они вошли в мою жизнь навсегда.

А ведь и все — и усталость, и старость, и смерть — приходит не само по себе, а через конкретных, специальных людей.

И Фаныч (так его звали) стал появляться в моей жизни все чаще, хотя, на первый взгляд, у нас не было с ним ничего общего.

В один предпраздничный бестолковый день — полуработы-полугульбы, а в результате ни того, ни другого, я оказался дома раньше, чем обычно. Странное, под непривычным углом солнце в комнате (редко я бывал дома в это время) вызывало у меня и какое-то странное состояние. На это освещение комнаты не было у меня готовых реакций, запланированных действий, и я так и сидел, как не свой, в каком-то неопределенном ожидании. Потом раздался звонок и вошел мой сосед, начальник сектора с нашей работы, Аникин, — человек неряшливый, потный, тяжелый во всех отношениях... Рубашка отстала от его шеи, и на воротнике изнутри были выпуклые, извилистые, грязноватые змейки. Я думаю, Аникин и не подозревал, что где-то существуют чистые прохладные мраморные залы, переливающиеся хрустальные люстры, подобное ветерку пение арф.

Мир Аникина был другой — тесные забегаловки, где, не замечая, в папиросном дыму, роняют серый пепел на желтоватые нечищеные ботинки, земляные дворы с деревянными столиками для игры в козла. И все это уже чувствовалось в нем, все это он как бы носил с собой.

И тем не менее, я стал вдруг замечать, что провожу с ним три четверти своего времени. Сначала я утешал себя, что все ж таки связан с ним производством, и что двери наших квартир упираются боками, и надо же с соседом соблюдать хотя бы видимость приличий. И все свое времяпрепровождение с ним я считал необязательным, случайным, своими же настоящими друзьями считал других — умных, прекрасных, четких ребят, список которых при случае я всегда мог себе предъявить. Тем не менее, все свое время я проводил почему-то с Аникиным. То я придумывал, что лучшие друзья, как лучший костюм, должны извлекаться в особых, радостных случаях, то еще что-нибудь. А честно — вдруг понял я, — мне уже действительно было лень надевать лучший костюм и ехать к блестящим друзьям, и быть там непременно в блестящей, пусть трагической, но блестящей форме. Когда проще вот так вот расслабленно сидеть дома. А тут, смотришь, зайдет Аникин...

И конечно же, с Аникиным вошел и Фаныч, оказавшийся лучшим его другом. Фаныч даже не разделся и, понятно, не поздоровался, только поглубже натянул свой треух. Чувствовалось, что он меня не одобряет. Но почему — неясно.

Аникин сполз со стула, почти стек. И напряженное, неприятное молчание... Именно так, по их мнению, надо проводить свободные вечера.

Я сидел в каком-то оцепенении, не понимая, что со мной, зачем здесь находятся эти люди, но порвать оцепенение, сделать какое-нибудь резкое движение почему-то не было ни сил, ни желания. Иногда я, встрепенувшись, открывал глаза... За столом все так же сидели Фаныч и Аникин, молча. Наконец, так сидя, я и заснул.

Когда я вышел из забытья, было хмурое ватное утро. Аникин и Фаныч спали на моей кровати... Бессмысленность происходящего убивала меня. Я пошел на кухню попить воды из чайника, и вдобавок ко всему на кухне еще обнаружился совершенно незнакомый маленький человек, который быстро ел творог из бумажки и при моем появлении испуганно вздрогнул.

"Это еще кто?" — устало подумал я.

И решив встрепенуться, начать с этого дня новую жизнь, долго мылся под ледяным душем: крякал, фыркал, визжал — всячески искусственно себя взвинчивал. Душ шуршал, стучал по синтетической занавеске.

"Что такое, — думал я, — почему это в последнее время я хожу, говорю, общаюсь исключительно с непонятными, пыльными, тягостными людьми? А потому, — вдруг понял я, — что я и сам уже стал такой наполовину, больше чем наполовину — на девяносто девять и девять десятых процента!"

Я выскочил из душа как ошпаренный.

Что случилось со мной? Боже мой! Отчего я так сломался, размяк?..

Надо быстрее встряхнуться... Пойти по случаю праздника в мой любимый ресторан.

Когда я поднялся из холодного метро, я увидел, что день разгулялся, солнце осветило верхнюю половину розовой башни Думы. Я долго не мог перейти улицу — ехал длинный стеклянный интуристовский автобус, и все, что я мог сделать, это в нем отражаться.

Потом я шел по узкой улочке в подвижной тонкой тени деревьев. Навстречу все чаще попадались группы иностранцев, "фирмы", как у нас говорят... Вот отдельно идут два скромно одетых "люкса": он — белые волосы, розовый затылок, она — сухонькая, в незаметном платье: узнаю присущее лишь божественному Диору умение так сшить дорогую вещь, словно она стоит один рубль!

Я подошел к крутящимся дверям и вдруг зачем-то вспомнил, что ресторан этот, лучший в городе, принадлежит "Интуристу", и местным сюда трудно попасть. Другое дело, что раньше я никогда не думал об этом — мне и мысль такая не приходила, что в моем городе меня могут куда-то не пустить. Но сейчас эта мысль пришла, и швейцар, сразу же сориентировавшись по моей неуверенности (а только по ней они и ориентируются), протянул руку, отделив меня от входящей толпы.

И теперь, вдруг понял я, мне уже никогда сюда не войти. Слезы, угрозы, проклятия — все это теперь только хуже!

И тут, дурачась, галдя, бросаясь спиной вперед, изображая при этом преувеличенный испуг, стали выкручиваться из стеклянных дверей итальянцы с желтыми в темных подтеках лака балалайками или с тонкими красно-синими пакетами "Берьозка шоп" с наборами, что продают теперь за валюту: меховая шапка, бутылка водки и коробок спичек.

Толкаясь, крича, хохоча, лезли они в длинный автобус...

А тут я еще встретил Аню, переводчицу, "переводчицу денег", как я про себя ее называл, ту самую девушку, что прислала вместо себя Фаныча в мою жизнь.

И на этом, надо сказать, совершенно успокоилась!

— Что делать? — только сказала она. — Тут у меня группа штатников по обменному туризму — удешевленники. Смета у них маленькая, а программу хочется составить поинтересней.

Она повернулась ко мне, но меня уже бил дикий смех.

— Удешевленники! — кричал я. — Колоссально! Надо бы не забыть!.. В баню их, по пятнадцать копеек!

— Между прочим, — сказала она, — когда ты смеешься, лицо у тебя делается совершенно идиотское!

— Ничего, — сказал я. — С лица не воду пить!

— А никто и не собирается с твоего лица ее пить! — злорадно сказала она.

И так, уже по инерции, мы шли с ней рядом, вошли в какую-то столовую самообслуживания. Я взял два рассольника, два бифштекса с гречкой, с гречневой сечкой... И тут же, конечно, ввалились Аникин с Фанычем. Аникин заорал, стал меня обнимать, раздавив в моем кармане спички... Мы с Аней молча доели все и ушли.

— Ну у тебя и друзья! — на выходе сказала она.

— Да?! — сказал я. — А я думал, Фаныч — это твой друг.

— Да нет, — после паузы сказала она, — такими друзьями я еще не обзавелась.

Мы долго шлялись по переулкам, потом присели на скамейку в неуютном земляном садике, у глухого, уходящего в небо красного кирпичного брандмауэра, и тут же стукнуло единственное в нем окошко — маленькое, с бензиновым отливом, у самой земли, и в нем показался Фаныч с блюдечком в руке. Он дул на чай, гонял по чаю ямку, задумчиво тараща глаза.

Подавленная такими случайностями, более того, решив, что это идиотские мои шутки, Аня, не прощаясь, ушла.

"А между тем, — подумал я, — это и есть теперь моя жизнь. А случайностями все это может показаться только очень со стороны".

— Ну что? — вдруг недовольно сказал Фаныч. — Брось-ка ты, знаешь... Тут нормальные, душевные парни тебя ждут, а ты... Хватит корчить из себя неизвестно что!

"И действительно, — в отчаянии подумал я, — хватит корчить из себя неизвестно что!"

— Ладно, — сказал я, — только скажите, как к вам пройти!

"И ладно, — думал я, — и пускай!"

На бегу я показал кому-то язык, высунул его больно, далеко — так что даже увидел его, вернее, белый блеск от мокрого языка, поднимающийся над ним и имеющий его форму.

...Раньше, приехав на юг, я сразу же бросался в море, ничто другое меня не занимало. Потом, поднявшись на набережную, с кожей, горящей от соленой воды и мохнатого полотенца, я сразу же встречал каких-нибудь своих друзей, мы шли под полотняный полощущийся навес... И только уже поздней теплой ночью я где-нибудь засыпал. Утром вставал и сразу же бросался в море, и снова начиналась эта ласковая теплая карусель, когда можешь пойти сюда, можешь пойти туда, можешь сделать это, а можешь этого и не делать, и знаешь — все равно будет все хорошо. Иногда целыми днями я сидел в теплой пыли у бочки с сухим вином, и все подходили какие-то прекрасные, давно знакомые люди, садились рядом...

Это было счастье, как я теперь понимаю.

Теперь же, только сойдя с автобуса, с двумя чемоданами, оттягивающими руки, я поплелся на квартирную биржу... Все хозяйки там хотели чего-то невозможного — например, супружескую пару, чтобы он непременно был брюнет, она — хрупкая блондинка или наоборот... Я только подивился изощренности их вкусов. Я же никому из них не пришелся по душе. Я стал искать помещение сам, надеясь все-таки на какую-нибудь вне-

запно вспыхнувшую симпатию, хотя навряд ли... Никогда еще, тем более с чемоданами, я не забирался в гору так высоко. Я заглядывал за все заборы, иногда, наоборот, видел вдруг зеленый заросший темный дворик у себя под ногами, далеко внизу, и, свесившись, кричал туда... Но везде неизменно получал отказ. Измученный, с саднящей от соленого пота кожей, с сухим пыльным горлом, я наконец сумел втиснуться в один дом, в узкую щель, оставленную дверью на цепочке...

— Ну ладно уж... — недовольно сказала хозяйка. В квартире было прохладно, ее насквозь продувал сквозняк, поднимая занавески.

— Только уж сразу договоримся, — сказала она, — чтобы не было потом недоразумений.

Я был согласен. Я уже где-то привык к такому обращению, хотя и не совсем понятно — где...

— Рубль за койку и три шестьдесят за прописку.

— Как? — удивился я.

— Ну да, — быстро заговорила она, — рубль за прописку с приезжих и два шестьдесят с хозяев. Ну, мы с мужем рассудили — какой же смысл нам свои еще деньги платить? Логично?

— Что ж, логично, — подумав, сказал я.

Потом она раз сто вбегала в мою комнату, пока я лежал на холодной простыне.

— Только, пожалуйста, наденьте костюм, — мой муж не любит, когда так... Только не свистите, пожалуйста, — скоро придет муж, он этого не любит...

Что же вообще он любит?

Потом я заснул и проснулся в темноте. И услышал на кухне до боли знакомый голос. Я вышел. За столом сидел Фаныч. Он недовольно посмотрел на меня... Так получалось, что мы вроде незнакомы.

...Как потом я узнал, с женой он разъехался довольно давно и вот вдруг решил ее навестить, помириться, может быть. То-то она и суетилась, всячески ему угождая.

— Извините, ради Бога, — поздней ночью, улыбаясь, вбежала хозяйка, — не возражаете, если в вашей комнате вот аквариум с окунем постоит? Мой муж, знаете, этого не любит...

И вот все спят. И окунь спит у себя в аквариуме. Но храпит — дико!

А потом, когда я вернулся из туалета и зажег испуганно свет, на своей постели я увидел огромного жука — развалился, высунув свои полупроз-

рачные мутные крылышки, которые почему-то не влезали под твердый панцирь!.. Видно, решил, что я такой уж друг животных!

Утром я пошел к хозяевам, чтобы выразить свое недовольство. Но их уже не было. Она, как я узнал, работала в пункте питания. А Фаныч, как обычно, в ушанке с утра уже бродил по поселку, неодобрительно на всех поглядывая. На первый взгляд он казался сторожем... Но сторожем чего?

Часам к двум все как раз набивались в этот пункт питания. Кафе "Душное"... Кафе "Душное". Вино "Липкое"... Что сразу же привело меня в бешенство — как искусственно и любовно там поддерживается медленная, огромная и, главное, всегда покорная очередь! Вместо двух раздач всегда работала только одна, хотя девушек в белых куртках вполне хватало.

— Ишь чего захотел, — сказал мне оказавшийся тут же Фаныч (после двух до самого закрытия он хмуро сидел тут), — чтобы очереди еще ему не было!

— Да, — закричал я, — захотел! Захотел, представьте себе! А порции! — сказал я. — Что у вас за разблюдовка?

(Увы, я уже усвоил этот язык...)

— А чего ж такого, интересно, ты хочешь? — спросил Фаныч.

— Боже мой! — закричал я. — Всем нам осталось жить, ну, максимум тридцать, сорок лет, неужели уж не имеем мы права хотя бы вкусно поесть?!

— Ну что, что?!

— Может быть, омар? — неуверенно сказал я. Очередь злорадно заржала.

— Омар... — недовольно бормотал Фаныч. — Комар!

И тут еще, как назло, прилетела стая воробьев — стали клевать мое второе, переступая, позвякивая неровной металлической посудиной, чирикая: "Прекрасное блюдо! Как, интересно, оно называется? Замечательное все же это кафе!".

— Вот, — сказал Фаныч, — пожалуйста, ребята довольны! Только таким вот, как вы, все не по нутру!..

Раньше, еще год назад, я бы и не задумался над этим, просто не обратил бы внимания, но сейчас мои мысли были заняты этим целиком. По утрам, когда все бежали на пляж, я надевал душную черную тройку, брал портфель и шел хлопотать по различным присутственным местам.

— Я таки найду управу! — злобно бормотал я...

Прошло уже две недели, а юга я так практически и не видел. Калькуляция, разблюдовка — вот что теперь меня увлекало. Только однажды, между двумя аудиенциями, заскочил я на базар, купил грушу с осой... И только однажды, свернув на секунду с пути, в костюме и с портфелем в руках, деловито прыгнул в море с высокой скалы, с которой все боялись прыгать, ушел глубоко в зеленую воду, вытянув за собой в воде длинный мешок кипящих белых пузырьков, похожий на парашют.

На юге перед всеми стоит вопрос — что делать по вечерам, когда садится солнце? Там, где я был прошлый год, все искали закурить (или прикурить). Сколько километров тогда я прошел, не спеша, по темной забитой людьми набережной в поисках своих любимых "Удушливых"!

Тут была другая проблема.

Здесь все искали трехкопеечные монеты для автоматов с газированной водой. Автоматы, светясь своими цветными картинками, стояли вдоль темной набережной, и даже стаканы были, стояли наверху, можно было их достать, но ни у кого не было трехкопеечных монет. А те редкие, что откуда-то появлялись, вскоре проваливались в щели, потом раздавалось шипение, и в стакан сначала брызгал желтый сироп, а потом лилась ледяная с пузырьками вода. Но такое случалось все реже.

Было душно, дул горячий пыльный ветер. В темноте все стояли вдоль шершавого, нагретого за день парапета.

Однажды с огромным трудом я достал трехкопеечную монету, дополз, донес ее девушке, которая мне там нравилась... Она схватила ее, поднесла к глазу, сказала сиплым пыльным голосом:

— Кривая... не влезет...

Поздним вечером на набережной появлялся Фаныч. Шаркая сандалетами, он хмуро шел по набережной с мешком трехкопеечных монет за спиной. Он-то как раз и был сборщиком денег с автоматов, был устроен на тот пост своей женой.

Когда он появлялся, все сразу же устремлялись за ним, протягивая деньги, умоляя разменять по три копейки.

— Нечего! Еще чего! — хмуро отвечал Фаныч.

И уходил с мешком...

Задушив всех жаждой, он, что интересно, искренне считал, будто делает важное дело, причем делает правильно, как положено, не то что некоторые другие!

И спорить с ним было бесполезно.

Ох уж эти наполеоны-гардеробщики, кладовщики! Чем мельче их власть, тем они недоступней. Помню, как Фаныч или похожий на него в гардеробе Публички, ничего не объясняя, пять лет подряд отказывался принимать мое пальто. И так, пять зим подряд, перебегал я Фонтанку без пальто по снегу!

И вот наконец я решился. Ночью с одним моим приятелем мы пробрались в комнату Фаныча, вытащили из-под кровати его мешок (положив, правда, на его место три червонца)...

С мешком мы выскочили на набережную.

— Сейчас по стаканчику! — закричал мой друг.

— По пять стаканов! — сказал я.

— Удобно? — сказал на это мой деликатный друг.

Медленно, глотками, я выпил воды из граненого стакана, почему-то пахнущего водкой. И еще стакан, и еще. На звон посуды стали собираться люди...

— Может, теперь с другим сиропом? — сказал я, уже бесчинствуя...

И только после этого я впервые за месяц искупался. Темно, ничего не видно. Только тихое неясное море цвета дыма.

Ночью ко мне на балкон прилетел мокрый купальник, сорванный ветром с какой-то далекой веревки, тяжело лег на лицо. Во сне я обнимал его, гладил, что-то горячо говорил...

С какой радостью я летел наконец в город!

Прямо с аэродрома поехал я на работу, вбежал...

В нашей комнате почему-то никого не было, только мой любимый лаборант Миша разговаривал по телефону. Разговор, видно, был важный — Миша не смог его прервать и только ласковым изменением тона на секунду поздоровался со мной.

Однажды к нам в комнату вбежала лаборантка и сказала, что кладовщик не хочет отпускать ей слюду. Я встал, спустился вниз. За деревянным некрашеным столом в неизменном своем треухе сидел хмурый Фаныч.

— Ну что? — сказал я. — Надо бы слюду отпустить.

Чувствовалось, ему вообще не хотелось отвечать, настолько глупым казалось мое требование. Минут через десять раздалось какое-то сипение, и наконец я услышал:

— Слюду! Чего захотел!.. А ты ее заприходовал, слюду? Через бухгалтерию ее провел?

Почему это я должен проводить ее через бухгалтерию? Так тяжело, трудно проходили с ним все дела... И, как ни странно, почему-то многие уважали и боялись его. Так, молча и хмуро, он захватывал постепенно все большую власть. Любой проект согласовывали, в первую очередь, с ним, а то он мог упереться, и ничего нельзя было сделать.

Бояться он действительно никого не боялся. Понизить его было некуда. Занимая самую низкую должность, он всячески упивался этим, сладострастно растравлял свою душу.

И, ежедневно общаясь с ним, я вдруг неожиданно заметил за собой, что стал все делать в полтора раза медленнее, чем раньше, и отвечать на вопросы только после долгого хмурого молчания.

И тут я испугался. Я побежал в лабораторию, заложил уйму опытов, сделал бешеную карьеру и наконец стал директором института. И первым моим приказом был приказ об увольнении Фаныча. Какое облегчение я почувствовал после этого!

Соскочил все-таки с этой телеги, что везла меня к усталости, к тяжести, к смерти!..

На радостях я позвонил одному своему старому другу, позвал его в баню попариться, размять кости, сбросить с себя накопившуюся пыль!

Сладострастно предвкушая, как будет в пару ломить тело, мы прошли через двор, усыпанный кирпичом и стеклом, прошли по мосткам, установленным над свежевырытой канавой, и вошли в темноватое помещение бани. Тускло светилась только касса в самом углу. Там среди мочалок, штабелей мыла и почему-то уже мокрых распушенных веников сидел Фаныч, похожий сразу на лешего, водяного и домового.

— Пиво есть в классе? — спросили мы у него.

— Нет пива, нет! — с удовольствием сказал он. Помню, и когда он работал у нас, главным его удовольствием было — отказывать.

— Придется в другой класс, по пятнадцать копеек. Мы снова шли через дворы, поворачивая, потом вошли в класс по пятнадцать копеек, и там, тоже в углу, была касса, и в ней тоже сидел Фаныч! Сначала я растерялся, был готов дать этому какое-то чуть ли не символическое объяснение...

— Есть пиво? — спросил мой друг.

— Есть... — неохотно сказал Фаныч.

И тут я понял, в чем дело: просто стена, разделяющая баню на классы, упирается в эту кассу, выходящую сразу на две стороны. И с одной стороны Фаныч продает билеты по восемнадцать, а с другой — за пятнадцать. Одной половиной лица говорит: "Есть пиво", — а другой: "Нет".

Стекло кассы вдруг задрожало от какого-то приблизившегося мотора, потом дверь распахнулась, и в темное пространство перед кассой вошла Аня. Я не видел ее с тех пор... Только я хотел вступить с ней в беседу, как в дверь толпами стали входить иностранцы.

— О! — гомонили они не по-нашему. — Оригинально! Русский дух! Колоссаль!

Но Фаныч, однако, быстро развеял их чрезмерное оживление, заставив выстроиться всех в очередь, бросая каждому в отдельности тонкий, завивающийся вверх билетик.

Санкт-Петербург



Вячеслав ПЬЕЦУХ

Эволюция продолжается

Нобелевская речь

Ваши Королевские Величества, достопочтенные члены Шведской академии, дамы и господа!

Понятное дело, что мне, заурядному русскому писателю из простых, каких у нас в России водится столько же, сколько у вас пожарных, Нобелевской премии не видать как своих ушей. Но воздать должное сей славной награде, которой издавна отмечаются высшие достижения духа человеческого, хочется позарез.

Обидно, господа! Больше ста лет существует это самое престижное и непомерно щедрое воздаяние за круглосуточные бдения, головокружительные открытия в области прекрасного, за мужество, выказанное под пытками синтаксисом и токами воображения, за нерушимую верность гуманистическим идеалам, а Россия все сидит при своих пяти Нобелевских премиях, которыми в разное время были удостоены один прямой гений, два "безродных космополита", большевистский угодник и протестант. И главное, за какие такие заслуги перед Богом и людьми? Кто-то (по слухам, на пару с таинственным соавтором) написал сказание о загадочных казаках и, видимо, взял господ академиков экзотикой и сепаратистскими настроениями, другой сочинил лихорадочную сагу невесть из какого быта, да еще исполненную не по-русски, а как будто на эсперанто, третий по преимуществу тем покорил читающий мир, что лютой ненавистью ненавидел большевиков.

Куда смотрит Шведская академия? Ведь за сто с лишним лет, что эта почтенная организация орудует на ниве изящной словесности, Россия явила миру целый сонм гениев, который образуют самые искрометные имена. Один Чехов способен затмить любую национальную литературу, а между тем при жизни у него не вышло ни одной книжки за рубежом, а Лев Толстой (ему отказали в Нобелевской премии буквально за то, что он не любил аллопатов и паровоз), а Горький с его всемирной известностью, даром что местами он все-таки слабоват, а Бабель с его бессмертной "Конармией", а Зощенко, Платонов, Пришвин, Ахматова с Цветаевой... ну и так далее, заключая Пильняком-Вогау, Колбасьевым и Добычиным, о которых на Западе никто даже и не слыхал.

Спрашивается: в чем дело? А дело, сдается, в том, что просто-напросто нас не любят, а не любят оттого, что не понимают, а не понимают по той причине, что не хочется понимать, что мы им неинтересны, как аборигены острова Шикотан. Вот сценариста Хемингуэя они полюбили, потому что он писал о понятном: о том, как в Африке охотятся на антилоп, как ловят рыбу в Атлантическом океане, как весело жить в Париже и противно воевать в Италии, как это, в сущности, занятно, что если где-то зазвонит колокол, то обязательно по тебе. Все прочее, что хоть на йоту мудренее сей подростковой белиберды, как правило, остается за рамками понимания и, следовательно, внимания, и даже своему в доску Томасу Манну академики дали Нобелевскую премию не за великую "Смерть в Венеции", а за тягомотных "Будденброков", которых до конца дочитать нельзя. Какой уж тут Чехов со своей "Степью" или "Свирелью", когда, с точки зрения здравомыслящего шведа, по всем без исключения чеховским персонажам, от Каштанки до полкового доктора Чебутыкина, плачет навзрыд сумасшедший дом.

Спору нет: любить нас особенно не за что, тем более что в Европе давно миновались времена Джордано Бруно и Савонаролы, а у нас еще наберется немало любителей пострадать. Мы и вороваты, и плевать нам на правила дорожного движения, и взятки у нас не берут одни паралитики и дошколята, и уж если мы воюем, то до последнего патрона, и нет у нас такой моды — сдавать без боя антикварные города. Но возьмите в толк, господа хорошие: немец может озвереть по указанию свыше, шведы сидят по преимуществу на тефтелях, итальянцы не умеют играть в шахматы, с французами, кроме как о деньгах, не о чем говорить... Однако же романо-германский мир нам бесконечно интересен, ибо мы, русские, публика вообще заинтересованная, и даже бывали случаи, когда сочинения Оноре де Бальзака сначала выходили у нас по-русски, а уж после во Франции по-французски с запозданием месяца в полтора. А вот знал ли, нет ли автор "Человеческой комедии" о существовании русской литературы — это еще вопрос. Скорее всего, не знал. Кабы он имел представление о состоянии нашей изящной словесности, да хоть прочти он на досуге одних гоголевских "Старосветских помещиков", то, надо полагать, бросил бы с горя свое перо.

Такое небрежение тем более обидно, что после Сервантеса, который открыл художественную литературу, как открывают новые планеты, Запад отнюдь не подхватил новации великого испанца и еще лет триста, до самого Марселя Пруста, культивировал приложения к Большой Бри-

танской энциклопедии, исторический роман мальчикового замаха и вариации ископаемого "Сказания о Гильгамеше", приправленные германской рассудительностью над трупом поверженного врага. И только в России, стране снегов и заборов, традиция Сервантеса нашла достойное развитие у писателей и пристальное внимание у читателей, так что смело можно объявить: в течение двухсот лет, от Гоголя до реставрации клана Мамонтовых-Рябушинских, только в России и существовала литература в правильном смысле этого слова, как дело литургическое, как служение человеку через приобщение святых тайн.

Но обласканы Шведской академией отнюдь не мы, а преимущественно писатели романо-германского направления, более или менее достоверно повествующие о терзаниях бедной девушки, которую никто не берет замуж, перипетиях какой-нибудь предвыборной кампании, страстях репродуктивного возраста или про то, как ушлые люди делают деньги из ничего. Оттого-то среди нобелевских лауреатов частенько попадаются прямо загадочные фигуры, да вот хотя бы Хенрик Понтоппидан, или Владислав Реймот, или господин Фо; кто такие? почему такое? откуда повылазили? и вообще, кто из них написал "Муму"?

Между тем настоящая литература озабочена и печется об одной-единственной субстанции — о душе. По-другому и быть не может: она, то есть наша неприкаянная душа, потому представляет собой вечный объект изящной словесности, почему вечный объект анатомии — тело человеческое, а черной металлургии — чугун и сталь. Во всяком случае, вся русская литература от протопопа Аввакума до раскола Союза советских писателей бережно копалась в человеке, исследуя феномен его души. О чем написан лесковский "Очарованный странник"? Вовсе не о злоключениях кавалерийского *коннесера*, а впоследствии послушника, — о душе. О чем эпопея "Война и мир"? Отнюдь не о том, каким образом личность коррелирует с историческими процессами, — о душе. Оттого у нас в России прежде и читали-то, как жили, ибо нет ничего интереснее, трогательнее, заманчивее, чем полное знание о себе. Да еще приобщение святых тайн через литературу прежде внушало читателю благородное беспокойство, поскольку из книг выходило, что все не так просто, как записано в свидетельстве о рождении, и, может быть, существовать надо все-таки с оглядкой на вечное бытие. Да еще художественное слово высоко поднимало человека в его собственных глазах, так как, по здравому рассуждению, он неизбежно приходил к мысли о богоподобии своего бренного существа, несмотря даже на противную рожу и отвратительный антураж; ес-

ли чиновник 14-го класса, как Саваоф какой-нибудь, способен сотворить из ничего Татьяну Ларину, то и он, будучи чиновником 14-го класса, видимо, тоже некоторым образом Саваоф... Он еще потому придерживался этого убеждения, что верил в Татьяну Дмитриевну больше, чем в знакомую цветочницу, которая торгует тюльпанами за углом.

В общем, за двести лет неустанных трудов наши писатели возвысили свое ремесло до высот белой магии, колдовства и накопили такие перлы и диаманты по департаменту изящной словесности, что не освоить корпус великой русской литературы — значит жестоко обобрать самого себя.

Тем более удивительно, что господам распорядителям Нобелевской премии дела нет до наших сокровищ, и они выискивают по европейским закоулкам что-нибудь такое... не похожее ни на что. Как говорится, бог в помощь, мы себе так и так цену знаем, и нам никакие распорядители не указ. Однако желательно объявить: что-то неладно в Шведском королевстве, это, пожалуйста, имейте в виду, Ваши Королевские Величества, достопочтенные члены Шведской академии, дамы и господа.

Эволюция продолжается

"В этом мире почти никого нет, кроме идиотов и сумасшедших".
Шопенгауэр

Все несчастья от дураков. Сколько бы наши неисчислимые беды ни валили на объективные законы истории, сколько бы ни оправдывали невосполнимые потери и протори неблагоприятным стечением обстоятельств, как бы ни пытались объяснить неискоренимые предрассудки и заблуждения промыслом дьявола, — все несчастья от дураков.

Даром что человечество существует около двух миллионов лет и достигло фантастического прогресса в области науки и техники, додумалось до многих премудростей, исписало мегатонны бумаги, изощрилось в неземной музыке, все дурак представляет собой самый деятельный подвид человека и остается в подавляющем большинстве. Иной раз даже подумается, что на нашей несчастной планете действительно никого нет, кроме дураков, потому что умные люди навострились прятаться, и их не так-то легко найти.

Хотя дурак дураку рознь. Бывают остолопы от природы, по причине превратного обмена веществ, в силу романтических настроений, неполного начального образования, простой человеческой доверчивости и от не-

куда себя деть. Вообще, это очень широкое понятие, "остолоп": человек может запросто помножить четыре на четыре и свободно отличает черное от белого, но в то же время он готов вручить свою судьбу первому попавшемуся прохиндею из разговорчивых, бывает осмотрителен по понедельникам и рассеян по четвергам, и пуще смерти боится тринадцатого числа.

К тому же наивный род людской до того запутали разные глашатаи и рапсоды, что он почитает гениями таких злокачественных болванов, которым по-настоящему разумный человек руки бы не протянул. Вот француз носится со своим Наполеоном, как дурень с писаной торбой, а ведь, по здравому рассуждению, это был просто выдающийся авантюрист, и при этом неумен до такой степени, что вторгся в страну, которую физически невозможно было покорить, обрек на неминуемую погибель полмиллиона своих солдат, велел снять чугунный крест с Ивана Великого, полагая, что он из литого золота, сочинял в Москве предписания парижским театрам, в то время как его воинство тысячами гибло от голода, холода и в огне.

Немцы тоже хороши: 14 000 000 обыкновенных дураков выбрали главой государства необыкновенного дурака, и в результате Германия было перестала существовать.

О наших и говорить нечего; то они в три дня сметут тысячелетнее самодержавие и вручат власть незадавшимся адвокатам, которые и уездом не в состоянии управлять, то они отвоюют Россию у юнкеров в пользу большевиков, а те после устроят им кровавую баню и концентрационный лагерь от Бреста до Колымы, то грудью встанут на защиту демократической республики расхитителей и пройдох; они даже готовы бить в ладоши и прыгать от радости, если им с "высокой трибуны" пообещать бесплатную раздачу провизии и штанов.

И все почему-то истово веруют в лучшее будущее, в то, что грядущая пятница обязательно будет счастливее текущего четверга; то есть не "почему-то", а именно потому, что эти оптимисты суть неизлечимые остолопы, да еще малограмотные и с амбициями, какими некогда слыли наши сельские писаря.

Это правда: кое-какой прогресс налицо, если считать от царя Ирода, — государственных преступников уже публично не жарят на постном масле, вот и паровоз давеча изобрели, а где Платоны и Невтоны XXI-го столетия, предвосхищенные Ломоносовым? где булка за семь копеек? где городовые, которые взяток не берут? ученые барышни, живущие по заповеди "Умри, но не отдавай поцелуй без любви"? где подвижники, герои, бессребреники, книгочеи, рафинированные интеллигенты, которыми некогда

славилась наша Русь? В том-то, выходит, и весь прогресс, что Европу заполонили дикари с мобильными телефонами, при помощи которых только предохраняться нельзя, а все остальное можно, включая освоение навыков грабежа.

Напротив, история показывает: чем дальше, тем хуже, по крайней мере, так же скверно, только на новый лад. Прикажет долго жить император Марк Аврелий, мыслитель и гуманист, а престол унаследует его сын Коммод, изверг и законченный идиот. Людовик XVI Бьянэмэ, большой любитель слесарного дела, во все свое царствование ни одного человека не отправил на эшафот, а якобинцы, которые пришли ему на смену, безвинно казнили полторы тысячи человек и бессчетно священнослужителей утопили в Луаре, а Наполеоне Буанапарте сдуру угробил на полях чести чуть ли не половину мужского населения Франции всего лишь на тот предмет, чтобы Англии досадить.

Опять же возьмем Россию: когда-то были бублики за одну копейку медью, семь тысяч повешенных за государственные преступления во всю историю государственности, музыкальные утренники, домашние спектакли, московское произношение и за пять рублей ассигнациями общедоступные иностранные паспорта; потом, при так называемой рабоче-крестьянской власти, была хроническая бескормица, тридцатиградусная "рыковка", партячейки, допросы с пристрастием, которые еще государь Петр III запретил, выездные комиссии и несочтенные миллионы невинно убиенных по подвалам и лагерям; еще какие-нибудь двадцать лет тому назад в России не было нищих, старики ездили к морю отдыхать, а в верховьях Волги водилась стерлядь — нынче рыболовам в радость уклейки и пескари.

То есть решительно непонятно, на чем основан оптимизм наших оптимистов, в сущности, представляющий собой легкую форму идиотии, тем более что вожделенная демократическая республика, которая наследовала режиму большевиков, отобрала у кого работу, у кого настоящую пенсию, и у огромного большинства — месяц в Крыму, бесплатную медицину, ту же булку за семь копеек и любимую народную телепередачу про "огонек". Правда, теперь можно за порядочную мзду выехать хоть к черту на рога, и уже никого не казнят по подвалам за скользкие убеждения, но зато на улицах отстреливают зазевавшихся прохожих, политиканов и бандитов, принадлежащих к недружественным кругам.

Особенно сильно огорчают оптимисты из наших первых социал-демократов, которые жили и орудовали совсем недавно, какие-то сто лет тому назад, когда уже были взрослыми людьми наши прадеды и прабабки, обо-

жавшие Тургенева и слыхом не слыхавшие про "Критику Готской программы" и "Капитал". Еще знаменитый народник-максималист Петр Ткачев серьезно предлагал обезглавить всех подданных Российской империи старше 25 лет, чтобы в стране восторжествовали свобода, равенство и братство, и с тех пор наша социал-демократия все склонялась к экстравагантным методам существования и борьбы. Никто не работал, все носили клички, как уголовники, жили по подложным паспортам, не женились и не заводили детей, то и дело бегали за границу, грабили банки, отстреливали государственных чиновников — и все того ради, чтобы учредить идеальный миропорядок, основанный на свободе, равенстве и братстве плюс подневольный труд на государство и архаровцы из ЧеКа. Называлась эта конструкция "диктатурой пролетариата", и взрослые мужики с мужеподобными подельницами собирались соорудить ее в стране, где и пролетариата-то, считай, не было, а были 150 000 000 полудиких нищих крестьян, которые сохами кое-как ковыряли землю и объяснялись на испорченном языке.

На что рассчитывали эти инсургенты — понять нельзя. Разве что на чудо — и это чудо произошло; сверхъестественное было чисто русского производства — в феврале 1917 года петроградские бабы, возмущенные перебоями с хлебопоставками, упразднили самодержавие и, в конце концов, власть свалилась прямо в руки большевикам, которые распорядились ею на свой салтык.

Интересное дело: восемьдесят с лишним лет понадобилось для того, чтобы наши тугодумы укрепились в том мнении, что штука не в форме собственности на средства производства, а в дураке; он способен извратить самое благое начинание, и работать-то он по-настоящему не умеет, и пьет без меры, и расточитель, и вороват... Распорядители на Западе поживее будут: например, совсем не много времени потребовалось Уинстону Черчиллю, чтобы сообразить: "Добившись демократии, мы не имеем ничего, кроме войн"; и даже такой недальновидный злыдень, как Адольф Шикльгрубер-Гитлер уже в ноябре 41-го года признавался своим соратникам: "Напав на Россию, мы толкнули дверь, не зная, что за ней находится", — а так, в общем-то, что у них, что у нас распорядители не ведают, что творят, и разве задним умом крепки, как тот недалекий мужик, который не перекрестится, покуда не грянет гром.

Стало быть, все несчастья от дураков. Этот императив наводит на подозрение, что, видимо, род людской еще очень молод и, по человеческим меркам, ему сейчас примерно тринадцать лет. А что такое отрок в тринадцать лет? Это шалун, бездельник, неслух, немного садист, гулена,

но прежде всего дурак. Он не знает простых вещей, плаксив и вспыльчив, ни во что не ставит жизнь, испытывает безотчетную страсть ко всяческому разрушению и не преминет обидеть того, кто слабей его. Не таково ли человечество вообще, которое со времен руинизации Карфагена демонстрирует сказочное легкомыслие, ратоборствуя за "сена клок", насилуя мать-природу, изнывая от гибельного любопытства, сулящего непредсказуемые последствия, самосильно созидая Царствие Божие на земле? И ведь мало кто задумывается о том, какие монбланы культуры, сколько народов и этносов, соций и государств растворились через эти проделки в вечном небытии. Во всяком случае, поэзия уже ушла из человеческого обихода и, может быть, навсегда.

С другой стороны, принимая во внимание так называемые *задатки*, хотя бы вековечное стремление людей к вящему совершенству, которое обозначилось, например, в отважных, и даже отчаянно отважных социальных экспериментах и целых библиотеках по этике и эстетике, невольно приходишь к заключению, что дело далеко не кончено, и у homo sapiens еще многое впереди. Правда, дальнейшее становление человека как именно человека — это процесс путанный, криволинейный и, скажем, в ближайшем будущем народы скорее настрадаются от деволюции, то есть от кризиса культуры и гуманистических начал, составляющих самую нашу суть. Вот не так давно у нас в России сделали шаг назад, в направлении Адама и Евы, похерив социализм, вместо того чтобы сделать из него конфетку, но зато русские пройдут, наконец, школу капиталистических отношений, научатся работать, держать слово, считать копейку, спокойно относиться к чужому добру и "брать на грудь" не больше стакана в день. В свою очередь, Запад за это время, может быть, устанет от вечной гонки, от стремления к наживе во что бы то ни стало, потребительства как фетиша, распрей между хозяином и работником, демократических институтов, которые отнюдь не решают коренных вопросов жизни, и впадет, дай им бог, в меланхолию, предвестницу осмысленного взгляда на бытие. Даже благодушные и немного наивные американцы, которые считают Голливуд культурной столицей мира, может быть, расплюются с кинематографом и призадумаются, как бы им выкроить время Чехова почитать.

Не исключено, что на пути к вящему совершенству человечество ожидают еще и ужасные катастрофы, что лет этак через двести-триста грянет мировой энергетический кризис, электростанции остановятся, свет в городах потухнет, заводы замрут, и нужно будет снова печься о лошадях. Тогда компьютеры, навигаторы, мобильные телефоны и прочее железо

окажется на свалке, а в домах у землян явятся стеариновые свечи, дрова, пасьянс и музицирование по вечерам, возродятся позабытый эпистолярный жанр, путешествия *на перекладных*, практика сумерничанья, публичные лекции и все прочее, что некогда было так дорого просвещенному русаку. Но вообще это был бы такой удар по современному способу мышления, что человек невольно угомонился бы как "царь природы", первопроходец самоуничтожения и заметно пошатнулся бы в мнении о себе.

А затем что-нибудь еще экстраординарное произойдет, положим, какой-нибудь новый Менделеев откроет способ добывать энергию из атмосферы или как-то из-под земли, и мало-помалу наладится новый человек, который с испугу не так дорожит комфортом, как выживаемостью культурных традиций, гордится неосязаемым государством, отнюдь не манкирует гужевой тягой и почтовым сообщением, сначала озабочен продолжением рода людского и только потом учетной ставкой на капитал. Словом, как писал Чехов, "Ежели зайца бить, он спички может зажигать".

Дальнейшая эволюция человека, от нынешнего балбеса до более или менее культурного существа, может затронуть даже его физический облик, например, со временем возьмут да исчезнут остатки волосяного покрова, и наши красотки будут носить что-нибудь совсем чудное на головах. Или такой вопрос: зачем человеку будущего десять пальцев на руках, если за него все делают машины, а он только мозгами шевелит, ему и двух пальцев хватит, компьютером заниматься, или даже одного, в носу ковырять.

Но главное — человек неизбежно должен будет... не то что поумнеть, а как-то серьезно очеловечиться в ходе дальнейшей эволюции и в силу объективной необходимости, и потому что у него другого выхода нет — поступательное движение или смерть. Если люди по-прежнему будут делать ставку на "темную лошадку" научно-технического прогресса, потакать маниакально устроенным изобретателям и ученым, которые веками уводят нас в сторону от действительно насущных вопросов существования, если люди по-прежнему будут жить интересами задницы и желудка, вожделея, по примеру древних римлян, только "хлеба и зрелищ", то вырождение homo sapiens неизбежно, и он, как саблезубый тигр, рано или поздно исчезнет с лица земли. Недаром дело дошло уже до того, что на футбольных стадионах то и дело разгораются кровавые сражения, стариков походя режут за авоську с продуктами, а благодаря блестящим успехам педиатрии у нас каждый третий ребенок — олигофрен.

В том-то все и дело, что человек замыслен не как субъект прямоходящий и способный подвести газ к избе бабы Нади, а как высшая форма су-

ществования материи, обреченная воплотиться в максимуме возможностей естества. Газом бабу Надю обеспечить — это, конечно, надо, но станет ли она от этого добрее, человеколюбивей, или, как встарь, будет выплескивать помои соседу за забор и материть свою корову Зорьку за то, что она дает неполноценное молоко?

Между тем самые светлые умы прошлого, включая Гоголя и Чехова, издавна чаяли постепенного улучшения нашей породы, идущего в ногу с успехами науки и техники, хотя это и не обязательно, потому что гению ясно, как никому: если наш предок смог возвыситься от Каина до Паскаля, то человек есть совершенство, которому что-то мешает воплотиться в максимуме возможностей естества. Но что именно — вот вопрос: рудимент ли животного начала? каверзный ход истории? или дурь?

Видимо, все же дурь. Даже деревенский юродивый понимает, что обижать птичек нехорошо, а форменный дурак ничего не понимает: ни что футбол — это, прежде всего, развлечение для юнцов с дурными наклонностями, ни что растить хлеб в казахской степи будет себе дороже, ни что девятиграммовая пуля — совсем не последний аргумент, ни что Интернет — прибежище идиотов, ни что наша женщина — высшее существо.

Во всяком случае, у нас и поныне процветают спортсмены и пивоварение, а в загоне школа, семейные ценности, искусство и литература, то есть именно то, что напрямую способствует превращению человека по форме в человека по существу. Факт, как говорится, тот, что наш русачок, вопреки предсказанию Гоголя, так и не стал, и покуда не собирается становиться таким же, как Пушкин, феноменом таланта и красоты, а даже наоборот: нынешние по большей части злы, легкомысленны и не знают самых простых вещей.

Это не удивительно, поскольку каково общество, таковы и люди, "какие сани, такие и сами", и оттого мальчики и девочки, нынче гоняющие мяч в свое удовольствие, хоть теннисный, хоть какой, получают со всех сторон баснословные миллионы, а поэты и мыслители без малого рыскают по помойкам и чувствуют себя чужаками в родной стране.

А все почему? — все потому, что покуда безумие правит бал, что наша цивилизация временно ориентирована на подростка и дурака.

Москва

Асар ЭППЕЛЬ

Кладем петунии

Бухгалтер М. стянул нарукавники и сунул их в ящик стола. Остальное было убрано еще с вечера, а компьютер закодирован от сослуживцев паролем "дядя Константин Макарыч". Почему так — станет ясно из дальнейшего.

Бухгалтер М. уходил в отпуск, вознамерившись наконец навестить могилу незабвенного своего дяди, каковой, когда М. в детстве потерял родителей, утешал его в сиротстве, старательно воспитал и, будучи сам бездетным, привязался к мальчику, как к родному.

За свою жизнь дядя скопил довольно денег и, оставив значительную сумму племяннику, завещал похоронить себя по среднему разряду во Вселенной на одном из пользовавшихся солидной репутацией кладбищ. Усопшего доставили черным лакированным средством куда завещал, и он упокоился между толстоногой эстрадной певицей, а также человеком, который от прежних времен владел секретом изготовления краковской колбасы, на чем и нажился.

Посещение дядиной могилы, которое бухгалтер М., коря себя и угрызаясь, непростительно долго откладывал, возможно было осуществить тремя способами.

Виртуальным, когда вообще никто никуда не летит, а посещение переживают путем соответствующих имитаций, причем правдоподобие гарантируется даже в мелочах. Это многих устраивало и, будучи особым образом обработаны, они доподлинно переживали скорбную свою миссию, включая эффект внеземного погоста, после чего возвращались взволнованные и божились, что никакой неестественности не ощущали, что и полет, и посещение прошли как настоящие — разве что не получалось на дорогой могиле прослезиться: в этой части программа была еще не доработана, поскольку сделать ее в соответствующем *изощрении* (о словце этом в дальнейшем будет сказано) пока что у программистов не получалось.

Второй способ состоял в поездке на космическое кладбище *смоделированное*, каковое фирма дотошно воспроизводила в некоем из бесповоротно поруганных и потерянных для жизни уголков земного шара. *Псевдоподлетали* туда на соответственном космическом *псевдоаппарате*, причем фирмой гарантировалось ощущение невесомости, закладывание ушей, достижение скорости света и полная трансляция всего, что происходило, для остальных неполетевших родственников, дабы родня тоже поучаствовала в печальной поездке. Словом, все происходило и тут абсо-

лютно правдоподобно. Дорожное питание выдавалось в тюбиках, причем все было тоже продумано, и помянутая, скажем, краковская колбаса, сперва выползавшая червяком из дырочки, незамедлительно обретала свою магазинную форму — то есть утолщалась, твердела, привычно застревала волоконцами в зубах, а кое-кому даже деформировала зубные протезы. И все бы хорошо, однако согласившихся на такой способ все равно не покидало ощущение обмана, и они, пялясь в иллюминаторы, норовили уличить фирму в мельчайших несообразностях, дабы по окончании тура отсудить компенсацию. И немалую.

Третий же способ представлял собой реальный полет к месту космического упокоения и был не только дороговат, но и предусматривал ряд особых подготовительных процедур.

Помня дядины доброту и заботу, бухгалтер М. просто не мог пойти на то, чтобы посещение дорогой могилы было разыграно, как бы похоже все ни выглядело, в поганом уголке земного шара или внедрено в мозги с помощью замысловатых уловок.

Понятно, что бухгалтер М. избрал способ третий.

Тут главной сложностью было организовать поездку так, чтоб с учетом дороги туда и обратно плюс сюда же скорбный визит, уложиться в двадцатичетырехдневный отпуск, для чего применялись особые — вроде бы простые, а на самом деле сверхсложные, — манипуляции на генетическом уровне, обеспечивавшие искажение времени и пространства.

Генетические эти проблемы решались особыми инъекциями, или, как все еще их называла улица, *уколами*. Укол в ягодицу (или, как все еще называла улица, куда) прошел терпимо. Сидеть после него было сразу не больно. А вот вливания в вену, делаемые специальным устройством, для спокойствия клиента имевшим вид медсестры с открытым до невозможности декольте, дали на сгибах рук синяки, и другое грудастое в накрахмаленном халатике приспособление сводило их с бухгалтера М., склоняясь как надо.

Потом у него отключили центры ощущения времени, в частности, запретили брать какие бы то ни было часы. Хоть ручные, хоть карманные. Он сперва думал прихватить с собой дешевую китайскую ручку с маленьким простеньким дисплеем, но на пропускном пункте металлическим голосом ему отсоветовали: "Еще одна попытка пронести с собой *время*, и вы ни к какому дяде не полетите, причем деньги не возвращаются!".

С пространством, которое тоже следовало недоощущать, поступили и вовсе просто. Попрыскав вокруг М. каким-то веществом, целиком

удалили вокруг него ближайший пространственный слой в предположении, что М., если не дурак, соваться за эти границы в летательном аппарате не станет.

Лететь полагалось без вещей. Все необходимое предоставляла фирма. Даже цветы. Его заранее спросили, какие растения он хочет возложить. "Петунии! — грустно ответил бухгалтер М. — Дядя Константин Макарыч любил их!"

И наконец, М. пересек что-то вроде предбанника, где ему побрили всё туловище, а на руках и ногах остригли ногти, что производилось для максимальной редукции веса. Полету следовало быть крайне экономным. Даже в пилоты набирали тех, кто не вышел ростом и был тщедушный. Таких когда-то определяли в верховые ипподромные жокеи.

Костюм бухгалтер задумал строгий, но и его тоже не надо было брать. Пассажир снабжался особыми баллончиками. На одном стояло: "Одежда дорожная". На другом — "Галстуки и запонки". На третьем — "Скорбный комплект" и т. п. Довольно было распылить содержимое в свою сторону и любую одежду на себе создать. Причем никакой синтетики. Только хлопок или шерсть.

Словом, все, что положено, было тщательно выполнено, и бухгалтер М. погрузился в *летальную* машину (игра слов в данном термине уже давно никем не улавливалась).

Баллончик "Дорожное" образовал на М. удобный тренировочный костюм с белыми полосками на штанах (чистый, конечно, хлопок), так что бухгалтеру оставалось усесться в кресло и пристегнуться (отстегиваться не дозволялось ни в коем случае).

И вот голос пилота сообщил, что они летят, и что М. как хочет, но лично он, пилот, заваливается спать, потому что время на приборной доске отключать запрещено, а лететь черт-те куда, и он хочет после двух выходных отоспаться, для чего переходит на полет автоматический.

В кабине было как дома. Где-то правдоподобно капал кран, над головой шаркали тапочки, поскрипывали двери, а за стеной бубнили соседи. Даже заголосила на чьих-то "Жигулях" противоугонная система.

Всем этим фирма обеспечивала уют и приятность полета.

Через какое-то — усеченное для М. — время заспанный пилот возвестил: "Приближаемся к юдоли скорби! Быть в подобающем виде. Где переодеться, знаем".

Бухгалтер М. ступил в туалетный отсек, и тотчас раздалось радушное: "Присаживайтесь. Туалетная бумага слева, дамские пакеты — справа.

Просьба использованное аннигилировать в мусоросборнике". Затем заиграла музыка. "Картинки с выставки" Мусоргского.

Бухгалтер М. достал с полки баллончик "Мужской траурный костюм английского покроя с темным галстуком и черными носками" и стал напылять на себя его субстанцию. Напыляясь, костюм в целях экономии веса вбирал фрагменты уже бывшего на бухгалтере тренировочного. Спустя мгновение (заменить эту земную толику времени другим словом нам пока не удается) бухгалтер М. был соответственно одет и обут.

Ступив в кабину, он от удивления даже вскрикнул. Пол и стены, явно наличествуя и представляясь надежными, стали теперь абсолютно прозрачны, а сквозь них виднелся космос. Правильнее сказать, не виднелось ничего. Космос просто наличествовал сверху, снизу, вдали и по сторонам, причем чернота его была неописуема. Она казалась даже гуще черноты английского костюма, что было уж совсем удивительно, потому что английские суконщики окрашивали ткань в черный цвет как никто.

Редкие звезды и светила окрестный мрак не освещали, и в голове бухгалтера М. сразу возникла строчка какого-то позабытого школьного стихотворения "Встречать по сторонам, вздыхая о ночлеге, дрожащие огни печальных деревень". Но тут вспыхнули прожектора и рефлекторы *летальной* машины и все преобразилось. На огромном пространстве насколько хватал глаз, вытянувшись, отчего казались особо долговязыми, уложенные правильными арлингтонскими рядами, в бесчисленном множестве, головами в одну сторону, ногами в другую, словно бы устремляясь куда-то, сияя под прожекторами, точно чертежные принадлежности на бархате большой черной готовальни, взгляду предстали покойники. Причем некрополь пересекался аллеями, и повсюду виднелись указатели.

"Какое-то время мы тут поперемещаемся. Подправим отклонившихся! — услышал М. голос пилота. — При подлете к нашему — предупрежу".

Поразительное кладбище удивляло многим. Большинство вечных его постояльцев покоились без гробов — доставка в домовине стоила огромных денег. Зато кое-кто был обложен пухом. Так родственники, желая хоть что-то для дорогого праха сделать, истолковывали похоронное напутствие "Да будет тебе земля пухом", к тому же и подвоз пуха обходился в копейки. Кое-где торчали надгробные стелы, а кое над кем нависали от метеоров бетонные прямоугольники.

Погост вообще-то находился в довольно безопасном углу Вселенной. Метеорные потоки здесь наблюдались минимально, а залетавшие космические частицы бывали невелики и производили незначительный беспо-

рядок. Хотя могло залететь что-то и размером с кирпич. Но такое случалось редко. К тому же все могилы были застрахованы.

На большинстве из упокоившихся посверкивал тонюсенький иней. Абсолютный нуль межзвездных пространств совершал свое дело. Оттого-то под осветительными устройствами аппарата поле скорби сияло и сверкало, чем еще больше напоминало готовальню с рейсфедерами и стиснутыми в бархатных желобках циркулями.

Бухгалтер М. открывшимся зрелищем был просто ошеломлен, а пилот между тем время от времени давал необходимые пояснения. Например, что магометан тут не хоронят, потому что фирма не успевает доставить усопшего за день — магометане закапывают своих в день смерти.

Иногда он чертыхался, увидев кого-то, чересчур сдвинутого метеором, а иногда, забывая про микрофон, матерился.

"Всё. Достигли! — сказал он наконец. — Приготовляемся скорбеть". И тут бухгалтеру М. на некоторых надгробиях бросились в глаза фашистские знаки. Виднелась на одном и надпись "Еврей не суйся в эмпирей", причем без полагающейся запятой. Возле таких надгробий столбом повисал погромный пух.

"Опять осквернили! Прилетают козлы по ночам на военных машинах и бесчинствуют! — заворчал пилот. — А ты оттирай! Но и эти хороши, — пилот не мог успокоиться, — устроили для своих тут Новодевичье! Деньги им, блин, кучами достаются!"

Пилот принялся перемещаться, удаляя написанные глупости и корректируя сдвинутых. А бухгалтер М. внезапно увидел дядю — это пилот, чтобы покойники предстали в своем ненарушимом виде, включил противоинеевый обдув.

Дядю можно было и не обдувать — Константина Макарыча хоронили *остекленным*. Во избежание возникновения на кадаврах инея и замерзания последних в кость, отчего при соударении космические частицы могли расколотить дорогого человека вдребезги, применялось *остекление*, или в просторечии *остекленение*. Труп обволакивался тоненькой, но несокрушимой стекловидной броней, отчего не испарял влагу, а значит, не покрывался инеем, и никакой космической дребеденью не мог быть уничтожен, разве что сдвинут, виднеясь при этом сквозь стекло как живой.

Явившийся в луче между певицей и колбасником, слегка был сдвинут и дядя. Этак что-нибудь на палец. И — о чудо! Космический камешек, сместивший его, вероятно, отскочив после соударения, обращался теперь вокруг Константин Макарыча наподобие сателлита, так что Константин

Макарыч в каком-то смысле попал в число небесных тел, обладателей спутников, что молва полагала везением не меньшим, чем родиться в рубашке, ибо мало кому доводилось таким образом на веки вечные обеспечить себе хоть какое-то, но неодиночество.

В космической мерзлоте — к тому же застекленный — дядя выглядел прекрасно, словно только что из морга. Щеки его были румяны, густые брови — сама доброта, а глаза закрыты, как если бы от чего-то приятного. Племяннику он, казалось, обрадовался, и даже как будто слегка улыбался.

"Кладем петунии!" — распорядился пилот, а бухгалтер М., будучи в прозрачной кабине впритык к дяде, сглотнул слезу и, двигая особой рукоятью, положил букетик (тоже застекленный) у дядиных полуботинок.

Когда дядю подвинули, зазвучала панихида. Это совершалось из формального почтения к Всевышнему, коего уже давно трактовали не всерьез. Создатель, между прочим, в один прекрасный день снова являлся на Синайской горе, но уже не в горящем кусте и не в тучах, а какой есть, причем с Ним был установлен обыкновенный переговорный, совсем не мистический контакт. Выяснилось, что Творец давно уже не Тучегонитель и устранился от дел.

"По молодости, — в некотором раздражении возвестил Он, — я продолжал увлекаться Творением, но когда понял, что все идет не туда, составил десять заповедей, полагая, что теперь уж скособочить мой замысел будет невозможно.

Да! Про Большой Взрыв вы догадались! Но догадка ваша гроша ломаного не стоит. Что именно рвануло, вы понятия не имеете. А я ведь на материал для Вселенной взорвал Сатану — до сих пор еще по небесам излишки летают! Но нет! Не Большой Взрыв был началом, а мое Слово, по-вашему пароль. Оно только и было вначале. И вам-то уж его не узнать сроду!

Я создал Вселенную из собственной воли и, честно говоря, на порыв свой понадеялся. Чего только я не напридумал! Ограничил вас непостижением бесконечности, сузил тремя измерениями, покатил по желобу шар бытия... Этого, как мне казалось, будет довольно. Увы, я не учел, что, ковыряясь в цепи причин и следствий, вы обязательно доковыряетесь черт-те до чего.

Теперь мне все это малоинтересно. Я обдумываю новую Вселенную. Новый ее тип. Будут ли в ней приматы, пока не знаю. Но про три измерения забудьте — на самом деле есть семь *исхищрений*. Седьмое есмь Я — Господь!

Созданные навсегда, вы же, тем не менее, тщедушны. Прекратить вас можно в любую минуту. Семьдесят градусов выше нуля или девяносто ниже — и вас нету! А протуберанцы? Каких-нибудь несколько новых и вы — скоропортящийся объект. Да и посудите сами, разве вы люди? — дальше Господь выразился внезапно и резко. — Сволочь вы неблагодарная и ворье! Долги не отдаете, обещаете и не женитесь, по газонам ходите... Знать вас больше не хочу, видеть не желаю! Я — Господь!.."

...Между тем *летальному* аппарату незамедлительно следовало угадать в какое-то благоприятное притяжение и устремиться назад.

"Вы как знаете, а я по новой спать, мне еще посадку совершать надо!" — послышался голос пилота, а взволнованный и расстроенный М. пристегнулся и глубже втиснулся в кресло.

Когда потухли прожектора, поле смерти разом исчезло в космической черноте. Однако неверный свет звезд свое дело делал, и кладбище, когда привыкли глаза, опять казавшееся бескрайней слегка как бы выпуклой плоскостью (при свете прожекторов было виден разве что участок соток в двенадцать), стало слегка посвечивать каждым покойником, летевшим с десятками тысяч других в некоем недоступном нашему разуму вечном и забвенном *исхищрении*.

Только что бескрайнее и тысячемогильное, а теперь быстро удалявшееся и похожее на тусклый Млечный Путь, оно казалось таким потерянным, таким отчаянно покинутым, такой там остался милый и словно бы виновато улыбавшийся дядя, что горло у бухгалтера М. перехватило, а сердце в груди стеснилось,

Между тем за иллюминатором появился увесистый нахальный булыжник, привязавшийся к ним еще по дороге сюда. Как его пилот тогда ни отпихивал, как ни отдувал, булыжник неотвязно несся рядом.

"А вокруг дяди только камушек обращается! Боже мой! А я тут живой и здоровый... И еще булыган этот..."

Не владея больше собой, зарыдавший бухгалтер нештатно отстегнулся и бросился к иллюминатору последний раз глянуть вспять на блеклое поле скорби, казавшееся теперь не больше носового платка, а поскольку булыжник весь вид заслонял, пришлось порядком избочиться.

"Милый дядя, Константин Макарыч!" — бился бухгалтер в истерике... Английский костюм на нем хотя и коробился, но от туловища не отлегал...

В предбаннике, где с бухгалтера М. скорбный этот костюм и лакированные туфли аннигилировали, было холодно. Ступни неприятно касались прохода из деревянных реек, уложенного по цементному полу.

Метания по кабине, то есть запретное пребывание в реальном пространстве, аукнулись. Когда на службе подсчитали, что время отпуска таким образом было сильно превышено, М. оказался на грани увольнения.

Однако ждать приказа он не стал и уволился сам, даже не взяв из стола привычные нарукавники.

Деньги у него после расходов по полету оставались. Но не столько, чтобы в будущем хватило на похороны во Вселенной, даже если погребаться без *остекленения*. Да и кто к нему прилетит? Бухгалтер М. был бездетен и одинок. Женщины же никого так быстро, как бухгалтеров, не забывают.

Быть без хлопот похороненным на Земле пока еще удавалось. Правда, о могиле с оградкой или о нише в крематории давно не могло быть и речи. Не внявшая десяти заповедям Земля неумолимо вырождалась. Сожженным тобой просто выстреливали из старой пушки в сторону, для всякого населенного пункта определявшуюся местными властями.

Разумеется, прахом бухгалтера М. тоже выстрелили. Хорошо, если ничего не перепутали.

Москва

Леонид ЮЗЕФОВИЧ

Колокольчик. 1989 г.

1

На роковом для многих, тридцать седьмом году жизни Вагин впервые за десять лет брака изменил жене, сам же ей в этом признался по инфантильной привычке ничего от нее не скрывать, всю зиму бы на грани развода, но из семьи не ушел, и весной, искупая вину, при активном финансовом содействии тещи, которую жена держала в курсе событий, купил дом в пригородном селе Черновское, чтобы восьмилетняя Нинка могла целое лето проводить на воздухе. Впрочем, Нинка с ее бесценным здоровьем составляла лишь самый верхний пласт в многослойной толще соображений, лежавших в основе этой акции. После всего случившегося им с женой необходимо было обновить отношения, сменить обстановку. Дом еще не был куплен, а они уже говорили о нем как о месте, где в тишине, в покое, под сенью березовых перелесков на берегах относительно чистого водохранилища оба сумеют зализать свои раны и, может быть, увидят друг друга в ином, неожиданном свете, возвращающем их во времена юности, нежности, взаимного умиления. Спали они пока врозь, но для дома в Черновском жена приобрела комплект нового постельного белья в цветочках. Эту свою покупку она, правда, не слишком афишировала, чтобы не спугнуть Вагина самонадеянной уверенностью в неизбежном счастливом исходе. Если же копнуть еще глубже, там жена с тещей рассчитывали хозяйственными заботами отвлечь его от опасных мыслей и разлагающих томлений, а сам он, отчасти надеясь, что так и случится, в то же время втайне надеялся иногда приезжать в Черновское с Таней, хотя за месяц перед тем они твердо решили больше не встречаться, и даже не звонить друг другу. Таня настояла, а Вагин как бы смирился, но в глубине души прекрасно знал, что все зависит от него. Как он захочет, так и будет.

Жена быстро поверила в его раскаяние, в его искреннее и глубокое осознание совершенной ошибки, исправить которую окончательно и прямо сейчас ему мешает лишь самолюбие. Теща, мудрая женщина, не пыталась ее разубедить, но не исключала, видимо, что зять связывает с этим домом определенные планы, и его рано отпускать туда одного. Уже в конце мая она с Нинкой перебралась в Черновское, а дочь предусмотрительно оставила в городе приглядывать за Вагиным. Тем не менее, он под разными предлогами ухитрялся ездить на дачу отдельно от жены, не в выход-

ные, а на неделе, когда та работала. Приезжая, он под руководством тещи весь день что-то приколачивал, вскапывал, закапывал, строил новый сортир, но вечером, уложив Нинку, спускался к водохранилищу, курил на берегу, думал о Тане, о том, что без нее оставшаяся часть жизни будет уже не жизнью, а доживанием. Он ей не звонил, и она за все это время не позвонила ни разу.

В середине июня у него выдалось три свободных дня подряд. Он уехал в Черновское, заночевал там, а утром прискакала Нинка, ранняя пташка, начала его теребить, стаскивать одеяло, требуя, чтобы он немедленно вставал и куда-то с ней шел, она ему что-то покажет.

— Ну пап! Ну вставай! — ныла она. — Скоро их поведут!

Вагин сонно отмахивался:

— Кого? Куда?

Она сказала с раздражением:

— Ну интернатских же, которые под себя писяются. Я тебе еще вчера говорила. Забыл?

Он забыл, но встревожился, глядя, как она аж подпрыгивает от нетерпения.

— Идем, пап! Опоздаем же!

Интернат при местной школе-восьмилетке находился рядом с автобусной остановкой. Всякий раз, проходя мимо, вдыхая запах щей из кислой капусты и еще чего-то казенного, казарменного, Вагин испытывал мгновенный стыд при мысли, что за два квартала отсюда нахальная Нинка, раскармливаемая тещей, уплетает постную говяжью тушенку и в один присест может опростать полбанки сгущенного молока. Он хорошо помнил, как в детстве на его глазах откровенная барачная нищета, которую все воспринимали как должное, сменилась потаенной, почти пристойной или, напротив, горластой, бьющей себя в грудь, так что в обоих случаях Вагин имел право ее не замечать. Здесь же, в часе езды от областного центра, она то ли никогда не исчезала, то ли вдруг с пугающей легкостью вернулась к прежнему облику. Убогость этого мира внутри школьной ограды была разветвленной, сложной и естественной. За ней стояла традиция, уходящая вглубь десятилетий.

Школа носила имя известного в свое время поэта Каминского, чья жизнь была прочно связана с Черновским. Потомственный горожанин, он любил эти места, еще в тридцатых годах построил здесь дом и анахоретом прожил в нем последнюю треть жизни. Теперь дом был превращен в музей. На туристических картах Черновское отмечалось кружочком с впи-

санным в него треугольником, обозначающим памятники культуры. Студентом Вагин писал о Каминском дипломную работу, и когда теща объявила, что присмотрела дачу не где-нибудь, а в Черновском, у него неприятно сжалось сердце. Случайность, да, но если судьба гонит по кругу, значит, ничего неожиданного в жизни уже не будет. После разлуки с Таней он стал особенно внимателен к таким совпадениям. Всюду мерещились намеки на то, что круг замкнулся, пошло по второму разу.

Они с Нинкой остановились у штакетника, идти во двор Вагин не захотел. Недавно начались каникулы, но детей еще не развезли по деревням. При интернате для них организовано было что-то вроде трудового лагеря. Они убирали территорию, работали на участке, возили и кололи дрова на зиму. Вечерами ребята постарше околачивались возле клуба, помладше — на пристани. Сейчас все собрались во дворе, строились по группам. Передние, самые маленькие, уже топтались вдоль наведенных известью линеек. В их стремлении встать так, чтобы носы кроссовок, тапочек и туфелек ни в коем случае не вылезали на белую полосу и не отступали бы чересчур далеко от нее, в молчаливом этом и мелочно-кропотливом выравнивании жиденьких шеренг, призванных противостоять бесформенному ужасу жизни, клубящемуся по обе стороны утреннего построения, тоже было что-то давно забытое, но родное, чего Таня в ее возрасте не знала и знать не могла. Несколько девочек с формами хихикали на скамейке, их сверстники покуривали за углом, но и они энергично прибились к остальным, едва на крыльце показался директор интерната, мужчина лет пятидесяти с темным от деревенского загара костлявым лицом, в белой рубашке навыпуск. Вслед за ним вышел мальчик с барабаном и скромно встал в стороне.

— Смотри, сейчас поведут! — шепнула Нинка.

По дороге она ничего толком не объяснила, не желая предвосхищать события и портить впечатление. Жена тоже всегда проявляла удивительное, поражавшее Вагина терпение, если хотела осчастливить его каким-нибудь сюрпризом. Сам он был на это совершенно не способен. Даже подарки, купленные ей ко дню рождения, дарил в тот же вечер, когда приносил их из магазина.

Дождавшись тишины, директор заговорил бодрым и вместе с тем подчеркнуто негромким голосом. Вагин уловил знакомые, но немного, пожалуй, по нынешним временам архаичные интонации начальственной доверительности: дескать, все мы, тут собравшиеся, взрослые и дети, руководство и подчиненные, выполняем одну задачу. Мы — соратники, нам нужно

держаться заодно и стоять крепко, а засадный полк не подведет, озерный лед вот-вот проломится под закованными в железо тевтонами. Содержание речи не имело ровно никакого значения. Оно полностью исчерпывалось веерообразным движением загорелой руки, объемлющим дальних и ближних, сильных и сирых, самого директора и двух стоявших поодаль воспитательниц, небо над их головами, землю внизу, шум тополей, стайку воробьев на турнике — всё в пределах облупленного штакетника.

Наконец рука взмыла вверх, в тот же момент барабанщик, приосанившись, пустил длинную профессиональную дробь. Директор посторонился, пропуская вытянувшуюся из дверей интерната странную процессию — двое мальчиков и девочка с мазками зеленки на лице, на годик, может быть, постарше Нинки. Они, вероятно, стояли в сенях, ожидая сигнала. Застучал барабан, и вышли гуськом, девочка — сзади. Все трое тащили полосатые постельные матрасы, скатанные, но не перевязанные. Один из мальчиков пристроил свою ношу на голове, другой нес перед грудью, обхватив обеими руками, а девочка никак не могла приспособиться. Ей не хватало рук, чтобы обнять этот исполинский ствол с уходящей под облака невидимой кроной. Тяжелый матрас выскальзывал, разворачивался; она то и дело перехватывала его, помогая себе коленкой, останавливалась и отставала. Колени у нее тоже были в пятнах зеленки.

Нинка, стоя рядом, с удовольствием объясняла детали:

— Видишь, пап, они к сушилке идут, у них там сушилка. Видишь?

Вагин тупо взглянул туда, куда она указала. В дальнем конце двора маячил беленый сарайчик под плоской крышей, сакля с длинным жестяным перископом, рассекающим взбитую ветром пену акаций. Лишь теперь он уяснил смысл этой церемонии. Несчастные дети ночью обмочились и в наказание перед строем товарищей должны нести на просушку свои мокрые матрасы. Они были ветхие, линялые, в ржавчине от кроватных сеток.

Для мальчиков, похоже, вся процедура давно стала обычным делом. Передний вышагивал равнодушно, второй улыбался и корчил рожи, но девочка то ли не сумела привыкнуть и смириться, то ли сегодня с ней это случилось впервые в жизни. Она прятала лицо в матрас, шатаясь под его тяжестью, ничего не видя перед собой. Летевшая вдогонку барабанная дробь подгоняла ее, больно лупила по спине, по голым ногам. Вагин почувствовал, что дорога от крыльца до сушилки кажется ей бесконечной. Он схватил Нинку за плечо, встряхнул:

— Ты как смеешь смотреть на такие вещи? Дрянь!

— Ты чего, пап? — изумилась она, прежде чем зареветь.

Он поддал ей по шее.

— Марш отсюда, паршивка! Чтоб духу твоего здесь не было.

Нинка завыла и покатилась в сторону дома. Директор куда-то пропал, барабан умолк. Вагин перемахнул через ограду и бросился к сарайчику. Мальчики уже разложили на солнце свои матрасы, а девочка не могла найти подходящего места. Он поднял ее матрас, отшвырнул. Слабый запах мочи витал в воздухе, еле ощутимый, невинный, напоминающий о Нинкином младенчестве, о времени, когда у жены была большая красивая грудь.

Девочка потрясенно застыла под его взглядом. Вагин присел перед ней на корточки, попробовал улыбнуться прыгающими губами.

— Ты не бойся, — уговаривал он, — не бойся, слышишь? Ерунда, это в детстве со всеми бывает, со мной тоже бывало, и ничего. Не веришь? Зачем мне врать, я уже лысый.

Вагин весело похлопал себя по лысеющей макушке, повторяя, что с ним самим, когда он был в ее возрасте и даже старше, это бывало много раз, честное слово. Девочка по-зверушечьи шмыгнула прочь, тогда, грозно выпрямившись во весь рост, он заорал ей вслед:

— Не смей больше так ходить! Никогда!

Вокруг собралась толпа, откуда-то сбоку донеслось вызывающе отчетливое:

— Зассанец!

Вагин стоял на нетвердых ногах, чувствуя, что не в силах унять в себе этот рвущийся из горла крик. Он видел перед собой ухмыляющиеся физиономии, но продолжал вопить, как на митинге:

— Как вам не стыдно! Это же ваши товарищи!

Подошел директор. При виде его Вагин зашелся совсем уж по-базарному, как вдруг увидел за оградой Нинку, смотревшую на него с нескрываемым ужасом, и опомнился. Не хватало еще, чтобы думала, будто у нее отец припадочный.

— Кто дал вам право издеваться над детьми? — спросил он почти кротко. — За что вы их наказываете? За болезнь?

— Никто их не наказывает, — спокойно ответил директор.

— Ах так? Как же это называется — то, что вы с ними делаете?

— Мы их лечим.

Вагин опять сорвался в истерику:

— А-а, лечите?!...

Переждав, директор подтвердил: да, лечение психическим шоком, такой метод. Шокотерапия — единственное, что в данных обстоятельствах способно им помочь, а колокольчик на ночь к ноге привязывать, это всё пустой номер.

Он взял Вагина под локоть и повел к воротам, на ходу рассказывая, почему не помогает колокольчик, который, по идее, должен разбудить ребенка, когда при позыве тот начнет ворочаться во сне, своим звоном напомнить ему, что нужно проснуться, встать и пойти в туалет. Вагин слушал оцепенело, не вникая. Представилось, как Нинка лежит в постели с этим подвязанным к лодыжке рыбацким бубенчиком, как обмирает, боясь шевельнуться, чтобы не зазвякал и не услышали на соседних койках. Пока тянулись отношения с Таней, и мелькала мысль о разводе, дочь казалась уже совсем взрослой, не нуждающейся в его заботах. Теперь она опять стала маленькой, глупой, беззащитной.

— Жестоко, да, — говорил директор, — но многим помогает. А то ведь сами же ребята житья не дают таким детям, особенно девочки. В матрасах какая-то синтетическая гадость, один обмочится, и во всей палате разит, как в помойке. Они, бедные, на все готовы, лишь бы утром от их постели не воняло. Эта девочка, например, сегодня ночью проснулась, видит, что обмочилась, матрас потихоньку в коридор выволокла, под лестницу его, с глаз долой, простыню прямо на голую сетку постелила и легла. Разве так лучше? В спальных помещениях дует из всех щелей, печи плохие, зимой дети простужаются, если спят на мокром, а денег на ремонт нет, материалов нет. Прихожу вчера в контору, прошу цемент. Говорят, цемента нет, бери, что есть, и выписывают мне скребки для обуви. Хоть в стену вколачивай и вешайся на них.

— Дождетесь, кто-нибудь еще повесится от такого лечения, — посулил Вагин.

Директор обиделся:

— Да меня этой весной опять егерем в заповедник звали! Мотоцикл казенный, независимость. Не как здесь: ходишь с протянутой рукой, над куском мела трясешься. Каждый год зовут, а я не иду.

— Чего ж не идете?

— Детей жалко, без меня им хуже будет.

— Хуже не будет, — сказал Вагин и, не прощаясь, пошел домой.

Нинка с каменным лицом уже сидела на веранде, трескала яичницу. Теща гладила ее по волосам, одновременно с обычной своей дипломатичностью давая понять Вагину, что она полностью на его стороне.

Настроение испортилось, он без аппетита позавтракал, взял лопату и направился в огород. По пути его перехватил сосед, тоже дачник, пожилой электрик с пушечного завода. Разговаривать с ним не хотелось. Вечерами тот штудировал недавно переизданного Карамзина вперемешку с журналом "Огонек" и все время норовил уличить Вагина в незнании каких-то исторических фактов. Под тем предлогом, что нужно решить судьбу черемухи, которая росла на границе их участков и будто бы затеняла светолюбивые картофельные побеги, сосед выманил его из калитки, заманил к себе во двор и тут неуловимо-щегольским жестом фокусника соткал из воздуха ополовиненную бутылку и складной стаканчик. Против обыкновения Вагин отказываться не стал. Выпили, сосед начал пытать его, знает ли он, отчего умерли Александр Невский, Иван Грозный, Сталин, Косыгин, Андропов и генерал Скобелев.

— Ну? — спросил Вагин.

— Их всех отравили, — сообщил сосед и приступил к подробностям.

Внимая, Вагин вспомнил, как в день похорон Андропова жена возвращалась из командировки, он встречал ее на перроне, и когда гроб опускали в землю под кремлевской стеной, внезапно все тепловозы, электровозы, вокзальные сирены испустили трехминутный траурный вой, уже через минуту обернувшийся абсолютной тишиной, потому что в нем потонули все остальные звуки. Казалось, от титанического усилия ревет кто-то громадный, неведомый, ценой рвущихся вен и лопнувших сухожилий поднимающий на себе небеса, раздвигающий горизонты. Вагин слушал со страхом и восторгом, замирая от предчувствий, но за все последующие годы с ним лично случилось только то, что встретил Таню. Под пение соловья в ветвях той самой черемухи, под рассказ о боярах-отравителях, о Борисе Годунове, который как брюнет был человек хитрый, на фоне июньского неба и тополиной метели перед Вагиным опять встал роковой вопрос: звонить Тане или не звонить? Он подумал, что на тот случай, если как-нибудь привезет ее в Черновское, и она попадется на глаза соседу, надо поддерживать с ним добрые отношения, чтобы не донес теще или жене. Из этих соображений он дослушал мартиролог до конца, до Андропова, по мере необходимости подавая сочувственные или осуждающие реплики.

— Теперь будете знать, — удовлетворенно сказал сосед, отпуская его к Нинке.

Та давно ныла за забором, что хочет купаться. То, что произошло два часа назад, для нее было все равно как в прошлом году. Вагин прочел ей короткую нотацию, вылившуюся, как всегда, в частичное признание

собственной вины, затем отправились на водохранилище. Купальника с лифчиком у Нинки не было, по дороге начали торговаться: она доказывала, что ей неприлично купаться в одних трусиках, а Вагин говорил, что под майкой скрывать совершенно нечего, и после купания в мокрой майке можно простыть на ветру. На берегу она села, надувшись, в стороне, но он твердо стоял на своем: снимай, иначе в воду не пойдешь. В конце концов, Нинка зарыдала, однако соблазн был велик, соседские мальчишки плескались прямо напротив, звали ее к себе. Рыдая, она стянула майку и, согнувшись в три погибели, пряча от нескромных мужских взглядов еле заметные, без малейшей припухлости пятнышки сосков, юркнула в воду, где тут же забыла о необходимости их прятать, стала прыгать и возиться с мальчишками. Вагин выбрал местечко почище, расстелил полотенце, разделся и лег. Отсюда хорошо виден был стоявший над самым обрывом дом Каминского, довольно несуразное строение с несимметрично посаженным мезонином, на крыше которого, как капитанский мостик, торчала обнесенная перильцами смотровая площадка. Еще выше поднимался шест с маленьким флюгером.

2

Каминский был поэт-футурист, фигурировал в столицах, летал на аэроплане, скандалил, красил волосы в зеленый цвет, демонстрируя близость к лесной славянской стихии, но после революции звезда его как-то померкла. Он вернулся на родину, в губернский центр, стихов почти не писал, а еще через несколько лет построил этот дом и переселился в Черновское, лишь изредка наезжая в город. Остальное время ходил с ружьишком, рыбачил, что-то сеял в необъятном своем огороде, завел ульи. Легенды о нем долго волновали областную интеллигенцию. В его добровольном отшельничестве видели пассивный, посильный вызов режиму, и на пятом курсе научный руководитель, доверяя Вагину, веря, что он все поймет и, поняв, сумеет расставить смягчающие акценты, предложил ему выбрать темой диплома ненапечатанную драматическую поэму Каминского "Ермак Тимофеевич". Поэма относилась к последнему, трагическому периоду его творчества, после которого он уединился в Черновском и замолчал уже навсегда. По тем временам тема была на грани, если не за гранью, но к работам на местном материале идеологические требования предъявлялись не в полном объеме. Считалось, что сам материал исключает возможность широких обобщений. Кроме того, региональный патриотизм

поощрялся; под этим углом на кое-какие вещи смотрели сквозь пальцы, о чем научный руководитель знал и постарался объяснить Вагину, чтобы тот почувствовал внутреннюю свободу. Иными словами, писать можно было почти правду. Все уже понимали, что Каминский для области слишком крупная фигура, и если нельзя напечатать все им написанное, то нельзя и замалчивать его двадцатилетнее предсмертное молчание, наступившее после завершения работы над поэмой "Ермак Тимофеевич". Следовательно, без ее анализа трудно было осмыслить и дальнейшее.

Поэма, вернее, драма в стихах, при жизни Каминского не прошла цензурные рогатки и сохранилась в его архиве. Тогда еще архивом владела вдова, бывшая актриса. Она пыталась продать его в какое-нибудь государственное учреждение, но покупать никто не хотел, а отдавать бесплатно ей было жалко, хотя причиной выставлялась тревога за наследие мужа: мол, то, что достается даром, люди не ценят. Это была кокетливая усатая старуха с синими бородавками, наводившими на крамольную мысль, что поэт сбежал в Черновское не только из-за ненависти к режиму. Два месяца Вагин ходил к ней с цветами, слушал ее рассказы, изучал текст рукописи, черновые варианты и переписку с современниками, состоявшую, главным образом, из поздравительных открыток. В итоге удалось реконструировать приблизительно следующее.

После переезда из Москвы жена Каминского поступила в труппу местного театра и здесь, освоившись, подала идею заказать ее мужу поэтическую драму о Ермаке, который издавна входил в пантеон областных героев: отсюда он и двинулся на завоевание Сибири. Режиссер загорелся, Каминский дал согласие. Поначалу, правда, он ленился, но получив аванс и потратив его на постройку дома, проникся темой и засел за работу. Жена точила его, чтобы писал скорее. Ролями ее не баловали, а в пьесе собственного мужа она имела право рассчитывать на главную женскую роль. Ей предстояло воплотить на сцене образ девушки-холопки Дуняши, которая бежит от помещика и, переодевшись в казацкое платье, выдавая себя за мужчину, с отрядом Ермака отправляется в Сибирь. Начал Каминский бодро, но вскоре застопорился. Ермак был им задуман как бунтарь, как олицетворение поэтичной вольнолюбивой народной души, как второе "я" самого Каминского, любившего петь под гармонь срамные частушки, однако тот же Ермак являлся проводником колониальной политики царского правительства, завоевывал для московского торгово-промышленного капитала новые рынки сбыта. Перед этим парадоксом Каминский останавливался в растерянности. Мысль его замирала, он срывался в Чер-

новское удить рыбу; там его отлавливала жена, привозила в город и усаживала за письменный стол. Но и тут, не в силах ничего придумать, он постоянно отвлекался, писал стихи то про Стеньку Разина ("Над Москвой-рекою, как перо — вран, буйную головушку обронил Степан..."), то про Пугачева ("За Москвой-рекою, как перо — вран, буйную головушку сронил Емельян..."). Всё и вся примиряющий сюжетный поворот найден был неожиданно. Под нажимом жены, не желавшей на протяжении всего спектакля ходить в зипуне и кольчуге, Дуняша сняла мужское платье не в финале, как намечалось ранее, а под конец второго акта. Едва этот сын полка, этот бравый юнга с головного струга, сыпавший прибаутками под стрелами врага, явился перед Ермаком в сарафане и кокошнике, дальше все пошло как по маслу. Хотя роман Ермака и Дуняши лежал у истоков замысла и предполагался, естественно, с самого начала работы, развязка их отношений, недавно еще неясная, тонущая в глубинах магического кристалла, теперь выплыла сама собой. Каминский набросал план, похожий на балетное либретто, затем потекли ямбы, рифмы, цезуры. Заключительный акт написан был стремительно: Кучум разбит, казаки празднуют победу, Ермак признается Дуняше в любви. Она, тоже любя его, предлагает ему повернуть штыки вспять, превратить империалистическую войну в гражданскую, но скованный сословными предрассудками атаман отказывается, тогда Дуняша вместе с Иваном Кольцо, разделяющим ее убеждения, и лучшей частью отряда уходит от него. Ермак понимает свою ошибку слишком поздно. Любовь потеряна, в Сибири ширится национально-освободительное движение татар, остяков и вогулов в союзе с передовыми русскими зверобоями. Оказавшись меж двух станов, он бросается в Иртыш и тонет.

Драма была готова, начались репетиции, как вдруг выяснилось, что трактовка, предложенная Каминским, устарела. В газетах уже ругали Демьяна Бедного за его "Богатырей", режиссер требовал коренной переделки. Жена закатывала Каминскому истерики, потому что, как Вагин понял из случайно оброненной и неловко замятой фразы, ее шантажировал любовник, актер того же театра, которому она через мужа составила протекцию на роль Ивана Кольцо. Ермак нес в себе частицу мятущейся души Каминского, а Иван Кольцо был рупором его мыслей, наиболее положительным из всех персонажей драмы. Именно за такие роли давали ордена, звания и квартиры. Этот актер, видимо, грозил все рассказать Каминскому, если жена не заставит его взяться за переделку. Она была в отчаянии. В промежутках между скандалами она делала для мужа выписки из науч-

ной литературы, раздобыла где-то "Строгановскую летопись" и перекатала оттуда двухстраничную речь Ермака к дружине перед боем при Кашлыке, но Каминский не желал поливать живой водой воображения собранные ею мертвые факты. Он пребывал в депрессии, пил, играл на гармошке, неделями пропадал в Черновском. Дом, однако, нужно было достраивать. Когда кончились деньги, он опять проникся новым, духовно гораздо более близким ему, чем прежний, подходом к теме. Параллельно с возведением мезонина, где должен был разместиться рабочий кабинет хозяина, Дуняша пересмотрела свои позиции и поняла, что нельзя пренебрегать внешней опасностью. Невесть откуда взялись ливонские немцы, помогающие Кучуму с артиллерией, появилось множество изменников. По ночам, произнося саморазоблачительные монологи, они сверлили дырки в стругах, рисовали и переправляли в Стамбул чертежи государевых земель, посыпали ядом из флакончиков казацкую трапезу. К Дуняше стали подкатываться агенты султана, соблазняя шитой жемчугом кашемировой шалью, чтобы во сне зарезала возлюбленного. Этот вариант в театре был одобрен, режиссер очень его хвалил, но от постановки на всякий случай решил увильнуть, не зная, куда еще заворотит в ближайшее время. Вот тогда-то Каминский с концами перебрался в Черновское и прожил там почти безвыездно до самой смерти. Гости из города у него бывали редко, жена — еще реже. Когда она внушала ему, что неплохо бы что-нибудь написать, напечатать и получить гонорар, он отвечал ей: "Рука бойца колоть устала". Цитата, судя по неприятной ухмылке, промелькнувшей на лице вдовы, в то время как она дважды, с разной интонацией повторила ее Вагину, относилась не только к руке и не только к литературе.

3

На обратном пути от водохранилища Вагин отпустил Нинку домой одну, а сам решил зайти в дом Каминского. Внутри он еще ни разу не бывал, все как-то откладывал до следующего приезда, чтобы осмотреть спокойно, не торопясь.

Нинка ускакала, помахивая полотенцем. Он прошел по краю обрыва, обогнул забор и остановился перед необыкновенно мощными и высокими, едва ли не выше самого дома, деревянными воротами. Навершья столбов были вырезаны в виде плосколицых валькирий с зелеными русалочьими волосами, створки разрисованы подсолнухами. Их яркие желтые лепестки контрастировали с мрачно-черными гнездилищами семечек,

стебли переплетались, как лианы в джунглях. Вагин знал, что и цветы, и суровые девы на столбах, все нарисовано и высечено рукой самого Каминского, их лишь подновили и подкрасили при ремонте.

Он постоял перед воротами, воздвигнутыми явно не для того, чтобы через них проходить во двор, и вошел через калитку. Возле нее висела на заборе табличка с расписанием: указаны были дни и часы, когда музей открыт для посещения. Как раз было открыто, но посетителей Вагин не заметил. Вокруг царила могильная тишина. Он двинулся вдоль дома, ориентируясь по прибитой к тополю жестяной стрелке.

С крыши между окнами спускались изъеденные ржавчиной водостоки с драконьими мордами внизу. Один из драконов сохранил в щербатом зеве обломок языка. В дождь они выплевывали воду, затем по желобу из распиленных надвое и выдолбленных бревен она катилась под уклон, вливаясь в огромную, по края врытую в землю бочку. Оттуда, вероятно, Каминский черпал ее ведрами и поливал огород. Многодневный тропический ливень не мог бы наполнить эту бочку доверху. Видневшиеся в конце огорода пчелиные ульи размерами напоминали домики на сваях. Одноэтажный, если не считать мезонина, с кривоватыми окнами, дом выглядел скромно, даже неказисто, но все, что его окружало, вплоть до скворечника на тополе и пустой собачьей будки, где поместился бы теленок, казалось преувеличенным, как бы раздутым, и непонятно было, главное, зачем.

Вход был бесплатный. Требовалось лишь сделать запись в книге посетителей, которую принесла Вагину полная, деревенского облика пожилая женщина. Она проживала здесь же, при музее, работая истопницей, хранительницей фондов и сторожем одновременно. Краткий комментарий к экспозиции также входил в ее обязанности. Профессиональные экскурсоводы приезжали сюда только с группами от туристического бюро. Вагин слышал, что эта женщина жила с Каминским и ухаживала за ним, когда года за три до смерти его разбил паралич.

— Простите, как вас зовут? — спросил он.

— Зинаида Ивановна, — ответила она.

Вагин раскрыл эту амбарную книгу, взял ручку, чтобы написать в одной графе свою фамилию, в другой — место работы, и расписаться в третьей, но в последний момент заколебался. Осенью он напечатал в областной газете большую, на целую полосу, статью о Каминском. Наверняка Зинаида Ивановна ее внимательно прочла, вырезала и положила на вечное хранение в соответствующую папочку, как делают во всех таких музеях. Не запомнить имя автора она не могла: так откровенно о Каминском

еще не писали. Вагин не оставил камня на камне от легенды о поэте-отшельнике, не желавшем выть с волками площадей, о его молчании как форме творческого поведения в условиях тоталитаризма. Он обошелся без флера, который так любило старшее поколение, в том числе бывший научный руководитель Вагина с его патологическим стремлением все романтизировать, чтобы подсознательно, может быть, защититься от неприкрытого ужаса жизни и оправдать свою готовность довольствоваться полуправдой. Опираясь на биографию Каминского, на дневниковые записи разговоров с его покойной женой-актрисой, на тщательный анализ его ранних стихов и нескольких вариантов драмы "Ермак Тимофеевич", Вагин нарисовал совсем иной образ поэта. В молодости — скандалист, маскирующий внутреннюю пустоту литературной эксцентрикой, эпатажем и полетами на аэроплане, в зрелости — конформист, не сумевший приспособиться к существующему режиму исключительно по причине полной бездарности, в старости — убогий пьяница, знаток и ценитель "причинного" фольклора. В Черновское он уехал, прежде всего, потому, что там, по крайней мере, мог добывать себе пропитание ружьем, удочкой, пчелами и огородными трудами. Единственным его достоинством признавалось то, что под занавес он все-таки осознал собственное ничтожество. На этой милосердной ноте статья и заканчивалась. Впрочем, по тону, по интонации она была достаточно мягкой. В ней доминировала не язвительная страсть разрушителя мифов, а легкая печаль, ирония и самоирония автора, вспоминающего свои былые иллюзии с грустью, со смехом сквозь слезы, но и с благодарностью тому, кто помимо воли преподал ему этот урок, то есть Каминскому. Таня, прочитав статью, сказала, что теперь она понимает, какой он был чудесный, наивный, чистый мальчик.

На всякий случай, чтобы не вступать в ненужные объяснения с Зинаидой Ивановной, Вагин обозначил себя девичьей фамилией жены, неуклюже расписался и прошел в светлую, почти без мебели, просторную комнату со свежевымытыми полами и цветами на окнах. Зинаида Ивановна шла за ним, рассказывая, где тут что стояло и лежало, пока не растащили. При жизни поэта здесь была гостиная, дальше — спальня. Там ночевала жена, когда раз в месяц, не чаще, да и то летом, навещала мужа. Сам он обычно ложился у себя в кабинете. Казалось, Зинаида Ивановна сознательно подчеркивает, что супруги спали врозь.

Вагин задержался у витрины, где под стеклом выставлены были написанные хозяином книги, затем обошел комнату по периметру, рассматривая висевшие на стенах фотографии Каминского — с родителями и младшими

сестрами, в гимназической фуражке, в летных очках, на аэродроме, на поэтическом вечере в Харькове, с Маяковским, еще с Маяковским, с Горьким, с каким-то одутловатыми мужчинами в полувоенных костюмах, с первой женой, со второй женой, с сыном от первой жены, с дочерью второй жены от первого брака, за рабочим столом, с актерами областного театра, с собакой на фоне строящегося дома в Черновском, с другой собакой, на диване с гармошкой, с ружьем и третьей собакой, в постели с книгой, на столе с подвязанной челюстью и, наконец, опять молодой, веселый, с солнцем в волосах, как бы вставший из гроба, чтобы остаться таким навсегда.

Спальню жены еще не привели в порядок, посетителей туда не водили. Вся экспозиция состояла из двух комнат — гостиной и кабинета наверху, в мезонине. Лестница находилась за дверью. Зинаида Ивановна открыла ее сразу же, как вошли в гостиную, будто спохватившись, что не сделала этого раньше. Дверь была откинута к стене и намертво закреплена специальным крюком, но Вагин успел заметить, что на ней линялым от времени маслом и, несомненно, кистью самого Каминского, в юности, как все футуристы, без конца что-то малевавшего, изображен священный лингам шиваитов с пририсованными к нему легкомысленными крылышками и надписью: "Как птичка эта, влетайте в дом поэта". Не решившись, видимо, замазать этот бледный крылатый пенис, Зинаида Ивановна тщательно берегла его от посторонних глаз. Вообще в ней чувствовалась некая угрюмость, проистекавшая, может быть, из необходимости постоянно быть настороже, отвечая на вопросы экскурсантов, постоянно что-то не договаривать. Вагин ощутил внезапный прилив симпатии к этой женщине. В сущности, теперь в целом свете только они двое и знали правду о Каминском. Жена-актриса умерла в позапрошлом году от инсульта.

Они поднялись по лестнице и вошли в кабинет. Это была большая комната с полукруглым окном, рукомойником у входа и продавленным диваном в углу. Зинаида Ивановна сказала, что на нем Каминский провел последние три года жизни. Вначале у него отнялись ноги, потом все тело.

В другом углу прозрачная лесенка наискось уходила к люку в потолке. По ней можно было подняться на смотровую площадку на крыше мезонина. Как сообщалось в проспекте для туристов, поэт, в прошлом — летчик, построил ее, чтобы быть ближе к небу, а местные жители рассказывали, что он там установил подзорную трубу на треноге и разглядывал купающихся и стирающих белье деревенских девок. В то время река текла немного в стороне. Водохранилище разлилось позднее, за несколько лет до его смерти.

Первым делом Вагин подошел к стене с книжными полками и ревниво проинспектировал корешки. Издания двадцатых годов и старые журналы вдова еще на его памяти носила букинистам, в остальном библиотека была самая заурядная — русская классика, много Маяковского, много книг областного издательства, приключения, география, пчеловодство, раскрытый на титульном листе капитальный труд "Падение крепостного права и развитие капиталистических отношений на уральских горных заводах и соляных промыслах в 60-90-х гг. XIX в." с дарственной надписью автора. На полках лежали минералы, окаменелости, стояло чучело не известной Вагину птицы. Он удивился, услышав от Зинаиды Ивановны, что это, оказывается, попугай. Его подарил Каминскому друг юности, привез из Испании, где сражался в составе Интернациональной бригады. Попугай прожил в Черновском десять лет, умер и был мумифицирован. После смерти под руками местного таксидермиста он преобразился до полной неузнаваемости. Лишь в стеклянных бусинах, заменивших ему глаза, навеки застыла тоска, с которой этот испанский попка смотрел в низкое северное небо чужбины.

На стене висело ружье, в кресле покоилась мемориальная гармошка, Протянутый между подлокотниками шнурок напоминал, что трогать ее нельзя. Ближе к окну стоял рабочий стол хозяина. Его аскетически пустынная поверхность и выцветшее, но неистертое сукно свидетельствовали, что письменным занятиям Каминский предавался не часто. На столе не было ничего, кроме стакана с карандашами, чернильного прибора из алебастра и раскрытой общей тетради в клеточку. Разворот был исписан аккуратным, без божества, холуйским почерком Каминского. Тетрадь должна была создать впечатление, что поэт лишь ненадолго оторвался от работы и вышел в соседнюю комнату. Тсс-с, дети! Представьте, сейчас он войдет легкой походкой, прискачет на костылях, въедет на инвалидной каталке, приползет, волоча отнявшиеся ноги, чтобы взять перо и склониться над белым листом бумаги. Минута, и стихи свободно потекут: "За Москвой-рекою...".

Впрочем, написано было прозой. Зинаида Ивановна сказала, что это дневник, Каминский начал вести его в старости и вел до тех пор, пока мог удерживать в пальцах карандаш.

Вагин встревожился. Про дневник он никогда не слыхал, сделалось неуютно при мысли, что вот начнет читать и поймет: есть доля истины в легенде о поэте-авиаторе, который, взлетев к звездам и приземлившись на площади, пропахшей кровью и гниющей с головы рыбой, предпочел затвориться в глуши, в обществе собак, птиц, пчел.

Он обернулся к Зинаиде Ивановне.

— Можно почитать?

Она кивнула. Вагин присел к столу, возбужденно пролистнул несколько страниц и успокоился. Чушь, календарь погоды, заметки фенолога, котята, мышата, жучки, паучки, смелые выводы типа: совсем как у нас, людей. Или: вот бы нам у них поучиться!

Оглядевшись, он заметил на подоконнике маленький колокольчик. Настроение опять испортилось. Бубенчик был тот самый, рыбацкий. Про такие директор интерната говорил, что не помогают.

— Это что? — спросил Вагин. — Зачем?

Зинаида Ивановна объяснила, что Каминский, будучи уже прикован к постели, попросил ее повесить этот колокольчик на тополе за окном кабинета. Зимой, когда окна закрыты, да и летом тоже, по его звону он узнавал, какая погода на дворе, ветрено ли, как сильно и откуда дует. Если с севера, то дом загораживает, звенит слабее. С востока — сильнее. Вообще летом — сильнее, потому что ветка с листьями, парусит. Как-то он всё научился различать, однажды зовет ее: "Зина!". Сам улыбается. "Слышишь, — говорит, — как странно звякает? Птица, наверное, на ветку села, взгляни-ка". Посмотрела, и точно — синичка. А в другой раз кричит: "Зина! Зина!". Она прибежала, он весь в поту, плачет: "Зина! Не слышу!". Оказывается, нитка перетерлась, колокольчик упал, а ему почудилось, что оглох, ничего не слышит.

За окном дул ветер, сквозящие в листве солнечные блики дрожали на обоях, на акварельном портрете второй жены Каминского в костюме Дуняши.

— Он сильно ее любил, — сказала Зинаида Ивановна. — Она была талантливая актриса, красавица.

В ее голосе звучала сталь преодоленных сомнений, эхо давно угасшей ненависти. Вагин вспомнил, что о мужчине нужно судить по женщине, которая его любит. Со стены смотрела другая женщина. Нежное лицо с чуть заметными усиками, никаких бородавок. Волнистые темные волосы текут из-под шлема. Подруга Ивана Кольцо в сияющей кольчуге, с ним она и уходит на запад, где нет ни гармошек, ни частушек, а Ермак строит дом, берет удочку и садится на диком бреге водохранилища. В тишине под сенью березовых перелесков быстрее рубцуются раны. Уже идут репетиции, печатаются афиши. Неожиданно первый вариант отвергнут. Режиссер требует переделки, беглецы трубят в рог, взывая о помощи. Что там гремит рано пред зарею? Атаман заворачивает полки, сжимает перо, чтобы,

все простив, помочь попавшим в беду любовникам. Но кругом измена, испорчен компас, идут ко дну струги с верными товарищами. Воет, припадая щекой к абразивному кругу, турецкий кинжал. Дуняша накидывает на плечи шитую жемчугом кашемировую шаль. Ермака больше нет, все кончено, занавес. Вот о чем он писал! Эзопов язык уязвленного сердца, бедная тайнопись эпохи. Кто мы? Где мы? Куда бредем с мокрыми матрасами под барабанную дробь, в тумане? Чу! Прокричал испанский попугай, колокольчик звенит за метелью.

Внизу ослепительно блестело водохранилище, кричали чайки. Зинаида Ивановна указала на реденькую цепочку лодок, причудливо изогнувшуюся на воде примерно в трех сотнях метров от берега.

— Видите, рыбаки по старому руслу сидят. Тридцать лет как плотину построили, а настоящая рыба все там, на старом русле. Вроде ей теперь свобода, рыбе-то, жизненное пространство. Плыви, все горизонты открыты, но почему-то не плывет. Он этим фактом очень интересовался.

— Каминский?

— Да. Перед самой смертью и то спрашивал, где рыбаки сидят. Я говорю: "Там же, там же!". А он мне: "Что рыба, что человек".

Вагин снова придвинул к себе дневник, раскрыв его на последней странице. Здесь в две карандашных строки, выморочным расползающимся почерком написано было:

Колокольчик дин-дин-дин.

Слышу, духи понеслися...

Вагин поднялся из-за стола. Щеки горели. Он поблагодарил Зинаиду Ивановну, стараясь не встречаться с ней взглядом, и пошел к выходу. Ком стоял в горле. Две валькирии с зелеными волосами — жена и Зинаида Ивановна, брезгливо смотрели ему вслед. За спиной заливался колокольчик, звенел на ветру, отшумевшем тридцать лет назад, качался на тогда же сломанной ветке, под тенью синицы, спевшей свою жалкую песенку и замолчавшей, когда настала пора выводить птенцов. Не так ли и мы, люди?

Теща в палисаднике поливала цветы, сосед, проспавшись, заботливо отпиливал засохший сук на той самой черемухе, которую не далее как утром собирался извести под корень. Возле него копошилась Нинка, наполняла опилками кукольную посуду, чтобы варить из них суп для своих бесчисленных детей. До вечера Вагин, не разгибая спины, трудился в огороде, а за ужином теща вдруг сказала безразличным тоном:

— Почему бы вам не приехать сюда вдвоем?

Имелась в виду жена.

Это засело в нем, как пороховой заряд, но взорвался он позднее и совершенно по другому поводу — не то из-за узбекской мафии, не то из-за выгребной ямы, которую, как внезапно выяснилось, ему предстояло вырыть в следующий приезд. Вагин тут же решил ехать в город не завтра, а сегодня, быстренько собрался, поцеловал Нинку, на этот раз великодушно сохранившую нейтралитет, что было редкостью при его ссорах с тещей, и побежал к автобусной остановке.

Последний автобус отправлялся в десять вечера, но запаздывал. Вагин немного спустился по прибрежному откосу, закурил, настраиваясь подумать о Тане и заранее чувствуя, что сейчас не получится. Июнь, ночи светлые. Безмолвная чаша водохранилища лежала внизу. На том берегу тоже были деревни, доносило по неподвижной воде лай собак, и где-то в низовьях высоко стучала моторка.

В стороне слышались негромкие детские голоса. На скамейке, одним концом врезанной в ствол громадной плакучей березы, сидели двое: мальчик и девочка с пятнами зеленки на лице. Вагин узнал ее сразу. Он подошел ближе, прячась за кустами. Они его не замечали. Мальчик рассказывал одну из тех историй, какие Нинке строжайше запрещено было слушать. Повествовалось о том, как сумасшедший ученый в подземном бункере изобрел красную машину, механического монстра — похитителя детей, чьи родители работали в ночную смену. Машина привозила детей к нему в подземелье, там он брал из них кровь и откармливал ею крыс. Ученый хотел откормить миллион крыс, а затем выпустить в город, чтобы они всех позаражали какой-то холерой, но милиционеры ему помешали.

Мальчик замолчал, девочка спросила про участь тех мальчика и девочки, брата и сестры, с похищения которых, видимо, и начиналась история. Вагин понял, что эта девочка мечтает быть младшей сестрой этого мальчика. Она спрашивала про него и про себя: где мы? Живы ли? Сжалившись, рассказчик ответил, что в самой дальней комнате милиционеры нашли их полумертвыми от потери крови, но живыми.

Дождавшись счастливой развязки, Вагин хотел уйти, но мальчик услышал и посмотрел в его сторону. Девочка спросила:

— Кто там?

— Да этот, лысый. Утром-то базлал.

— А, зассанец, — вспомнила она и засмеялась.

Автобус уже подруливал к остановке. Через пять минут фонарь над ней шатнулся и вскоре пропал за гребнем бегущего вниз по угору вспаханного поля, отодвинулось водохранилище, повеяло трупным запахом пти-

цефабрики. Затем дорогу обступил лес, и сразу болезненно ощутился уют освещенного салона. Вагин покачивался на исполосованном ножами сидении, почти физически ощущая, как сжимается отведенное ему пространство жизни. А еще совсем недавно бывали с Таней такие дни, что, казалось, вот сейчас вздохнешь, и душа, чудесно расширившись в этом бесконечном вздохе, заполнит весь мир, как цыпленок, вырастая, заполняет собой яйцо.

На следующее утро, когда жена ушла на работу, а он завтракал один в пустой квартире, зазвонил телефон. Вагин подтянул шнур, поставил аппарат на стол и услышал в трубке быстрый голос Тани.

— Если рядом кто-то есть, — произнесла она заранее, видимо, приготовленную и отрепетированную фразу, — и ты сейчас не можешь со мной говорить, скажи: вы не туда попали.

— Вы не туда попали, — сказал Вагин и положил трубку.

Москва



Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

У Эвксинского Понта

Тут и Феодосия-голубка
гулит соль из прибережных чаш,
и на ощупь твердая Алупка,
и предатель родины Сиваш.

I

Весь воспаряющий над Черноморьем Крым
в заплатах дымчато-лиловых:
и дамы смуглые, берущие калым
с любовников бритоголовых,
и честно пашущий кораблик вдалеке,
уподоблённый блесткой точке,
где мака дикого на черепе-скале
оранжевые лоскуточки,
и камни пегие, подобно тушкам птиц,
и пляж с пьянчугой-красноярцем,
и пышный сосен мех длиннее игл и спиц
— над белой осыпью и кварцем.

Здесь снова испытать улыбчивый испуг
на циклопической ступени
тропой сыпучею — стопа в стопу
придут однажды наши тени.

II

Испарения ирисов, роз
и мираж аюдагского мыса.
Ливадийский бочоночный воск
опечатал врата парадиза.

И от йодистой знойной воды
манит тенью татарская арка.

Как обветрились у бороды
и в подглазьях морщины монарха.

Заломил, задробил соловей,
заглушая зазывное: "Ники!"
— относимое ветром *левей*
всей социалистической клики.

...Не задаром дарует Господь:
и на кортике крабью чеканку,
и лозу, и любезную плоть,
и у белого мола стоянку,
и грузинской дороги пенал,
и казачью Украйну воловью,
и Тобольск, и свинцовый Урал
с голубою емелькиной кровью.

III

В цепких объятьях глициний
спит Ливадийский дворец.
Особи лавров и пиний
возле татарских крылец
словно забыли с владельцем
свой погребальный союз.
Лишь студенистые тельца
прямо на гальку медуз
Понта Эвксинского качка
бросила в йодистый зной.

Это темна, как болячка
на локотке у родной,
роза в скорлупчатой чаще,
стриженной по окоём...
И августейшее — слаще
в смертном обличье своем.

IV

Пенистый малахит
в скальной оправе Понта
больно глаза слепит
вспышками горизонта.
Перебегая в тень,
стала от зноя слаще
вянущая сирень
в дикой приморской чаще,
что от татарских дуг
сонных манила новью
и — обернулась вдруг
белогвардейской кровью.

Конские черепа
скал высоки, отвесны.
В осыпь ведет тропа
прямо по краю бездны.
Грубый хитон, хитрец,
было надел Волошин,
сей любодей-истец
гладких морских горошин.
Но все равно слыхать
бойню чрезвычайки.
И перестав скучать,
падали алчут чайки.

V

В новосветской хибарке, дотоль
нежилой еще в этом сезоне,
под дождем, барабанящим в толь,
с паучком-паникером в ладони...

Сосен пушистых стая
сгрудилась над отвесной —

свечи в ветвях качая —
тайно манящей бездной.

Что если, прыгнув с ходу,
плавно на камни ляжешь,
перемогнув природу...
Что мне на это скажешь

ты, заслонясь враждою
к Новому Свету — раю?
Что за моей спиною
мне припасли, не знаю:

пайку ли на затравку
с проволкой на заборе,
или в ночи удавку,
или иное море...

Жертвенное нетленно.
Вещее многогласно.
Гибельное мгновенно,
ласково, безопасно.

VI

Милая по руке
хлоп! — как когда б отравлено.
За полдень в погребке
много чего оставлено.

Большому кургану сродни Митридат.
Коптится и вялится Керчь.
Товарок ее контрабандный наряд
и ныне способен зажечь.
А там — за проливом — невестится в рань,
вечор золотисто-грязна
над тускло-бутылочной гладью Тамань,
притон, арсенал и казна.

А Кафа бела на зеленой горе,
где тёмен изменчивый Понт
иль дымно-прозрачен, когда на заре
зазывно открыт горизонт.

Не думай, что это бесплотный мираж
забрезжил сквозь ветхую ткань:
из волн поднимается после пропаж
державная Тмутаракань!

1980

* * *

Добровольческий спелый
обреченный снежок.
Знать, у косточки белой
перед нами должок.

Потускнели медали
и потерся погон,
но уносится ялик
прямиком на Афон.

Там на пастбищах юга
круглый год сенокос
и светлее округа
от молитвенных слез.

Там прощаются долги.
Средь сокровищ иных
в темной ризнице — полки
с черепами святых.

...Нам чужого не надо,
мы пойдем прямиком
по следам продотряда
прямо в Иродов дом.

Покартавь с ходоками,
Ирод, как на духу.
Мы своими руками
из тебя требуху
.....
.....
В разоренные ясли
вифлеемской ночи
только иней на прясле
опускает лучи.

Надо пасть на колени,
чтоб к намоленной меди креста
где-нибудь на Мезени
примерзали уста.

1979, 1992

Осень в Скифии

Где Овидий, завидев, спешит из сторожки,
лавровишней венчанный бедняк,
для кормежки
блудных пляжных собак,
наклоняя повинно плешивое темя,
словно тем признаваясь легко,
что и в старческой темени скудное семя
ищет, где глубоко,

кто-то выпотрошил содержимое грозных
присмиревших валов:
с перламутром толченым ракушечник слезный
вместе ждут холодов.

Сколько нежности в том, что уже потеряло
право быть на виду,
испарилось, пропало
в баснословном году!

...Словно рядом стрекочет размытая лента,
уходя в пустоту,
и латентно
в темноте на свету
вижу пригоршни позеленевшей монеты,
тот кувшин, что распили вдвоем...
Драгоценная, где ты?
И Боспорского царства поделки — браслеты
всё ль тусклы на запястье твоем?

1987

Неотправленное письмо

Пишу, будто попусту брешу
про давние наши шу-шу,
как будто отправить депешу
тебе, задыхаясь, спешу.

Как в годы застоя, желанна
и в годы убойных реформ.
И розовый персик Сезанна
всё с той же неровностью форм.

За четверть без малого века
я, видимо, стал вообще
прохожим с лицом имярека
в потертом на сгибах плаще.

Тебе же дается по вере
все новую брать высоту,
ты там у себя в ноосфере
всегда на слуху, на свету.

Нам было непросто ужиться,
ведь жить — означает одно:
все глубже и глубже ложиться,
все глубже ложиться на дно.

...Когда же ты мысленным взором
прочтешь, изменяясь в лице,
о белого света и скором
и необратимом конце,

нахлынувший ветер своими
холстами тотчас
возьмется сырыми,
как мумий, спелёнывать нас.

1999

Крым
По памяти

...Там фосфоресцирует космос открытый
и с ним породненный прибой басовитый.

Под ситцем, готовым ожог холодить,
разлучниц тела не успели остыть.

Лабает с братвой безымянной джазбанды
небритый пахан на свету танцверанды,

то голову в плечи, то весь напоказ,
всю утварь ударных задействовав враз.

Зловеще, щемяще, таинственно, чудно
с иудиным цветом сошлись обоюдно

колючие розы в сплетенье срамном,
не ведая тоже, что будет потом.

1992

* * *

Помнишь — вроде котлована
капище в грозу,
в память Максимилиана
первую слезу...

Максимилиан Волошин,
киммерийский жрец,
сердоликовых горошин
любодей-истец.

Впрямь с мешком из-под картошки
схож его хитон,
по вискам волос сережки
треплет аквилон.

Гость, которого не ждали,
вновь пришел на свет
откопать своих сандалий
архаичный след.

Ту находку на сыпучей
тропке в свой черед
заждались в разбухшей туче
тонны пленных вод.
.....
.....
Ели крабов, крыли власти,
по лбу шла тесьма.
За столом кипели страсти
странные весьма.

На любительском спектакле
бесконечном том
как не спутать было паклю
с золотым руном?

И никто не знал, совея
от избытка муз:
Феодосия — Вандея,
столп — а не искус.

1977, 1992

Осень в Гурзуфе

К сентябрю от агитбригад цикад
остаются сущие единицы.
Их еще звучащие невпопад
хуже оркестрованы небылицы.
По утрам пугливые из засад
прилетают пегие голубицы.

Кто их знает, выбрали почему
лоджию моего вертепа.
Не любить тебя? Расскажи кому —
не поверят, хмыкнут: реликт совдепа.
Не любить тебя... как не пить в Крыму —
так же унизительно и нелепо.

Время, время, дотемна заолифь
в баре моря около в раме скверной,
где бежит волна на зубчатый риф,
разом и смиренницу, и инферно —
впредь недосягаемую Юдифь
кисти усмиренного Олоферна.

2001

* * *

Опасно гребущему против теченья
не верить в значение предназначенья.

Он всё, что поблизости и вдалеке,
не плотно, но жадно зажал в кулаке.

Видения потустороннего мира
пожутче заточек дантиста Шапиро.

А то поснимали в теньке пиджаки
и хавают ханку, галдя, мужики.

Зачем стихотворца будить на скамейке
ударом под дых, как бомжа в телогрейке, —

ему, наставляя в таинственный путь,
так много вложили в стесненную грудь.
.....
.....
В Тавриде спелее кизил на пути, и
еще родовитее из Византии

шиповник на склонах пригретых, пока
мгновенный потоп не вспорол облака.

Коснея в упрямстве своем торопливом,
не мни испугать меня скорым разрывом.

Как вихрь, пробежавший по водам, затих
я, медиум тайных движений твоих.

2001

* * *

Как услышу волну, увижу волну,
от ее тотчас задыхаюсь дыма,
словно тем беру на себя вину
за исход поверженных с рейдов Крыма.

Бесцветье глаз, смуглота висков.
Неутихающий скрип мостков.

Но приходит, видимо, мой черед
искать не ветра в открытом поле,
а ровным счетом наоборот:
преемника в потаенной доле

наследовать мне — беречь
волн и трапов двойную речь.

Москва

Из новых стихотворений

* * *

Эпоха уходит как поезд —
гремит и дымится.
И в окнах, как в рамах, по пояс
плывут очевидцы,
петлицами, лицами рдея
шинельного кроя, —
плывут — уплывают злодеи,
страдальцы, герои.

И все ликованья, рыданья
за три поколенья
отправились в область преданья,
затменья, забвенья.
И все заблужденья, исканья,
победы, невзгоды, —
в беззвучье, во тьму тараканью,
в бесследную воду.

Что ж делать? — на скудном подзоле,
на спуске, на склоне,
качались мы в общем позоре,
как в общем вагоне,
в том медленном, грязном, проклятом,
в бреду, в суматохе,
в пятьсот-развеселом, в двадцатом, —
в ушедшей эпохе.

Но в узком вокзальном ущелье
гудит вслед за нами
презренья, прощанья, прощенья
угрюмое пламя...
Еще б ему стыками хлопать,
наверстывать скорость,
и сеять над рельсами копоть,
и темень, и морось...

* * *

Улетайте, улюлю, улетайте, — с острова Врангеля через полмира перелетный след.
Подвернется попутный пассат — хватайте, ибо аэропортов нет, и отечеств нет.
Пропадите вы пропадом, Блерио и Ньюпоры, вертолеты Сикорского, Лещенки и журавли,
Ориентиры, придорожные знаки, пустынные сикоморы и зеленые пятна заливов внизу, вдали.
Улетайте в рассветы, в косые заряды тумана, в утренний ветер с невыходящим шасси,
Над хребтами прерывистой суши, над синей ордой океана,
Над акульими пастбищами, Господи упаси.
Нам нестанет горючего, крыльев, фюзеляжа и оперения, ибо аэропортов нет, а вода тверда,
Пристегните ремни, недописывайте стихотворение, улюлю, улетающие навсегда.
Туда, где темные водоросли Туамото из обломков слов склеивают разговор
черных ящиков самолетов на склонах подводных гор.

Одесса — Сидней

"Май, а жарко, как в июле..."

* * *

Первоапрельские шутки вполне
кажутся мне остроумными,
нравится пить мне вино наравне
со стихотворцами юными.

Девичьей туфельки острый носок
в сердце мое упирается,
Доброй Надежды как будто мысок
синей волной омывается.

* * *

Дождался наконец минуты счастья
и, вытянувшись в полный рост, уснул.
Чтоб в случае возможного ненастья
не утонуть, галоши натянул.

Садовая скамейка сучковата,
она слегка узка и коротка.
А если у тебя в руках лопата,
а если в них мотыга иль кирка!

Но сон на воздухе, на солнышке весеннем,
когда окончен непосильный труд,
невероятным кажется везеньем.
Друзья завидуют и с горя водку пьют.

* * *

Прислушиваясь к шороху шагов,
случается услышать крыльев шум.
От запаха домашних пирогов,
дотоле ясный, помутился ум.

Я Ангела размером с воробья
увижу вдруг на веточке в саду,
Господь пошлет за мною муравья,
чтоб отыскал мураш меня в аду.

* * *

Тот матерьял особой прочности,
что весь ушел на небосвод,
казалось мне, такой же в точности
скрывает выпуклый живот.

Надежно лоно материнское,
казалось мне, защищено,
от жара солнца палестинского
укрыто бережно оно.

Я принимал на веру разную
нелепицу про мир иной,
а он — под блузкою атласною —
внутри тебя, передо мной.

* * *

Больше нам разговаривать не о чем.
Что такое *суперфосфат*,
я забыл и кажусь тебе неучем,
только в этом я не виноват.

Вся вина на учителе химии!
Принужден я любимой соврать,
чтобы Пушкина светлого имени
без нужды лишний раз не трепать.

* * *

Сырым холодным утром хочется,
чтобы меня убили сразу,
не гнали, как разнорабочего,
чуть свет на овощную базу.

С подобной просьбой к Богу — совестно
соваться в светлые чертоги,
а к черту в пекло — как-то боязно,
боюсь, в смоле увязнут ноги.

Нет в царской милости сомнения,
но мы не вхожи в терем царский,
поскольку должного почтения
у нас нет к челяди боярской.

* * *

Мелькают вязаные чепчики,
как стаи рыбок под мостом,
как будто крошечные птенчики,
преследуемые котом.

Но если мы в одно мгновение
перенесемся вглубь веков,
увидим — на море волнение,
свет тусклый из-под облаков.

В глухом подлеске скачут ящерки
друг с дружкой наперегонки,
там треск стоит, как будто ящики
сколачивают мужики.

* * *

Снег сошел и тотчас стало ясно —
после нас осталась куча хлама,
так что личность темная напрасно
целый день в нем роется упрямо.

Сколько алюминиевых банок
нужно, чтобы самолет построить,
чтобы средь прекрасных бразильянок
человеку сердце успокоить!

Надоело в мусоре копаться.
Молча он садится на ступеньки,
а кому-то может показаться,
будто он встает на четвереньки.

* * *

Все сплошь банальности — и журавлиный клин,
и на ветру березовая роща.
К тому, что в целом мире ты — один,
должно быть, нужно относиться проще.

Не стоит на ночь глядя свет включать,
и привлекать к себе кровососущих.
Нам не пристало золотом бренчать,
тем самым оскорбляя неимущих.

* * *

Природа поднялась до уровня искусства,
скучны нам стали здешние холмы.
Принуждены от этого занудства
бежать с тобой под кров родимый мы.

И вот уже Москва передо мной в тумане,
как Китеж-град, всплыла из глубины.
Дай рубль взаймы мне, добрый горожанин,
давай гульнем по случаю весны!

* * *

Слоновьи в реке отражаются ноги
и панцирь большой черепахи.
На ветках сидят сизокрылые боги,
как будто небесные птахи.

Картинки, рисуемые подсознаньем,
лишь в мелких деталях разнятся,
когда мы ни свет ни заря — утром ранним
приходим на речку купаться.

Пока ты одежды с себя совлекаешь,
смиренно руки твоей жду я,
но прежде ты губы свои подставляешь
охотно мне для поцелуя.

* * *

Разбухает сердце, как горошина,
потому ли, что пора настала, —
будет мое сердце в землю брошено,
чтобы новой жизни дать начало.

Я талант свой в почву плодородную
рано или поздно, но зарою,
и составлю славу огородную
дачному поселку под Москвою.

Завтра Духов день, а нынче Троица.
Убедившись, что пустил я корни,
можешь за меня не беспокоиться.
Спать ложась, на окнах тюль задерни.

* * *

День понемногу начал хмуриться,
а вскоре капли дождевые,
огромные, как лапы курицы,
перекопают мостовые.

Дружок мой, закатавши брючины,
вброд перейдет ручей холодный,
и я замечу палец скрюченный,
как будто кран водопроводный.

* * *

Лупят, как по воробьям, из пушки
по протонам с электронами,
а у нас качаются макушки
сосен с горестными стонами.

Некуда крестьянину податься.
Может быть, из суеверия,
но, едва начнет смеркаться,
положу топор у двери я.

* * *

Почище камышовой дудки
влекут нас жаркие объятья,
тугие крохотные грудки,
пробившиеся из-под платья.

Вода дошла до подбородка,
боюсь слегка пошевельнуться.
А если поманит красотка,
рискую вовсе захлебнуться.

* * *

Сумасшедшая любовь мне больше нравится,
чем текущий кран водопроводный,
чем сантехник, что вот-вот в дверях появится,
как всегда, холодный и голодный.

Лучше целовать тебя мне в губы алые.
Чем смотреть, как мне он корчит рожи,
лучше буду рвать цветы я запоздалые,
что, конечно, не одно и то же.

* * *

Впал в смертный грех — унынью предался,
когда однажды раннею весною
у пойманного мною карася
чужой крючок нащупал за щекою.

Обломок рыболовного крючка —
на самом деле это только повод,
причина глубже — в теле червяка,
который на стальной крючок наколот.

* * *

Как перед Ангелом с небес
сошедшим, богомол на грядке
от страха умер, но воскрес,
и в лес умчался без оглядки.

Умерших к жизни возвращать
есть, без сомнения, — дар Божий:
весною розы оживлять,
в мороз прикрытые рогожей.

* * *

Жизнь вдохнувший в швейную машинку,
мастер полагает, что он Бог,
так как неисправную пружинку
заменить на новую он смог.

Он глядит во тьму из-за прилавка,
глубоко откинувшись назад,
перед ним букашка и козявка,
онемев от ужаса, стоят.

Тихо наши крылышки трепещут.
Из окон струится тусклый свет,
несмотря на то, что звезды блещут
в окруженьи множества планет.

* * *

Ухо приложив к груди моей,
музыку услышать можно разную,
грустную и чуть повеселей,
но безумно пылкую и страстную.

Возятся с больными доктора
исключительно из милосердия,
у кого-то в голове — дыра,
в бренном теле — лишние отверстия.

Надо мной склоняются врачи,
для того чтоб лишний раз к прекрасному
приобщиться.
Лампы жгут в ночи,
месяцу не доверяя ясному.

* * *

На солнце и ветру твое лицо
чуть заострившись, стало тоньше прежнего,
недаром, утром выйдя на крыльцо,
тебя я принял за зверька потешного.

Смущало лишь отсутствие хвоста,
но не придал я этому значения,
как если б ослепила красота,
намеренно меня лишила зрения.

* * *

В Ангеле небесном усомнился,
посчитав, что я неуязвим,
но тотчас сучок в меня вонзился
острием заточенным своим.

Битый час над раной колдовала
в спальне медицинская сестра.
Иногда на крик мой прибегала
жадная до зрелищ детвора.

Те, что посмелей, вставали рядом,
мне в глаза стараясь заглянуть.
Было страшно весело ребятам.
Только больно не было ничуть.

* * *

Жаль, что поделиться было не с кем.
Но когда со станции я шел,
зайца, повалив ударом резким,
краснохвостый оседлал орел.

Одиночеством я тяготиться
начал больше прежнего, когда
закричавшая во мраке птица
вдруг умолкла раз и навсегда.

Я бы мог довольствоваться малым —
кружкой пива, парой сигарет,
если б я от жизни был усталым,
как ужасно старый-старый дед.

* * *

Сперва я прожил жизнь свою
и с чувством удовлетворения
поспешно взялся за твою,
не дожидаясь позволения.

Я настежь распахнул окно,
поскольку знал на личном опыте,
как страшно, сыро и темно
бывает утром в спальной комнате.

* * *

На рассвете, завернувшись в одеяло,
наблюдать, как проплывают облака,
разве этого для счастья так уж мало,
если нет вина и табака?

Бутерброды с колбасой не представляют
интереса для таких людей, как я,
если даже колбасу изготовляют
из высокосортного сырья.

Нынче чайным чашкам на столе не место.
Ветер дунет — станут чашки дребезжать.
От испуга в темноте моя невеста,
завизжав, полезет под кровать.

* * *

У нас несметное богатство
есть в частной собственности — сад.
Свобода, равенство и братство
тут на поверхности лежат.

Тут все принадлежит народу,
который составляем мы.
Мы пашем, сеем, носим воду
и жжем костры среди зимы.

Назло фашистским оккупантам
мы поднимает красный флаг.
Люблю ходить в петлице с бантом,
сорвав на клумбе алый мак.

* * *

Солнце по щекам у нас струится.
Мы надели золотые маски.
Словно Царства Древнего царица
юному царю, ты строишь глазки.

Молод царь, совсем еще ребенок.
Он спросонья щурится от счастья,
поутру мурлычет, как котенок.
У него особые пристрастья.

Нежные, как девичьи подмышки,
во дворце по саду бродят звери.
Леопард рычит.
Визжат мартышки.
Слон ушами шевелит в вольере.

* * *

Я пробирался дебрями глухими.
Вокруг меня клубился мрак кромешный.
Вода сошла, был сучьями сухими,
как будто бы костьми, усеян луг прибрежный.

За окуньком погнавшаяся щука
внезапно взмыла над водой, как птица,
но не хватило рыбе силы духа,
чтоб в самом деле в птицу превратиться.

Ее полет продлился лишь мгновенье,
но за глаза мне этого хватило,
чтоб убедиться — рыбье оперенье
действительно на птичье походило.

* * *

Я до ужаса боялся темноты,
паука, сидящего на потолке,
что смотрел на нас с огромной высоты,
словно вождь, стоящий на броневике.

Злобно пялился на нас он сверху вниз.
Дико маленькими глазками вращал.
Проповедуя научный коммунизм,
криком на рабочих и крестьян кричал.

* * *

Я кормлю тебя плодами
своего воображения —
хлебом, булками, тортами.
Не скуплюсь на угощения.

Я сижу верхом на стуле,
обхватив руками голову.
Май, а жарко, как в июле.
Пыль летит по полю голому.

2010

Москва



...приметы осени, предчувствие зимы

1

Тоска по осени...
цыплят уже считает ветер,
и щиплет сладостно в носу от огуречных специй...
трава топорщится, звезда в морском рассоле
сгущает сумерки... С высоких антресолей
летит уборщица...
и в кресла падает веселой головой —
ей не впервой.
Так разбивается о землю акростих,
который совершенства не достиг.
Так школьник учит стих:
от сих до сих...
Так слово разбивается на слоги,
и тихо бьет закат в небесные чертоги.
...Река холодная не дышит, не бежит.
И шмель задумчивый, и червь обыкновенный
вползают медленно в цветок окровавленный.
И долго одинокий лист дрожит,
на пасмурном ветру как на краю Вселенной...

2

в лесах, лишенных злобы и вражды,
идут грибные тихие дожди.....
...предутренний туман над озером клубится.
Уже октябрь заносит, как убийца,
серп месяца над соснами в траве.
И так бледны в зеленой мураве
грибов испуганные лица...
Зима мерещится... и старый пчеловод
уже глядится в бездну вод

и скоро узнает,
какие новости в районе и в столице...
Уже летят на юг встревоженные птицы,
уже оплакала свою красу
Алсу
в родном лесу.....
Уже завершены
грибные и кровавые набеги,
и паутина тянется до Веги.
И дети женами заражены
(и в собственных правах поражены).

...Выходит из дому задумчивый сосед —
и смотрит детям вслед....

* * *

Дождям приедается капать
об этой осенней поре.
Там ходит простуженный папа,
и кашляет кот во дворе

Погода испортилась за ночь,
Задернуты шторы в Кремле.
"Зачем ты, Василий Иваныч
Чапаев, гуляешь во мгле?"

Затем, что горячее лето
улиткой свернулось в дубах.
Уже продаются билеты
на осень в стеклянных гробах.

Подпорчено что-то в природе.
Туманится месяца лик...
Навстречу неясной погоде
несется безумный комбриг.....
.....
Урал, Урал-река
блудлива и глубока...

Осень... (версия 2)

Трезубцы осени...
листва по городу летает.
Борей испуганно календари листает.
Дымится Босния, Герцеговина-Флор.
Сверкает Бельгия, бесчинствует Босфор
(и смотрит яростно на Бисмарка в упор...)
Там золотится рожь, там голубеет небо,
там спикер говорит парламенту: "не треба!"
.....
там, родину в упор не видя и не глядя,
вповалку спят ослы,
детдомовцы и бляди.
Тоска по осени...
рвет провода восточный ветер,
страна осенняя — одна на белом свете.
Там до сих пор в руке
дымится "Беломор",
там в каждом пареньке
таится грустный вор...
Там курит трубочку медлительный генсек,
валяет дурочку известный гомосек,
и рубит тумбочку опальный дровосек
(лесоповал — мне друг,
но враг полей и рек)
Трава измучена, река зализывает раны,
и пляшет кришнаит
в предчувствии нирваны.

2

...Спецназ по осени уже людей считает,
по пням, по сосенкам
страна прогноз читает.

Там дети курят травку втихаря,
там звезды падают в холодные моря
и избы светятся
в преддверье января...

4
что остается...

...в лиловых сумерках ржавеющая гроздь
застрявшая в небесном горле кость
летающая пушкинская трость
и дуэлянтов призрачная злость

поэзии таинственная власть
возмездия завистливая страсть
за картами — спасительная масть
(там можно мстить —
и если мстить, то всласть!)

но пенсии пронзительная весть
и родины поруганная честь —
поэзии смирительная грусть
и чтение Заветов наизусть...

* * *

зеленый Бродский, синенький Монтень,
белеет Пушкин, пожелтел Сенека...
все книги восемнадцатого века
уходят в перепончатую тень

где дон Сервантес, без руки, калека,
какую-то там пишет дребедень,
тень наводя на рыцарский плетень, —
и до сих пор в лесах идет охота
на чудака с копьем, на дон Кихота...

...В плену листвы,
в тисках ночного ветра
Сервантес дон Мигель де Сааведра.

На остановке…
(фрагмент)

ранней весной озябшая до слез, до синевы,
стояла на холоде дева в ожидании трамвая,
в одних трусиках...
мне чудилась ледяная купель и озябшее дитя.
Я видел розовые пупырышки на ее икрах,
где играла кровь, как на бойне...
Она была готова окунуть трепещущие голубые соски грудей своих,
набрякших от неопытности,
в звездный раствор воздуха.
Она была готова расплескаться на моей смуглой грудной клетке,
где большими глотками
жадно проглатывало мою кровь
готовое к обмороку сердце...
Драматично было мое положение.
Только уверенность в божественности моего прикосновения
позволит мне прикоснуться к ней.
Я прикоснулся.
Эта секунда решила все.
— Вы ждете автобуса? — спросила она,
и влажная розовая гортань
показалась за ее словами внутри...
— О да, я жду автобуса!
.....

Одесса — Потсдам



Евгений СОЛОНОВИЧ

Господин Гоголь сказал мне...
Римские сонеты Джузеппе Джоакино Белли

В Интернете, где, как уверяют, можно найти все (моя практика, к сожалению, это оптимистическое утверждение нередко опровергает), Джузеппе Джоакино Белли (1791-1863) занимает значительно более скромное место, чем его однофамильцы и однофамилицы, юридический термин "казус белли" и фильм того же названия, одноименная технология наращивания волос ("Белли капели"), не говоря уже о белли-дэнсе или дансе (танце белли). Спускаешься ступенька за ступенькой по лестнице файлов, и становится обидно за поэта, высоко оцененного Гоголем, когда об авторе сонетов, написанных на римском диалекте, еще не знали ни в одной из тех стран, где мода на Италию утвердилась задолго до Байрона, Гете, Стендаля. "Господин Гоголь, — вспоминал знаменитый французский критик и поэт Шарль Огюстен де Сент-Бёв, — сказал мне, что нашел в Риме истинного поэта, поэта народного, по имени Белли, который пишет сонеты на транстеверинском наречии — сонеты, следующие один за другим и образующие поэму. Он говорил мне подробно и убедительно о своеобразии и значительности таланта этого Белли, который остался совершенно неизвестен нашим путешественникам". Своей "находкой" Гоголь поделился с Сент-Бевом летом 1839 года на пароходе, плывшем из Чивитавеккии в Марсель, а весной года предыдущего в письме из Рима Марии Петровне Балабиной он спрашивал свою бывшую ученицу: "Знакомы ли были вы с транстеверянами, то есть жителями по ту сторону Тибра, которые так горды своим римским происхождением?". И продолжал: "...вам, верно, не случалось читать сонетов нынешнего римского поэта Belli, которые, впрочем, нужно слышать, когда он сам читает. В них, в этих сонетах, столько соли и столько остроты, совершенно неожиданной, и так верно отражается в них жизнь нынешних трансте веверян, что вы будете смеяться, и это тяжелое облако, которое налетает часто на вашу голову, слетит прочь вместе с докучливой и несносной вашей головной болью. Они писаны in Lingua romanesca[1], они не напечатаны, но я вам их после пришлю".

Слышать чтение Белли Гоголь мог в салоне Зинаиды Волконской, где бывали, приезжая в Рим, Мицкевич, Жуковский, Вяземский и многие другие знаменитости (одно время Белли жил в том же доме, палаццо По-

[1] Римское наречие (итал.)

ли, торец которого стал в свое время задником фонтана Треви, одной из главных достопримечательностей Вечного города). Безошибочность впечатления Гоголя от авторского чтения сонетов подтверждается свидетельством итальянца Доменико Ньоли, первого биографа поэта: Белли редко случалось "уйти из гостей, не прочитав что-нибудь из своих римских сонетов, и он <...> выбирал обычно наиболее невинные среди тех, какие помнил наизусть. Надобно сказать, что его сонеты, которые он читал негромко, с чистейшим транстеверинским выговором, с самыми разнообразными оттенками и тончайшими модуляциями голоса, выразительно поднимая и опуская брови, приобретали яркость, неповторимую при чтении глазами или постороннем чтении вслух".

Джузеппе Франческо Антонио Мария Джоакино Раймондо (под таким именем его крестили 12 сентября 1791 года в римской базилике Сан-Лоренцо ин Дамаско) Белли пишет первые стихи в четырнадцать лет (октавы на литературном итальянском языке о сельской жизни и — также по-итальянски — сонет "На могиле монарха"). В 1811 году его принимают в Академию эллинов, в которой он со своими гладкими итальянскими стихами, свидетельствующими об основательной поэтической культуре, не выделяется на общем фоне: талант решительно заявит о себе позже, в тридцатых годах, когда коллективным героем поэта станет римское простонародье. В 1837 году, то есть к тому времени, как с ним мог познакомиться Гоголь, были написаны уже 1950 из 2279 сонетов на диалекте. С самого начала римские сонеты виделись автору будущей книгой, на что указывает его "Предуведомление", в окончательном варианте сложившееся в 1831 году. "Я решил оставить памятник тому, что представляет собой сегодня римское простонародье", — этими словами открывается "Предуведомление", содержащее, в частности, подробные правила произношения отдельных слов и звуков, характерных для речи "транстеверян". Поэт-филолог, Белли с высочайшей степенью правдоподобия зарифмовывает речи, "подслушанные" на улице и в трактире, в церкви и в доме бедняка, богача, прелата, на кладбище и за "особенной дверцей", через которую к папе проходят с докладом шпионы. "Я" в римских сонетах — это "я" их героев, слуг и служанок, мастеровых, кучеров, могильщиков, поваров, половых в тратториях, лавочников и покупателей, солдат и блудниц, сплетниц и сплетников, обращающихся к себе подобным или рассказывающих о себе подобных. Что ни сонет, то сценка, театр, чаще всего — одного актера. Поэт решительно отвергает обвинение в том, что он скрывается "лицемерно под маской простолю-

дина", чтобы "наделить его *своими* сентенциями и *своими* принципами". Он его пародирует.

Рим Белли — это столица теократического, "стоячего", по определению Гоголя, государства, где не только духовная, но и светская власть принадлежала папе, и антиклерикализм поэта следует, прежде всего, расценивать как бунт против тоталитарного государства церкви, против ее засилья. То, что герои Белли уделяют много внимания представителям духовенства, не случайно: приблизительно на 165 тысяч римлян приходилось в ту пору 49 епископов, 2968 священников, 1500 монахинь, 3110 монахов. А кардиналы? А папа? Кстати, на годы жизни Белли пришлось шесть пап, и нет ничего удивительного в том, что в словаре римских сонетов слово "папа" занимает по частоте употребления второе место.

Если итальянские стихи Белли благополучно издавались, его римские сонеты ходили в списках или смачно декламировались их же героями, включая лиц духовного сословия: при жизни Белли с ведома автора был опубликован всего один сонет и около двух десятков напечатали без его разрешения в искаженном виде[2] (не говоря уже о том, что за его стихи нередко выдавались вирши, ему не принадлежавшие). Поэт с болезненной придирчивостью относился не только к каждому слову, вышедшему из-под пера самозваных переписчиков или увидевших свет по воле недобросовестных издателей, но и к чужому чтению вслух его сонетов. Может быть, и по этой причине, а не только из нежелания иметь дело с цензурой, он 19 августа 1837 года, составляя "распоряжения" на случай смерти от пришедшей на берега Тибра холеры, пятнадцатым пунктом указал: "У синьора Доменико Бьяджини находится ларец, полный моих рукописей. Их надлежит сжечь". Это волеизъявление могло бы показаться случайной прихотью или, хуже того, кокетством, если бы оно не занимало место среди такого рода предписаний: "13. Некоему Карлино Пьери, башмачнику, который одно время держал лавку на виа делла Кроче, супротив палаццо Понятовский, нужно будет отдать один скудо, цену пары башмаков, каковую, мне помнится, я ему не заплатил".

На то, что Белли недооценивал возможностей "самиздата", указывает не только пример Гоголя: когда знаменитому итальянскому революционеру Джузеппе Мадзини в Лондоне, где он жил в эмиграции, попал на глаза

[2] В письме составителю подарочного альманаха на 1885 г. Белли возмущается: "...вы решили, будто сделали доброе дело, напечатав без моего ведома на с. 105 несколько моих стихотворений на народном наречии и указав, что они не изданы. <...> Никто никогда не просил у меня эти стихи: никому никогда я их не давал; и более того, могу прямо заявить, что я никогда их не писал, настолько они исковерканы в вашей книге...".

сонет "Собачья жизнь", он поспешил собственноручно переписать его и отправить единомышленникам в... Италию.

Знакомство Гоголя с сонетами Белли должно было произойти в пору увлеченной работы над "Мертвыми душами". Гоголь влюблен в Рим, и понять, чем дышит современный Вечный город ему, в частности, помогают вдохновители "памятника римскому простонародью", которым вскоре суждено украсить повесть "Аннунциата", впоследствии напечатанную под названием "Рим". "Существователей он находит и здесь, — отметит век спустя В. Гиппиус, автор книги "Гоголь", — но рисует их юмористически, хотя и безобидными чертами — аббат, любитель покушать; итальянские синьоры, любительницы посплетничать; наконец Пеппе, мечтающий разбогатеть, — все это отклики как прежних типов Гоголя, так и одновременно создававшихся Собакевича, губернских дам, Чичикова". Гоголь описывает Рим так же прилежно, как губернский город NN в "Мертвых душах", приглашая читателей заглянуть "в одну из тех отдаленных улиц, <...> где со всех сторон несутся речи и переговоры. Тут все откровенно, и проходящий может совершенно знать все домашние тайны; даже мать с дочерью разговаривают не иначе между собою, как высунув обе свои головы на улицу. <...> Едва только блеснет утро, как открывает окно и высовывается сьора Сусанна, потом из другого выказывается сьора Грация, надевая юбку. Потом открывает окно сьора Нанна. Потом вылезает сьора Лучия, расчесывая гребнем косу; наконец сьора Чечилия высовывает руку из окна, чтобы достать белье на протянутой веревке. <...> Тут все живо, все кипит: летит из окна башмак с ноги в шалуна сына или в козла, который, подошед к корзине, где поставлен годовой ребенок, принялся его нюхать и, наклоня голову, готовился ему объяснить, что̀ такое значат рога. Тут ничего не было не известного: все известно. Синиоры все знали, что ни есть: какой сьора Джюдита купила платок, у кого будет рыба за обедом, кто любовник у Барбаручьи, какой капуцин лучше исповедует".

В июле 1838 года известная актриса Амалия Беттини писала Белли: "И когда же Вы решитесь порадовать своими стихами всю Италию? Почему Вы не соберете их в книгу? Только не говорите мне, будто многие сонеты запретят печатать: их и после этого останется достаточно для того, чтобы доставить удовольствие всей Италии".

Выбирая сонеты Белли для этой публикации, переводчик взял на себя смелость включить в их число и толику тех *многих*, которые имела в виду итальянская актриса.

Москва

Сонеты

Канцелярии

Такое время, доченька, настало,
Что жалости нет в людях ни на грош.
Кто их подмаслит, гадов, тот хорош,
А ты хоть помирай, им дела мало.

Я взад-назад ходить уже устала,
Кажинный божий день одно и то ж,
Гоняют: завтра утречком придешь,
Я прихожу — и все опять сначала.

Я всех святых на небе допекла
Молитвами — зря тужилась, кулема,
Ничуть не продвигаются дела.

То вышел человек, то нет приема,
То рано, вишь, то поздно, вишь, пришла.
Коль не нужда, я бы сидела дома.

Один лучше другого

Я с Толстопузым, Отченаш, Горбун,
Вшиварь, Лунатик, Живоглот, Свербило,
Лопата, Рыжий, Требуха, Типун,
Дермафродит, Удавленник, Громила,

Кат, Облупало, Горлохват, Дристун,
Пупок, Бобыль, Мотня, Сипатый, Шило,
Упырь, Баклага, Камбала, Лизун,
Задрыга, Попугай, Паникадило,

Тать, Кривопис, Иуда, Скопидом,
Шиш, Чебот, Вырвиглаз, Гонимонету,
Кобель, Затычка, Сводник, Костолом —

Счастливчики, которым равных нету, —
На площади пред Святым Петром
Впряглись намедни в папскую карету.

Маленькая слабость

А знаешь, после Папы и Творца
Что мне всего милей на свете? Бабы!
Но чур, чтобы не кривы и не рябы,
Хотя и впрямь не воду пить с лица.

Могу поймать любую на живца,
Со мной из тыщи каждая легла бы,
Перед таким, как я, красотки слабы, —
Кто-кто, а я мастак пронзать сердца.

Красавицы, одна другой почище,
Испробовали эту чехарду,
Да вот тебе и списочек, дружище:

Замужних — сорок, непорочных — восемь,
Вдовиц — двенадцать. Кто на череду?
Чего гадать? — давай у Неба спросим.

Красавица из Трастевере

"Красивше ваших глаз нет в целом свете!" —
Все зря. У ней характер не таков,
Чтобы чуток смягчиться. Ох, уж эти
Гордячки! Их тошнит от нежных слов.

Куда я лезу, если на примете
Она имеет мужа из графьев?
Такая ведь не станет штопать сети
И ждать, какой я принесу улов!

Шармант, — небось сказали бы в Париже,
Но нам свое, родное слово ближе:
Красавица. Недаром сохну я.

Ей-богу, не годятся ей в подметки
С подложенными титьками красотки
И задницами из горы тряпья.

Грехи любезны доводят до бездны

Что, в Риме потаскуху не найти?
Зачем тебе искать подстилку в Гетто?
Неужто христианок нет на это?
Ну как ты до такого мог дойти?

Ты восемь римлянок из десяти
В кровать положишь за один папетто,
А то и меньше, и, глядишь, монета
Поможет душу грешную спасти.

Как ты крещеный, не ищи лазеек,
Христианин не должен драть евреек,
Негоже забывать про Божий гнев.

Веди себя, как следует крещеным,
Коль помереть не хочешь отлученным,
Дожить до юбилея не успев.

Работа

Еще чего, милейший, не хватало!
Работать? Нет, я не такой дурак!
Как это втолковать тебе? Ну, как
Еще сказать, чтобы понятно стало?

Напившись и наевшись до отвала,
На солнышке попробуй не приляг,
А ежели ты вовсе натощак,
Где силы взять, когда и так их мало?

Вон как попы относятся к труду!
Вели попу работать, он опешит:
Мол, что ты говоришь за ерунду!

В раю любой себя бездельем тешит:
Святая чешет целый день п...ду,
Святой с утра до ночи яйца чешет.

Гарантированное замужество

Коль замуж, Роза, выскочить невмочь,
Раскинь мозгами, почеши макушку,
Рим — это Рим, так что готовь ловушку,
Все делай, как скажу тебе, точь-в-точь.

Ты правда мужа заиметь не прочь?
Тогда под платье запихай подушку
И в церковь дуй, бери попа на пушку:
"Прошу вас честной девушке помочь".

Священник спросит: "Дочь моя, в чем дело?"
А ты заплачь: "Он девственности, гад,
Лишил меня, и я затяжелела".

И, главное, не упускай удачи,
Вали не на любого наугад,
А на того, который побогаче.

Новый шарлатан

Слыхать, что в Риме объявился вдруг
Приезжий зубодер, ученый знатно, —
Из Вены сам, столицы всех наук,
Так что ученость, в общем-то, понятна.

А руки — мягче не бывает рук!
Он в рот залазит, а тебе приятно.
Кому зараз он вырвет десять штук,
Одиннадцатый зуб дерет бесплатно.

Еще снабжает чуть ни задарма
Он жидкостью, пользительной весьма
При встрече, так сказать, с копытом мула:

Мол, безотказно помогает всем
Глоток или примочка перед тем,
Как бешеная тварь тебя лягнула.

Сама любезность

Приятное сказать — уменье надо,
Равняться в этом с ней кишка тонка,
Слова слетают сами с языка,
На сколько хочешь, хватит ей заряда.

Глядит тихоней, а на деле рада
Чего-нибудь сморозить с кондачка.
Ты плоская, допустим, как доска,
А по ее словам, ты толстозада.

Намедни у Чечилии в гостях
Синьоре Тэте эта дура — бах,
С елейным видом в разговор вступая:

"Какая дочь красавица у вас,
Ни у кого таких красивых глаз!" —
А дочка-то, представь себе, слепая!

У зеленщика

И это называется салата
На два байокко? Нет уж, извиняй!
Скажи, ты часом не рехнулся? Я-то
В своем уме. Не стыдно? Ай-ай-ай!

Через тебя, жадюгу, супостата,
Хозяйка мне устроит нагоняй:
Для этих денег кучка жидковата,
Добавь еще, не обеднеешь, чай.

Скажи, какая муха укусила
Тебя, родимый? Слышал, я просила
Не на один байокко, а на два?

Дерут, как будто нынче не простая
Трава у них у всех, а золотая, —
Где-где, а здесь они хозяева̀.

Опаска не повредит

В сухой денек при виде круглой лужи
На улице, знай, это не вино,
А кто-то взял и выпростал в окно
Горшок с мочой — спасибо, что не хуже!

Беги оттуда поскорее, друже,
Ведь на башку тебе не мудрено
Ополоснуть горшок — чистюль полно,
Им хорошо внутри, а ты — наружи.

Там, где урыльник вылили уже,
Есть все равно опасность от хожденья,
Так что, Джованни, будь настороже.

Но там, где сухо, людям хуже вред,
Поскольку лужа вроде упрежденья,
Которого на чистом месте нет.

Сходства

Граф — длинный, мой хозяин — коротышка,
Хозяин — лысый, граф — наоборот,
Тут толстые что щеки, что живот,
А там ни капельки, ни грамма лишка.

Тот шустрый, а у этого задышка,
Зовут Томмазо этого, а тот
Зовется Джорджо. Просто смех берет:
Мой с виду старикан, а граф мальчишка.

Но ты дослушай, Анна, до конца:
При этом все равно они похожи —
Ни дать ни взять два брата-близнеца,

Поскольку, доложить тебе должна,
В хозяйкину постель обои вхожи,
И, верь не верь, их путает она.

Собачья жизнь

Сказать про Папу "лодырь", сучьи дети?
Вообразить, что он баклуши бьет?
Аль не у Папы полон рот хлопот?
Не он не знает отдыха? Ответьте!

Кто с Богом говорить не устает?
Кто отпускает все грехи на свете?
Кто тащится по улицам в карете,
Чтоб на ходу благословлять народ?

Кто денежки считает на ночь глядя?
Кто раздает доходные посты?
А кто налоги назначает? Дядя?

А кто, кто целый год ломает спину —
Рвет жалобы и рваные листы
Бросает в ненасытную корзину?

Выборы Папы

Да, я стекольщик, да, я шляпа шляпой,
Я олух, я болван, но кой-чего
Смекаю, не смотри, что сиволапый,
Мерекаю не хуже твоего.

Взять Папу. Кардиналы тихой сапой
Кумекают промеж себя, кого
Счесть самым-самым, чтобы выбрать Папой,
И часто выбирают не того.

Хоть раз на стороне найти могли ведь
Кого-то, чтобы толк в работе знал,
Простого человека осчастливить.

Что им мешает? Скажем, я вставляю
Стекло, тут прибегает кардинал:
"Тепереча вы Папа, поздравляю".

22 декабря 1834

Кузнец

Жена и две сестры, и три малютки —
И все на мне, один кормлю семью,
Весь день кую, чуть на ногах стою,
А чтоб передохнуть, так это дудки!

Хоть не присяду и на полминутки,
И на тридцатку в день не накую,
Пропил бы с горя выручку свою,
Но дома ждут голодные желудки.

Комедь и только, — правда, сор Винченцо?
Кому-то все, кому-то ничего,
Такие получаются коленца.

Ты гнешь хребет, а кто-то на бумажке
Чирк перышком, и тут же у него
Все, что угодно, — тут же, без затяжки.

26 декабря 1834

Счастливая женщина

Как я сыта, одета и обута,
Все думают — счастливая жена,
А мне дак хоть бросайся из окна,
Нет сил терпеть. Реву, что ни минута,

Со стороны все хорошо как будто,
Другим другая музыка слышна,
И то, что дудки две, а не одна,
Не так-то просто объяснить кому-то.

Своими фокусами он, чума,
Извел меня вконец. Так неужели
Не лучше смерть? Да я свихнусь, кума!

Сказать, как ночью он себя ведет?
Придумал, чтобы я при этом деле
Его пускала через черный ход.

25 апреля 1835

Ревнивый как зверь

Да, я ревнивый, да, я не умею
Не ревновать, да, я не сплю, не ем,
Представлю, как ты с этим или с тем
Водила шашни, дрянь, и вмиг зверею.

Не думал, что так быстро надоем.
К кому ревную? К сбиру, к брадобрею,
К Косому, к свояку, к попу, к еврею,
К собаке, к кошке, сам к себе, ко всем.

У вас, у баб, стыда ничуть, ни крошки, —
Всех мужиков должны в себя влюбить,
В ста стременах держать хотите ножки.

Не брезгуете ни молокососом,
Ни стариком, — на то и бабья прыть,
Чтоб всех завлечь и всех оставить с носом.

27 апреля 1835

Торговец табакерками
1

Чтоб табакерку выбрать без промашки,
Как эта, нужен наторелый глаз:
Заморский корень, уверяю вас,
Не каждый отличит от деревяшки.

Вам повезло, вы родились в рубашке,
Такой товар бывает редкий раз.
Замочек, говорите? А сейчас?
Ну, вот, а вы ругать с бухты-барашки.

Опять чуток заело? Пустяки!
Купите, я вам время дам для пробы,
Терпенье любят новые замки.

Берите, пользуйтесь. Какой там брак!
Возьму ли я назад? Возьму! Еще бы!
Я тут, на месте, ежли что не так.

10 февраля 1837

Торговец табакерками
2

Я вас не знаю. Купют где попало,
А отдавать назад ко мне бегут,
И я у них, выходит, надувала,
Доказывай тогда, что ты не плут.

А табакерочка, небось, упала
И повредилась. Тут все дело, тут!
Укупют дорогую вещь сначала
И рады, а потом не берегут.

Никто не виноват, что вы забыли
Проверить все. Куда смотрел синьор?
Ругают нас, а сами простофили.

Изъянец налицо, оно понятно,
Но где вы слышали про уговор
То, что ушло из лавки, брать обратно?

10 февраля 1837

Хозяйка выбирает туалет

У них совет: она и Петронилла.
Комедь кого угодно рассмешит.
Сюда булавку, чтоб красиво было,
Да не сюда, чтоб не испортить вид.

Чуть что не так, хозяйка рот скривила,
Не канарейка, в желтом не хотит,
Зеленое сняла — оно бледнило,
Одела белое — оно толстит.

Кабы не черный цвет, так сбилась с толку,
А черный цвет худит и тем хорош,
Хоть шерстяное платье, хоть из шелку.

Да ладно. Сколь по лбу себя ни хлопай,
Ни в жисть такое платье не найдешь,
В котором жопа не была бы жопой.

26 марта 1837

Гордячка

Пусть катится, черт с ним, не пожалею.
Надумал бросить? Пусть, мне все равно.
Не утоплюсь, не выброшусь в окно,
Не отравлюсь ему на радость, змею.

Пусть на бегу себе сломает шею,
Я не держу его. Аль заодно
Во всех трактирах кончится вино?
Да хоть бы на бегу сломал он шею!

Ты говоришь, он это спьяну, да?
Бедняжка! От глотка в башке сумлятица!
Пошел он!.. Знаешь и сама, куда.

Что поп сказал? Что истина в вине.
А мне плевать! Не пропаду, пусть катится!
Кому я не нужна, не нужен мне.

1 марта 1847

Перевод Евгения СОЛОНОВИЧА



Олег КУДРИН

Вольфрам, или Праздник Вильгельма

Действующие лица:

Семейство Теллей

Хедвига — вдова Вильгельма Телля
Вальтер — старший сын Вильгельма Телля, вдовец, глашатай, стражник, воин
Вильгельм — младший сын героя; представляет кантон Ури на Сходе Старейшин
Вильда — дочь Вальтера
Вольфрам — сын Вальтера, внук Вильгельма Телля

Другие жители Трех Лесных Кантонов, Ури, Швиц и Унтервальден (Швейцарии)

Клаус-Умник — глава Схода Старейшин, представитель кантона Швиц
Майер Бюгель — представитель кантона Унтервальден
Клаус-Дурачок — прожектер, вдовец

Гости Праздника Вильгельма Телля

Эдуард Пэмброк — дворянин из Англии
Буркхарт Ланденберг — дворянин из Австрии
Изольда — его сестра
Франциск Пфайфер — купец и богомолец из Люцерна, проездом в Ассизи
Пампинея — его жена

1332 год. По смерти великого героя Швейцарии, жителя кантона Ури Вильгельма Телля.

Первый акт

Явление 1

Неподалеку от Альтдорфа,
что главный город в Ури

Эдуард

Что ж нынче так темно,
Как будто ночи бог забыл зажечь луну?
Вот вы, швейцарские кантоны.
И вольности, и наглости оплот.
Как часто в Лондоне меж Темзой и туманом
Я слушал матери рассказ
О первой Родине моей.
Она мне говорила:
Народец здесь заносчив, дерзок, своеволен.
Хотя при этом храбр...
И к иноземцам всем
Враждебен изначально

Тут появился местный человек.

Вильгельм

Не правда ль, добрый вечер, незнакомец?
Меня зовут Вильгельм.
Пожмем друг другу руки
В знак добрых отношений и знакомства.

Эдуард

О да, конечно. Я так рад...
(*Друг другу руки жмут и все не разнимают.*)
Так рад, так рад, так рад...

Вильгельм

Прошу, скажите мне...
Вы, вижу, человек достойный

И в сих краях сторонний, отстраненный.
Скажите мне как этот... Как его...
Как независимый экспертус*.

Эдуард

Я вам помочь готов.

Вильгельм

Погладьте мне главу. Ну... если вам не сложно.
Нет-нет, не так, не по власам, поближе к голове.
Так хорошо. Готовы?

Эдуард

Готов вполне.

Вильгельм

Скажите, только честно.
Не правда ль, у меня квадратна голова?

Эдуард

О да... Конечно... Несомненно,
Что голова у вас... квадратна идеально.

Вильгельм

Благодарю. Прощайте... э...
Прощайте, иностранец.

Эдуард

Прощайте.

Вильгельм

(*Вполгласа, уходя.*)
Ну, до чего ж невежлив незнакомец!
А впрочем — иноземец.
Что с них, убогих, взять?
(*Уходит.*)

* Expertus — по-латыни "обладающий опытом".

Эдуард

Ну, до чего же странен незнакомец
С квадратной головой!
А впрочем — он туземец.
Что взять с убогих, с них...
Но где же здесь Альтдорф,
Тот скверный городишко,
В котором начались семьи моей несчастья?
(*Во тьме вдруг разглядел, что рядом стражник прикорнул, прижавшись к арбалету; идет к нему почти неслышно.*)

Вальтер

(*С закрытыми глазами.*)
Я — стражник местный, Вальтером зовусь.
Приветствие мое вам, славный иноземец!

Эдуард

Благодарю. Не скажете ли, как
Добраться до Альтдорфа?

Вальтер

(*Глаза открыв.*)
А сами-то вы кто и, собственно, откуда?

Эдуард

Из Англии!

Вальтер

Изанглия?! А это, милый, где?

Эдуард

Вам неизвестно Англии расположенье???

Вальтер

А что вас удивляет?!
Подумаешь, какая-то Изанглия!..
Ведь я не удивлен, что неизвестно вам,
Где расположен славный наш Альтдорф!

Эдуард

Из Англии я, сударь. То —
Великий остров в море.

Вальтер

Понятно, островной. У нас такие тоже есть.
На озере, тут рядом... А к кому?

Эдуард

К Вильгельму Теллю.

Вальтер

Вот как? Он вам известен
В Изанглии далекой?

Эдуард

Еще бы, это ж он сразил
Великого австрийского ландфохта,
Что звался Герман Гесслер.

Вальтер

Да... Фьюить — и готово.
Был Гесслер крепко поражен.
Так вы к Вильгельму Теллю...
Ага! Должно быть,
Вильгельма Телля Праздник вас привлек?

Эдуард

Но почему "Вильгельма Телля Праздник"?
Что, встреча с Теллем
Такой уж праздник?

Вальтер

Конечно же. Для всех...

Эдуард

Но только не для Гесслера-ландфохта!

Вальтер

Да, не для Гесслера-тирана.

Эдуард

Хотели вы промолвить:
Имперского Наместника,
Великого Австрийского Ландфохта!

Вальтер

Вот точно! Точно так "хотел промолвить"!
Все это вместе называется: тиран.
Пять кратких литер вместо долгих слов пяти.
Итак, я — Вальтер-стражник.
А вы есть кто и какового званья?

Эдуард

А я — сэр Эдуард из рода Пэмброк. Рыцарь.

Вальтер

Теперь понятно.
Так вы к Вильгельму Теллю в Альтдорф. Что ж, идите!
Не в граде, крепости, а за холмом есть хутор.
Его жилище — то, что справа.
Прощайте, Эдуард!

Эдуард

Прощайте!
(*Уходя.*)

Вальтер

Воистину, невежлив иноземец.
Ну сразу видно — рыцарь.
Изангличане тут ничем не лучше австрияков.
Ни имени... И руку не пожал...
Однако я над ним преславно подшутил.
Преставился отец, но жив мой брат Вильгельм.
Пускай он с этим Теллем
Сейчас поговорит.

(*И снова дремлет,*
прижавшись к арбалету.)

Явление 2

Издалека слыхать неясный шум. И ржанье...
И стражник вмиг привстал.

Вальтер

Что ж нынче так темно,
Как у коровы черной масти в пузе?
Костер почти потух... Где хворост и дрова?
Хотя и молвят: день — глаза, а ночи — уши,
Но все же не хочу совсем слепым я быть.

Приходят две особы.

Изольда

Ах, братец, правду ль говорят,
Что эти горцы все стройны и крепки?
К тому ж в стрельбе из арбалета бесподобны?

Ланденберг

Как бесподобна ты в стрельбе глазами!
Пожалуй, все же зря тебя сюда я взял,
Внимая обещаньям быть скромней.
Хотя и знал закон седой, как этот стражник:
"Поверив женщине, уже ты проиграл".

Вальтер

Я — Вальтер-стражник.
Имею честь приветствовать...

Ланденберг

Я — Буркхарт Ланденберг. Австрийский рыцарь,
Большой любитель старины швейцарской.
Вильгельма Телля праздник нас привлек —

С Изольдою, сестрой. А далее — на богомолье
Поедем с нею в Рим иль, может, в Авиньон.
Позвольте руки ваши честные пожать!
(*Руками руки жмет, тряся.*)
По-дружески скажите,
Где лучше тут остановиться?

Вальтер

Вы Фюрста Вальтера спросите дом.
Скончался он, так дом его отныне постоялый.

Ланденберг

Благодарю сердечно.
Прощайте, Вальтер!
(*Уходя.*)

Вальтер

Дороги доброй, Буркхарт!..
(*Вослед.*)
И меж австрийцев есть порядочные люди.
Но что-то мне знакомо... Ланденберг.
Его отец ландфохтом был!
Как Гесслер, но в другом кантоне — по соседству.
Так тот был плох, а этот милый человек:
Хорошее вино с плохого винограда!

И две других еще особы.

Вальтер

Франциско Пфайфер?!

Пфайфер

Дружище Вальтер Телль?!

Вальтер

Ну как дела в Люцерне, как сукно, как жизнь, как австрияки,
Как детки, как жена?

Пфайфер

Жизнь, как сукно, трещит по швам,
Когда австрийцы силу прилагают.
Жена, как жизнь: глядишь — проходит день за днем.
А дети — как жена. Ну и немножечко, как я...

Пармения

Да что ж ты говоришь! Да как тебе не стыдно!
(*И с грустью, маскируемой под гордость.*)
Супругу я вовек не изменяла.
Не представляю даже, как могла бы изменить.

Пфайфер

И впредь не представляй, Пармерль!

Вальтер

О да, Парменьи добрый нрав давно известен.

Пфайфер

Воистину, клянусь святым Франциском!
В Ассизи мы к нему поедем после вас.
Ну а пока — где лучше бросить свой багаж в Альтдорфе?

Вальтер

Тут умер дед мой — Вальтер Фюрст.

Пфайфер

Скорблю...

Вальтер

Мы все скорбим. Но в доме,
Где жил он, постоялый дом.

Прощаются и руки жмут неоднократно.

Пфайфер

Дружище Вальтер Телль! Дружище Вальтер Телль!..

Вальтер

Франциско Пфайфер из Люцерна!..

Пармения

С ним верная жена его Парменья!

Явление 3

Вальтер

Урчит живот. Конечно — ужинать пора.
Воображение рисует вид съедобный:
Хлеб, мясо, рыба, сыр и колбаса...
Гора копченых туш
И хлебный мякиш облаков.
Да я пиит, пожалуй!
А то — не Вольфрам ли идет,
Что ноги, как колбаски? Нет!
То наш блаженный и высокородный
Любимый всеми Клаус-Дурачок...
Здоров будь, Клаус!

Клаус-Дурачок

И ты, мой Вальтер, здравствуй!

Не знаю, нужно ль говорить еще:
Мужчины долго руки жмут, как здесь заведено.

Вальтер

(*Слегка с улыбкою, но боле — опасаясь,*
дабы всерьез не рассмеяться.)
Что нового прозрел в судьбе страны родной,
Разрезав толщ времен густую?

Клаус-Дурачок

Ко мне приходят образы различно.
Но в этот раз вначале было слово.
И слово это было... Сыр!

Вальтер

Что, "сыр"? Какое совпаденье — сыр...
Я тоже думаю о нем!

Клаус-Дурачок

Ты думаешь не так, как я, неверно.

Вальтер

Не знаю уж, не знаю...
О сыре мысль всегда верна!
Особенно на ужин — с хлебом, с маслом.

Клаус-Дурачок

Ну вот, я так и думал.
Точней, так думал ты:
Бездушное эпикурейство
И плотский гедонизм.
Я ж мыслю стратегично
(так греки говорят).
Швейцария — альпийские луга.
Страна безмерных пастбищ.
Страна великих стад и красочных лугов...
Иль о лугах я говорил уже?..
Ага. Ну да... Так вот что значит молоко!
Страна — стада коров и божьих агнцев.

Вальтер

А также адских козлищ, что тоже молоко!

Клаус-Дурачок

Так я ж и говорю. Так много — хоть залейся
Той белою рекой. Скисающей однак!
А дырчатый наш сыр вкуснеет, но не киснет.
Вот выгодный продукт. Вот им и торговать!
А есть еще швейцарские конфекты и печенье...

Вальтер

(*Слюну глотая и прижав рукой живот урчащий.*)
Постой! Постой! Благодарю, дружище Клаус!
Громадину таких пророческих прозрений
Не в силах разум мой сейчас переварить.

Клаус-Дурачок

Однако брату передай:
На сходе трех кантонов, что на лужайке Рютли,
Нам нужно обсудить и сырный мой прожект!
Прощай же, Вальтер-друг.

Вальтер

Прощай, дружище Клаус.

Уходит Клаус-Дурачок.

Вальтер

Как гром в горах, гремит живот...
Но где же этот Вольфрам?!
Вот так негодник, вот оболтус,
Хотя уже немалый ус растет.
Труд никакой его не привлекает!
Он ни пастух, ни земледел, ни сыродел!
Он ни рыбак, ни дровосек и ни охотник
Ни до чего (хотя стрелок отменный).
Он непонятно что — одно большое "Не".
Ужель такая вся за нами молодежь?..
Собравши флоринов немного,
В Италию отправил на учебу.
Хотя бы будет, думаю, купец.
Какое там! Вернулся недоучкой.
Но деньги съел Неаполь — город
И все его таверны!
Однако Вальтер мудр — и выход я нашел!..
Ну вот он, наконец, идет.

Приходит сын. И ужин с ним — в корзине.

Вальтер

Ну, здравствуй, сын!

Вольфрам

Привет тебе, отец!

Вальтер

Чего же поздно так?

Вольфрам

Ты не поверишь!
Сугубо вовремя с корзиною на встречу
С тобой иду. И тут... И вдруг... И так...

Вальтер

Не продолжай, ведь я уже не верю.
Давай корзину и ступай. Хоть нет, сейчас... постой...
Ты прадеда любил. И в доме частым гостем
Был у него.

Вольфрам

Облазил я тот дом с подвала и до крыши...
И оба этажа... Там каждый гвоздь знаком
Так, что любой из них кивает шляпкой.
А я ему в ответ.

Вальтер

Тот деда Фюрста дом — отныне постоялый.
А ты, дружочек, в нем хозяин и слуга!

Вольфрам

Но почему же я? Не Вельда, не сестра?
Ведь женщине хозяйствовать сподручней?

Вальтер

Негоже быть в дому девице,
Где столь чужих мужчин!..

К тому же счету ты в Италии обучен.
Кончай считать ворон — за счет иной возьмись.

Вольфрам

(*Не вслух, не громко, про себя.*)
Зачем же я учился плохо,
Коль мог учиться хуже,
Чтоб вовсе ничего не знать.
Все — кончилася жизнь!
В обслуге мне теперь и гнить, и погибать!
А мой дружок Джованни
Сейчас в Неаполе у моря
Волочится, гуляет, пьет!
Отсюда ergo вывод:
Ну, Вельда, ну сестра... Ну, Вельда, погоди!

Вальтер

Ты что-то мне сказал сынок?

Вольфрам

Я прославляю мудрость вашего решенья.

Вальтер

Что да, то да. То так!
Минуты не прошло. А ты уже стал лучше:
Почтительней, умней...
Что ж будет через день?
Молчу уж — про неделю!..
Так слушай же отца.
Там будет постоялец — Пэмброк Эдвард,
А может, Эдуард. Изангличанин.
Он из Изанглии... А что не так,
Чего тебе смешно?

Вольфрам

Нет-нет. Все так. Изангличанин.
Из Изизанглии. Что дальше — я внимаю.

Вальтер

Да нет, не "Изизанглия", дубина.
Изанглия — одно в ней только "из".
Ты присмотри за ним.
Какой-то он — того...

Вольфрам

Дурной?

Вальтер

Напротив — умный, злоязыкий. Не шпион ли?!

Вольфрам

Конечно, присмотрю.

Одесса – Москва



Николай БОГОМОЛОВ

Из заметок об одном бабелевском рассказе

Если бы кто-либо мог повторить о себе знаменитые первые слова сологубовской "Творимой легенды", то с наибольшим основанием сделал бы это Бабель: "Беру кусок жизни, грубой и бедной, и творю из него сладостную легенду, ибо я — поэт"[1]. И в наибольшей степени это нужно отнести к "Одесским рассказам".

Это самое общее утверждение легко подтверждается словами исследователей. Так, в широко известной своей книге Ренато Поджиоли писал, опираясь на широкий мировой контекст: "Одесские рассказы", хотя они и похуже "Конармии", и написаны попозже, возможно, могут служить лучшим введением в его творчество. "Конармия" лирична и эпична по своему строю, тогда как "Одесские рассказы" — плутовские и живописные (picaresque and picturesque). Они имеют дело не с большим миром, миром историческим, но с узкой и странной средой, еврейским кварталом в Одессе, так называемой Молдаванкой, украшенную летопись которой создает перед нами автор. Главные действующие лица этой книги — преступники, контрабандисты и вымогатели, а единственный ее герой — Беня Крик, "бандит и король бандитов", но прежде всего — страстный человек, поскольку "страсть правит вселенной". Можно сказать, что этот маленький сборник является чем-то вроде "Оперы нищих", с той разницей, что Беня Крик более человечен и менее жесток, чем Макхит. <...> Здесь пафос превращается в род сочувствующего гротеска, порождая искусство, напоминающее нам о гравюрах Хогарта или Калло"[2].

Или в советской книге о Бабеле можно прочитать: "Свой, "домашний" капиталист и совсем свои, столь же "домашние" налетчики — все делают то, что им положено. Все приобретает в этом мире характер спектакля, комического представления. <...> Одесская Молдаванка, ее обитатели, их быт, евреи ремесленники, приказчики, биндюжники, торговцы, уголовники — все предстает в рассказах Бабеля в необычайном свете. <...> Контрастность изображения, сочетание противоречивых, казалось бы, не сочетающихся средств — гротеска и бытовизма, романтических и натуралистических красок, лирики и цинизма, пафоса и иронии, необычайных и обыденных ситуаций — образуют неповторимый бабелевский колорит".[3]

Есть ли в этих цитатах правда? Безусловно, есть. Может быть, удачнее и проницательнее всего она сформулирована Г.А. Белой: "...в "Одесских рассказах" он строит образ мира, где человек был распахнут навстречу жизни. <...> Окраина города превращена в сцену, театр, где разыгрываются драмы страсти. Все вынесено на улицу: и свадьбы, и семейные ссоры, и смерти, и похороны; все участвуют в действии, смеются, дерутся, едят, готовят, меняются местами, сходятся и расходятся, но — участвуют в общей жизни <...> официальная жизнь, ее нормы, ее сухие выморочные законы высмеяны, снижены, уничтожены смехом. Язык героев свободен, он насыщен смыслами, лежащими в подтексте <...> Живая, разговорная структура фразы была знаком раскрепощенного сознания героя, проекцией живого и насмешливого ума автора".[4]

Все это достаточно очевидно и не нуждается в особых подтверждениях. Но вот природа этого поэтического дара, как кажется, еще нуждается в осознании и истолковании. Комментирование рассказов Бабеля пока что остается на уровне разъяснения, кто такой кантор и что говорил Господь из горящего куста на горе Синайской. Да и простое медленное чтение с вопросами к самому себе и к автору применяется достаточно редко. А между тем они совершенно необходимы. Не претендуя на то, чтобы дать полноценный анализ хотя бы одного бабелевского рассказа, приведу несколько наблюдений разного порядка, показывающих возможные направления, по которым стоит двигаться.

1. Новелла?

Тонкий исследователь литературы Н.Л. Степанов так и озаглавил свою статью, появившуюся еще в 1928 году: "Новелла Бабеля". Не ставя своей целью изучить этот жанр, сошлюсь на энциклопедическую статью А.В. Михайлова: "Н<овелла> понималась как небольшое, очень насыщенное событиями, экономно о них рассказывающее повествование с четкой фабулой; ей чужда экстенсивность в изображении действительности и описательность; она крайне скупо изображает душу героя <...> В Н<овелле> должен быть отчетливый и неожиданный поворот, от к<ото>рого действие сразу приходит к развязке".[5]

На первый взгляд, в рассказе "Как это делалось в Одессе" все отвечает такому пониманию новеллы безупречно. Все, да не все.

Наивному читательскому взгляду, тем более взгляду человека, впервые читающего рассказ, представляется, что он построен как увлекатель-

ное повествование с неожиданными сюжетными поворотами и пуантами. Острота и неожиданность поведения Бени Крика приковывают внимание и заставляют следить за новеллистическими ходами. Однако взгляд не наивный, а профессиональный, заметит, что реальное построение основано совсем на других принципах. Применительно к раннему творчеству Бабеля вообще этот принцип еще очень давно сформулировал Степанов: "..."фабула" раскрывается не только в событиях, но и соотношением словесных ассоциаций и стилистических пластов, через них проглядывает "лицо автора" и "смысл" рассказа".[6] Вовсе не захватывающий сюжет, хоть сколько-нибудь напоминающий детективный, составляет основу бабелевской новеллы, а нечто совсем иное. Это легко понять, когда наступает один из кульминационных моментов, — налет на контору Тартаковского. Только что, в предыдущем рассказе, читатель узнавал о таком же налете на Эйхбаума, и помнит, чем там закончилось дело: хозяин и налетчик договорились, да вдобавок прибавился еще и традиционный хэппи-энд — свадьба. Логично было бы ожидать чего-то подобного и здесь, однако происходит совсем иное: убивают приказчика Иосифа Мугинштейна.

Этот неожиданный поворот, возникающий на фоне почти идиллических разговоров Бени Крика и Мугинштейна, по логике происходящего, должен быть подобен взрыву бомбы, однако воспринимается совсем иначе. Обратим внимание, как Бабель подводит нас к этому убийству. Дважды в первой половине рассказа он повторяет слово "покойный" (или "покойник"): "Старшим был тогда покойный Левка Бык", "воскликнул покойный Левка", и это повторение заставляет нас вложить в слово вполне определенный смысл: рассказ ведется о таких давних временах, что многие с тех пор умерли. Но в кульминационный момент звучит практически то же самое слово: "...покойник Иосиф стоял перед ним <Беней> с поднятыми руками..." — семантика которого оказывается взорванной. "Покойник" становится предсказанием будущего, а не констатацией мирного течения времени.

А особенно изощренный читатель увидит и еще одно предсказание, о котором писал Дж. Фейлен: "В середине рассказа, когда приказчик Мугинштейн вот-вот погибнет от руки одного из нападавших, Бабель несколькими быстрыми штрихами преображает мертвенно-бледный спектр смерти в живую реальность цвета. Приказчик на пространстве нескольких коротких строк описывается "белым как смерть", "желтым как глина" и "зеленым как зеленая трава". Цвета складываются и предсказывают нам не только ближайшее будущее Мугинштейна, но также и его конечную судьбу: он увиден почти одновременно трупом, погребенным в земле телом,

впоследствии преобразившимся в траву, которая вырастет на его могиле".[7] Обратим внимание, что и здесь резкие, без полутонов цвета воспринимаются в контексте всей цветовой гаммы бабелевских рассказов, а смысл уподоблений остается скрытым до того момента, пока сопоставление вторых членов трех сравнений не воссоздаст триаду — смерть-глина-трава.

Подобным же образом Бабель снимает сюжетное напряжение и в другом кульминационном моменте, — известии об убийстве Савки Буциса, застрелившего Мугинштейна. Последнее, что произносит Беня в конторе, перед тем как бежать оттуда: "Клянусь гробом моей матери, Савка, ты ляжешь рядом с ним...". Вырвавшееся в сердцах проклятие становится точным и буквальным предсказанием судьбы неудачливого налетчика. Моментально забытое, оно подспудно все же существует в читательской памяти, чтобы очнуться в тот самый момент, когда вместе с шепелявым Мойсейкой мы готовы произнести: "Король".

Здесь перед нами классический случай того развития взаимоотношений между сюжетом и фабулой, который был описан Л. Выготским применительно к "Легкому дыханию" Бунина: нарастание сюжетного напряжения специально снимается, затушевывается, чтобы читатель отчетливее воспринял не поверхностный, а глубинный смысл новеллы: "...истинную тему его рассказа составляет легкое дыхание, а не история путаной жизни провинциальной гимназистки".[8]

Можно даже думать, что в определенном кругу исследователей литературы 1920-х годов именно это взаимоотношение сюжета и фабулы охотно иллюстрировалось примерами из Бабеля. Об этом свидетельствует, как кажется, мнение того же Степанова, писавшего в цитированной статье:

"Фабула у Бабеля развивается не по событийной наметке происшествий, а по скрытым "внутри" рассказа ассоциациям.

Так в шахматах фигуры двигаются не просто с квадрата на квадрат, а по условным законам, определяющим сложность их ходов.

Так слово в стихе живет своими закулисными значениями.

Смысл-фабула рождается из столкновения слов".[9]

2. "Похожее на все письма в этом роде"

Так Бабель определил письмо Бени Крика к Тартаковскому. Напомним его текст: "Многоуважаемый Рувим Осипович! Будьте настолько любезны положить к субботе под бочку с дождевой водой... и так далее. В случае отказа, как вы это себе в последнее время стали позволять, вас

ждет большое разочарование в вашей семейной жизни. С почтением знакомый вам *Бенцион Крик*".

Совсем недавно было опубликовано несколько писем, на которые так похоже письмо Короля. Самое схожее, кажется, — полученное Д. Большаковым: "Многоуважаемый Дмитрий Ефимович. Прошу вас если вы хотите избегнуть той гибели, которая в настоящий момент вам предстоит, то только вы можете избавиться если внесете пять 500 р. по нижеуказанному месту, если же вы этого не исполните, то будете убиты когда вы идете на службу или со службы... Деньги представите Коблевская № 26 кв. 2 Филиппу Малярчику...".[10]

Однако далее автор статьи, где приводится целый ряд подобных писем, утверждает: "Бабелевский смачный язык еврейских обитателей Молдаванки — столь же искусственная конструкция, сколь и наблюдательное воспроизведение реальных речевых оборотов реальных одесситов (но не обязательно евреев). Да и само расхожее представление о том, что прототипом Бенциона Крика был налетчик Мишка Япончик (Винницкий), является лишь мифом: десять лет вплоть до Февральской революции Михаил (Мойсей Вольфович) Винницкий сидел на каторге за участие в анархистских "эксах" в ранней юности, его карьера короля Молдаванки длилась чуть больше года, трагически оборвавшись в 1919 г. В то же время ни о каком воровском синдикате в Одессе (а бабелевский Беня Крик воплощает именно миф о еврейской организованной преступности) до революции 1917 г. не могло идти и речи — и не шло: ни в полицейских документах, ни на страницах еврейских газет".[11] Похоже, что материал и концепция приводят его к противоречиям, разрешаемым лишь с большим трудом. На деле же, как кажется, ситуация достаточно проста: Бабель действительно создает миф, но вовсе не о "еврейской организованной преступности", а о еврейском Робин Гуде. И для этого он использует разнородные элементы реальности, преображая их светом искусства.

Вот лишь один пример. Похороны несчастного Иосифа Мугинштейна, "погибшего через глупость", едва ли не дословно списаны со вполне реальных похорон, состоявшихся на втором еврейском кладбище в Одессе в сентябре 1916 года. Описания траурных церемоний по умершем 8 сентября поэте Семене Фруге, сделанные одесскими газетами, разительно схожи с тем роскошным абзацем, где Бабель описывает происходящее вокруг могилы бедного приказчика. Даже знаменитый кантор Миньковский (так выглядит его фамилия у Бабеля — в электронной "Еврейской энциклопедии" он Пинхас Минковский) и хор из Бродской синагоги сопровождают похо-

роны реального поэта и вымышленного приказчика. Кажется даже, что и доведение количества служащих Тартаковского, пришедших проводить Мугинштейна в последний путь, до гротеска: "Их было сто человек, или двести, или две тысячи", — необходимо Бабелю, чтобы напомнить: "Похороны, — писал очевидец, — представляли в Одессе небывалое зрелище. Десятки тысяч (до 100 тысяч) людей, от чернорабочего до самого крупного общественного деятеля, многочисленные депутации от общественных организаций городов, представители литературного мира, многочисленные вереницы учащихся, все одесское студенчество, десятки тысяч детей...".[12]

В замечательной работе американского литературоведа читаем: "Элемент вымысла, который Бабель использует в этих рассказах, придает им странное ощущение вневременности, так что несмотря на то, что действие происходит в современном городе, чувство исторической реальности затуманивается. Воссозданная атмосфера напоминает скорее первобытное или средневековое прошлое, чем реакционное и тревожное время после революции 1905 года, образующее реальный исторический фон этих рассказов. В рассказах нет прямого отражения двух революций или современного социального переустройства. Напротив, здесь отчетливо различимы древние типы поведения и старые принципы племенной верности, — как будто Бабель, используя элементы эпической традиции, пытался создать, полусерьезно и полусатирически, героическую традицию для одесских евреев. В лице Арье-Лейба "молдаванское рыцарство" получило своего летописца или барда; он становится тем еврейским Гомером, чьи слова передают юношам саги о великанах...".[13] Здесь все верно, за исключением "чувства исторической реальности". Бабель его культивирует и насаждает именно для того, чтобы на его фоне еще выразительнее фигурировали "гомеровские" (а я бы предпочел слово "фольклорные") фигуры героев.

3. Одна запятая

Бабелевская музыкальность вне сомнения. Его рассказы рассчитаны не только на чтение глазами, но и на слуховое восприятие. Вот один только пример: "Четыре человека вылезли из-под красной крыши и тихим шагом поднесли к колеснице венок из невиданных роз. А когда панихида кончилась, четыре человека подвели под гроб свои стальные плечи, с горячими глазами и выпяченной грудью зашагали вместе с членами общества приказчиков-евреев". На эти две фразы приходится 9 звуков "ч" (и еще одна буква, в слове "приказчиков"[14]). Не могут быть случайными сочета-

ние "кра-кры" (красной крыши), цепочки "гро-гор-гру" (гроб... горячими... грудью), "лов-выл-вел" (человека... вылезли... подвели), и даже типично бабелевское, сделанное лейтмотивным в пародии А. Архангельского слово "невиданных" спровоцировано предшествующим "венок".

Тем более это относится к интонационному строению рассказа, где виртуозно выстроены переходы из одного регистра в другой, и это заставляет с особенным вниманием отнестись к самым мелким деталям текста. А механизм сохранения и исправления этих деталей выразительно описан В. Ковским: "При постоянно множащихся переизданиях "базовыми" для них остаются московские — 1957, 1966, а теперь уже и 1990-го (двухтомник) годов. Что такое "базовое", "основное" издание, составителям объяснять не надо. Это издание, которому доверяешь, которое "расклеиваешь" и в качестве оригинала сдаешь в печать. А следовательно, все ошибки базового издания дублируются и тиражируются дальше".[15]

Не буду обвинять составителей, презирающих обязанности текстологов проверять "базовое" издание.[16] Не буду специально говорить о том, что в своей чрезвычайно насыщенной статье В. Ковский говорит лишь о самых крупных недостатках текстологии Бабеля, которые сказывались в советских и сказываются в постсоветских изданиях. Приведу один-единственный пример, просто взывающий к исправлению.

В описании похорон Мугинштейна, о котором я уже говорил, есть фрагмент: "И похороны состоялись на следующее утро. О похоронах этих спросите у кладбищенских нищих. Спросите о них у шамесов из синагоги, торговцев кошерной птицей или у старух из второй богадельни". На первый взгляд, все в порядке: как однородные члены поминаются шамесы, торговцы и старухи. Но ведь несколькими строками ниже читаем: "Старосты синагоги торговцев кошерной птицей вели тетю Песю под руки". Значит, существовала особая синагога для торговцев кошерной птицей, и именно к ней должна была относиться тетя Песя, торговка курами с Серединской площади.

Дальше, видимо, должны вступать в дело одесские краеведы, которым предстоит выяснить, существовала ли такая синагога на самом деле, или Бабель ее придумал, где была расположена и прочие подробности. Нам же довольно и устранения неверно поставленной запятой и тем самым восстановления риторической градации: в первой из нами приведенных фраз фиксируется сам факт похорон, во второй указывается одна группа свидетелей, которые могут подтвердить рассказ, а во второй — две. Три — было бы уже слишком.

Примечания

[1] Сологуб Федор. Творимая легенда. М., 1991. [Кн.] I. С. 7.

[2] Poggoli Renato. Isaac Babel in Retrospect // Isaac Babel / Ed. by Harold Bloom. N.Y.; New Haven; Philadelphia, 1987 / Modern Critical Views. P. 54-55 (под этим заглавием в книге напечатан фрагмент его широко известной работы "Феникс и паук", изданной Гарвардским университетом еще в 1957 году).

[3] Левин Ф. И. Бабель: Очерк творчества. М., 1972. С. 34-36.

[4] Бабель Исаак. Сочинения: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 23-24 (далее все цитаты из сочинений Бабеля приводятся по этому изданию). Очень близко та же мысль повторена в кн.: Белая Г.А., Добренко Е.А., Есаулов И.А. "Конармия" Исаака Бабеля. М., 1993, — одном из лучших исследований о прозе Бабеля.

[5] Краткая литературная энциклопедия. М., 1968. Т. 5. Стлб. 306.

[6] Степанов Ник. Новелла Бабеля // И.Э. Бабель: Статьи и материалы. Л., 1926 / Мастера современной литературы: Сб. под ред. Б.В. Казанского и Ю.Н. Тынянова. II. С. 34-35.

[7] Falen James. The Odessa Tales: An Introduction // Isaac Babel / Ed. by Harold Bloom. P. 159.

[8] Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1986. С. 195.

[9] Степанов Ник. Цит. соч. С. 33.

[10] Герасимов Илья Владимирович. Письма одесских вымогателей и проблема еврейской преступности в Одессе начала XX века // История и культура российского и восточноевропейского еврейства: новые источники, новые подходы. М., 2004. С. 145 (со ссылкой на: Центральный гос. исторический архив Украины. Ф. 385. Оп. 1. Т. 2. Л. 6 и об).

[11] Там же. С. 149.

[12] Портнова Нелли. Семен Фруг — "поэт для многих" // Лехаим. 2007. Сентябрь (цитирую по электронной версии: http://www.lechaim.ru/ARHIV/185/portnova.htm).

[13] Falen James. Op. Cit. P. 162. Ср. рассказ о личности автора этой книги: Жолковский Александр. Эросипед и другие виньетки. М., 2003. С. 466-467.

[14] Впрочем, не исключено, что в речи Бабеля слово могло произноситься как [пр'ика̀з'ч'икъф], и тогда появляется десятое "ч".

[15] Ковския Вадим. Судьба текстов в контексте судьбы // Вопросы литературы. 1995. Вып. I. С. 62.

[16] Та же самая история повторилась и в новейшем четырехтомнике, где в примечаниях сказано: "Издание опирается на подготовленное вдовой писателя А.Н. Пирожковой (при участии С.Н. Поварцова) собрание: Бабель И.: Сочинения: В 2 т. М., 1990" (Бабель Исаак. Собрание сочинений: В 4 т. М., 2005. Т. 1 / Сост., вступ. Ст. и примеч. И.Н. Сухих).

Москва

Снежана ПАВЛОВА

Два интервью о Бабеле

Антонина Пирожкова: "Бабель был обречен как выдающаяся личность"

Нам удалось связаться с последней женой Бабеля – Антониной Пирожковой, незадолго до ее смерти. Антонина Николаевна умерла осенью прошлого года в возрасте 101 года в США, где прожила 14 лет. Она посвятила большую часть своей жизни сохранению памяти Исаака Бабеля: издала книгу воспоминаний современников о Бабеле, его дневники и произведения.



Исаак Бабель

— Понравился ли вам макет одесского памятника Бабелю? Насколько точно он передает внутреннюю суть и внешность писателя?

— Да, макет понравился. Внешность Бабеля отображена достаточно достоверно, передан образ писателя, мыслителя, жившего в нелегкое, трагическое время. Что же касается сути, то Бабель был человеком загадочным и противоречивым, и насколько скульптору удалось это передать, трудно судить по фотографиям с макета.

— Как вы познакомились с писателем?

— Знакомство состоялось спустя примерно год после того, как впервые прочла его рассказы. Летом 1932 года мы оба были приглашены на обед в Москве к Ивану Павловичу Иванченко — председателю Востокостали (управление всеми металлургическими заводами Сибири и Востока. — **Прим. ред.**), большому поклоннику Бабеля. Иван Павлович знал меня по Кузнецкстрою, где я работала после окончания Сибирского института инженеров транспорта. Иван Павлович так представил меня Бабелю:

— Это инженер-строитель по прозванию Принцесса Турандот.

Иванченко не называл меня иначе, с тех пор как, приехав однажды на Кузнецкстрой, прочел обо мне критическую заметку в стенной газете под названием: "Принцесса Турандот из конструкторского отдела".



Антонина Пирожкова и Исаак Бабель. 1936 г.

Бабель посмотрел на меня с улыбкой и удивлением, а во время обеда все упрашивал выпить с ним водки.

— Если женщина — инженер, да еще строитель, — пытался он меня уверить, — она должна уметь пить водку.

Пришлось выпить и не поморщиться, чтобы не уронить звания инженера-строителя.

Некоторые находили, что Бабель был некрасив, но я так не считала. У Бабеля было очень выразительное лицо с живыми лукавыми глазами. А когда он говорил, под его обаяние подпадали все окружающие.

— Как вы стали женой писателя?

— Бабель тогда во время обеда рассказал, что получил разрешение на поездку к семье во Францию. Из Парижа Бабель писал мне очень часто. Писал обо всем, что видел, с кем встречался, куда ездил во Франции и Италии, когда был там в гостях у Горького на Капри. Я отвечала ему на вопросы, писала о московских новостях, и наше общение не прекращалось. За одиннадцать месяцев его отсутствия накопилось очень много писем. Все они были забраны в 1939 году при его аресте и мне не возвращены. Бабель возвратился из-за границы в сентябре 1933 года. Он приехал один, без семьи. Я оформляла в это время свой уход со службы, чтобы после отпуска взяться за другую, более интересную для меня работу. Отпуск я собиралась провести в доме отдыха в Сочи. Узнав об этом, Бабель посоветовал мне воспользоваться свободным временем и поездить по Кавказскому побережью. Он сам захотел показать мне это побережье, Минеральную группу и Кабардино-Балкарию. Мы условились, что Бабель приедет в Сочи к окончанию срока моего пребывания в доме отдыха.

Я встретила его на сочинском вокзале, и мы отправились на Ривьеру, чтобы снять еще на несколько дней номера в гостинице. Устроившись, мы обсудили наш маршрут. Сначала мы решили поехать на машине в Гагры — там велись съемки картины "Веселые ребята" по сценарию Эрдмана и Масса. В этой картине снимался Утесов. Из Гагр было намечено проехать в Сухуми, а оттуда добираться до Кабардино-Балкарии. Об этих поездках я подробно написала в книге моих воспоминаний о Бабеле.

Покидая Нальчик, Бабель задумал перекочевать в колхоз, в станицу Пришибскую, где хотел собирать материал и писать. Он решил проводить меня и попутно показать мне Минеральную группу. Мы побывали в Железноводске, недалеко от которого находился очень интересовавший Бабеля Терский конный завод. В Пятигорске Бабель показал мне все лермонтовские места. Он бывал здесь и в прошлые годы, навещая своих "бойцовских ребят", как он называл тех товарищей, с которыми встречался в 1920 году в Конармии, поэтому рассказывал мне о лермонтовских местах, как настоящий экскурсовод. Из Кисловодска Бабель проводил меня на станцию Минеральные Воды, и я уехала.

Вскоре по возвращении в Москву я получила от Бабеля письмо из станицы Пришибской. Хорошо запомнились строки:

"Живу в мазаной хате с земляным полом. Тружусь. Вчера председатель колхоза, с которым мы сидели в правлении, когда настали сумерки, крикнул: "Федор, сруководи-ка лампу!".

В Москве я снова попала в окружение своих друзей и знакомых, но все они показались мне неинтересными, их разговоры не занимали меня. Я поняла, что очень скучаю без Бабеля.

А незадолго до Нового года я получила письмо, в котором Бабель писал:

"Я человек суеверный и непременно хочу встретить Новый год с вами. Подождите устраиваться на работу и приезжайте 31-го в Горловку, буду встречать".

Бабель встретил меня в Горловке в дубленом овчинном полушубке, меховой шапке и валенках. А вечером Бабель вдруг мне сказал: "Когда вы сошли с поезда, у вас было лицо Анны Карениной". Очевидно, он понял, что во мне по отношению к нему произошла перемена. Мы объяснились, и я согласилась жить в будущем вместе.

— Какими были семь лет жизни с писателем?

— Моя жизнь с Бабелем была очень счастливой. Мне нравилось в нем все, шарм его был неотразим. В его поведении, походке, жестикуляции была какая-то элегантность. На него приятно было смотреть, его интересно было слушать; словами он меня просто завораживал.

— Что послужило основанием для ареста Исаака Бабеля? Официальная причина существовала?

— Бабель был обречен как выдающаяся личность, как писатель, неспособный к сделке с правительством. Запугиваний не было. Доносы были, но это выяснилось позднее из "дела" Бабеля. Обыска у Бабеля до ареста не было. Официальная версия ареста Бабеля — японский шпион. Допросы Бабеля после ареста в КГБ опубликованы в нескольких изданиях. К Бабелю был приставлен, как потом выяснилось, писатель Я.Е. Эльсберг. Он был причастен и к арестам других писателей.

— Как сложилась ваша судьба после ареста мужа?

— После ареста Бабеля я продолжала работать в Метрогипротрансе — проектировала станции московского метро, а позднее преподавала на кафедре тоннелей и метрополитенов в МИИТе (Московский институт инженеров транспорта). Была соавтором первого и, насколько я знаю, единственного учебника по строительству тоннелей и метрополитенов. Растила дочь, потом внука. Занималась изданием произведений И.Э. Бабеля. После переезда в Америку работала над изданием моих воспоминаний о Бабеле на английском языке, а также над другими изданиями. Написала воспоминания о моей собственной жизни. Часто встречалась с журналистами, приняла участие в съемках нескольких документальных фильмов о Бабеле.

— Где сейчас находится архив материалов Бабеля?

— Часть архива Бабеля находится у нас. Часть была продана каким-то коллекционерам старшей дочерью Бабеля Наташей. А основная часть архива была изъята при аресте КГБ, и нам до сих пор не возвращена.

— А вы пытались?

— Существуют ли еще эти архивы, — документированного ответа на этот вопрос получить до сих пор не удается...

Андрей Малаев-Бабель: "Бабеля в Америке читают и знают"

В Америке внук Бабеля Андрей Малаев поставил моноспектакль по рассказам Бабеля. Мы поговорили о том, как же представлен русский писатель Исаак Бабель в США.

— Что вы скажете о будущем памятнике Бабелю?

— Макет всей нашей семье понравился. Как сказала моя бабушка, внешность Бабеля отображена достаточно достоверно, передан образ писателя,

мыслителя, жившего в нелегкое, трагическое время. Чем дальше от нас отдаляется, скажем, бабелевская Одесса, тем менее доступным становится бабелевский юмор, колорит. Забавные фразы и обороты (типа "Холоднокровней, Маня, вы не на работе"), которые цитировали наизусть поколения интеллигенции 60-80-х годов, не вызывают уже той бурной реакции у зрителей. Непереводимы они и на иностранные языки. В результате в России, как и во всем мире, трагический, глубинный талант Бабеля выступил наконец на первый план. Из бытописателя он окончательно перешел в разряд великого мастера слова, мирового классика, отобразившего сложнейшие духовные и исторические процессы 20-го века.



Андрей Малаев-Бабель

— Насколько я знаю, именно благодаря вам бабушка и мама переехали в Америку.

— В 1990 году я по культурному обмену приехал в США. В Москве в годы перестройки существовал Театр камерных форм, которым мы руководили совместно с Давидом Шнейдеровым — известным ныне в России телеведущим и продюсером. В США я неожиданно почувствовал себя более востребованным как режиссер, актер и театральный педагог, чем в России. В том же году в Вашингтоне я встретил мою будущую жену, и судьба моя решилась. Бабушка Антонина Николаевна и моя мама Лидия Исааковна переехали к нам под Вашингтон в 1996 году. В начале 2000-х годов политический и экономический климат в Вашингтоне резко поменялся, и это совпало с моим желанием вернуться к театральной педагогике, которой я вплотную занимался до создания театра. В настоящее время я являюсь профессором мастерства актера в престижной американской театральной консерватории "Асоло" при Университете штата Флорида. Выходят в печать мои книги о Евгении Вахтангове, я продолжаю ставить спектакли — и у нас в консерватории, и в антрепризах. Дважды за последние десять лет привозил свои спектакли в Россию, на Волковский фестиваль.

— Существует ли еще в Америке созданный вами театр?

— Stanislavsky Theater Studio в Вашингтоне возник в 1997 году и ус-

пешно просуществовал в течение восьми лет, пользовался большой популярностью у публики, уважением в прессе. Репертуар театра, завоевавший в Америке многочисленные театральные награды, основывался на классике — "Фауст", "Дон Кихот", "Братья Карамазовы", "Идиот", "Чайка", "Маленькие трагедии", "Мертвые души" — вот только некоторые из названий спектаклей театра. А моноспектакль по рассказам Бабеля, поставленный английским режиссером Сарой Кейн (специалистом по системе Михаила Чехова) и оформленный выдающимся русским театральным художником Александром Окунем, до сих пор сохранился.

— Как американцы относятся к Бабелю?

— Бабеля в Америке читают и знают, как и во всем мире. Знает и читает его, конечно, интеллигенция. Бабель никогда не был "культовым" писателем. Насколько мне известно, немалая часть средств на памятник Бабелю в Одессе собрана именно за рубежом...

— А какое отношение в Америке к Сталину — губителю Бабеля?

— Негативное мнение о Сталине как о губителе миллионов, в их числе и Бабеля, существует и в Америке, и во всем мире — опять же, речь идет о думающих, интеллигентных людях. В России сталинские преступления теперь, кажется, считаются "в порядке вещей", а фигура Сталина становится историческим и политическим знаком — что-то вроде Ивана Грозного при самом Сталине. А ведь в преступлении Сталина виноват не только Сталин, да и след от его злодеяний еще очень свеж...

— В Америке издают Бабеля?

— Да, в 2005 году издательством Norton был издан однотомник полного собрания сочинений Бабеля. В 2009 году то же издательство выпустило однотомник избранных произведений писателя, дополненный воспоминаниями и критическими статьями о Бабеле. А в России Бабель издается регулярно.

— Планируете приехать в Одессу на открытие памятника Бабелю?

— Да, а также хочу посетить Россию. Планирую мои гастроли с моноспектаклем по пяти рассказам моего деда — "Бабель: Как это делалось в Одессе". В рамках этих гастролей намечаются также спектакли в США и в Европе. Во время этой поездки будет снят и документальный фильм о Бабеле. Маршрут гастролей пролегает по местам, связанным с жизнью Бабеля и его семьи.

Фото из личного архива Антонины Пирожковой
и Андрея Малаева-Бабеля

Александра ИЛЬФ

Подарок от мамы

Хочу признаться, что с тех пор как я стала "дочерью Ильфа и Петрова", меня *преследовала* удача. Не знаю, заслужила я эту удачу или нет, но мне удалось впервые издать полностью записные книжки моего отца, два альбома его фотографий и американские письма соавторов; выпустить в свет их неопубликованные и забытые сочинения; реконструировать неосуществленную книгу Петрова "Мой друг Ильф", а также издать книжечку, посвященную старшему брату Ильфа — одесско-парижскому художнику Фазини. Это были *удачи*.

Но были и *находки* в полном смысле этого слова. К ним причислю ранние ильфовские фотографии; переписку моих родителей, начиная с 1922 года, и случайно попавшую мне в руки записную книжку Евгения Петрова (1933/34). Перебирая разношерстный домашний архив, я всегда надеялась найти (и даже находила) нечто важное. Короче, жизнь моя протекала под лозунгом: "*Находки возможны и в наше время!*".

Не так давно мне показалось, что все практически исчерпано. Тогда я стала фотографировать все, что можно сфотографировать, и сканировать все, что можно сканировать: "с раньшего времени" сохранились прижизненные издания соавторов; старые книги, купленные Ильфом на книжных развалах; документы, бумаги, письма, вещи и прочее, и прочее. Подкрепленные старыми фотографиями, они живут в компьютере, но до конца еще далеко.

Могла ли я думать, что судьба снова сделает мне подарок?

Подарок от мамы.

Конечно, я знала, что мама была художницей, но по детскому невниманию и дальнейшему легкомыслию не придавала этому особого значения. По разным причинам получилось так, что после ее кончины в 1981 году в доме остались листки с карандашными набросками, альбомы с рисунками и две-три картины маслом. Все остальное как-то растворилось во времени, да я и не помнила толком, что это было.

Шли годы, и сожаления по поводу утраченного усиливались. На стене у меня уже висел мамин автопортрет (из тех, оставшихся), написанный в начале 1930-х, и я только разводила руками, отвечая: "Больше ничего нет". Рассматривая старые фотографии, я не могла не заметить мамину живопись, украшавшую комнату Ильфов в Соймоновском проезде, но не



Мария Тарасенко. 1919 г.

думала о ней. Точно так же, читая когда-то "Одноэтажную Америку", я не думала о том, что мне предстоит встреча с Бекки Адамс, которую в действительности звали Флоренс Трон.

И вдруг — это случилось на исходе 2010 года — мне сказали, что в одной художественной мастерской, в течение многих лет принадлежавшей разным скульпторам, под "культурными слоями" обнаружились картины. Может быть, они принадлежат Марии Николаевне?

В несколько приемов мне доставили более трех десятков холстов. Я видела их впервые, но *узнала* сразу. Я бесконечно смотрела, разглядывала. Модели, модели, модели. Автопортреты, автопортреты. Натюрморты, натюрморты. Интерьер. И даже мой небольшой портретик, мне лет двенадцать. А главное — среди них были четыре картины, известные по фотографиям 1929 года и 1933-го.

Это было счастье.

Теперь можно рассказать о маме и ее живописи. Здесь не будет ничего искусствоведческого. Будет только то, что я знаю или чему доверяю.

Если произнести фамилию ИЛЬФ, к ней немедленно присоединится фамилия ПЕТРОВ. Писатели не забыты. До сих пор постоянно издают их книги; часто показывают фильмы, поставленные по знаменитым романам; люди с интересом читают воспоминания, комментарии, а то и литературоведческие труды; за границей выходят переводы.

Как известно, писатель Ильф-Петров "родился дважды": в 1897 году и в 1902-м. Оба эти события произошли в городе Одессе. Там Илья Файнзильберг и Евгений Катаев провели детство, отрочество и юность (в разное время и по-разному). Новый, московский период, начинается в 1923 году, а осенью 1927-го рождается творческий дуэт — ИЛЬФ-ПЕТРОВ.

Но если вернуться в Одессу самого начала 1920-х, мы обнаружим, что фамилия ИЛЬФ прочно связана с фамилией ТАРАСЕНКО.



Коллектив художниц. 1920 г.

Юная Маруся Тарасенко — настоящее дитя Одессы. Она живет в Вознесенском переулке, № 20, кв. 1, недалеко от вокзала. Ее родители — Кузьма Игнатьевич Тарасенко (казак Полтавской губернии, в то время — пекарь) и Елена Андреевна (в девичестве Шевченко). Маруся — старшая, она очень хороша собой, ей семнадцать лет. Ее брату Коле — шестнадцать, есть и младшие сестрички — Надя и Женя. Простые родители Маруси "держат ее (по одесскому выражению) за принцессу", балуют как могут это хрупкое, поэтическое, впечатлительное существо, далекое от житейских забот и склонное к изящным искусствам. После окончания женской гимназии Александровой (1919) девушка поступает в 3-ю Пролетарскую художественную студию, бывшую "частную рисовальную школу" Владимира Рейнгбальда, выпускника петербургской Академии художеств ("Разрешенная министерством императорского двора школа рисования и черчения классного художника В. Рейнгбальда. Одесса, площ. Кондратенко, № 2. Живопись, живая натура и подготовка во все специальные учебные заведения".) В этой школе Маруся подружилась с Тоней Трепке, Генриеттой (Женей) Адлер и Раей Менделевич.

Создание "Коллектива художниц" (по аналогии с "Коллективом поэтов" — литературным объединением, куда входили В. Катаев, Ю. Олеша, Э. Багрицкий, И. Ильф, Л. Славин и другие, прославившие потом


Удостоверение
№ 26 Дано сие Марии Тарасенко в том, что она действительно состоит ученицей 3-ей Преображенской Художественной студии
Действительно до 8 Января 1921 г.
Заведующий В Рейнбальд
19/XII 20 г.
Секция изобразительных искусств
Губнароб

родной город), явилось подлинным событием в культурной жизни Одессы. Молодой живописец Наум Соколик, творивший под псевдонимами *Ю* и *Sokolini*, пришел в школу Рейнгбальда как представитель Наробраза, отобрал четырех девушек из числа "подающих надежды" (ими стали подруги — Генриетта Адлер, Раиса Менделевич, Мария Тарасенко и Антонина Трепке), добился у городских властей помещения на Преображенской улице (№ 4, второй этаж) и организовал студию, которую Ильф называл "милым девичьим гнездом на Преображенской". Вот вспоминания о тех временах писателя-одессита Сергея Бондарина:

"...В доме над самым обрывом, в нетопленной квартире, брошенной прежними хозяевами, несколько девушек под самоотверженным руководством художников-энтузиастов образовали студию. <...>

Зимой двадцать первого года там протекло немало чудесных долгих вечеров у раскаленной докрасна печурки, среди подрамников и мольбертов, в запахе красок, жареной кукурузы, морковного чая, в беседах, шутках, импровизациях, в подражании монмартрским нравам. Не только юноши, но и пожилые люди любили бывать там. Душою общества был ласковый и остроумный Михаил Александрович Медведев, седовласый художник, знававший Париж, Мюнхен, Вену. Разве может это не понравиться?

Чуть ли не ежедневно бывал здесь Багрицкий, появились Ильф и Славин, зачастил брат Ильфа, художник Маф — Михаил Арнольдович, за глаза больше известный под именем Миша Рыжий... Зашел как-то задумчи-

вый пролетарий Гехт в кожаной куртке наборщика, попахивающей свинцом. Бегал сюда Сёма Кирсанов, удивляя девушек зычными будетлянскими стихами, голосом слишком громким для подростка. Багрицкий, может быть, сам под впечатлением новой своей поэмы "Сказание о Летучем голландце", бросил словцо, и за тремя девушками из "Коллектива художников", статными и длинноногими, закрепилась романтическая кличка — валькирии".

* * *

Хотелось бы рассказать подробнее о художниках, навещавших "валькирий", о Науме Соколике, но это отдельная тема. Что касается самих валькирий, то Антонина Вольдемаровна Трепке с семьей уезжает в 1924 году во Францию (Ильф встречался с ней в Париже), потом в Америку. Генриетта Савельевна Адлер (помните, в ильфовских записных книжках — "Гей ты, моя Генриетточка!"?) переезжает, как и Маруся, в Москву и выходит замуж за молодого литератора Сергея Бондарина. Раиса Лазаревна Менделевич, также ставшая москвичкой, в течение многих лет дружит с Генриеттой Бондариной и Марусей Ильф.

Скажу несколько слов о моем дяде, Михаиле Арнольдовиче Файнзильберге (1896-1942) с "музыкальным" псевдонимом Mi-fà, который вместе с Соколиком давал уроки живописи девушкам на Преображенской.

"Второй брат [Ильфа] был Миша. Михаил Файнзильберг... — вспоминал Окс, — его кличка была Миф`а. Еще его звали близкие друзья "рыжий Миша". Он презирал младших. Он носил ирландскую бородку, то же пенсне. Носил кепку так же, как Иля. Это был человек необычайный...

Он буквально оглушал собеседника оригинальностью, парадоксами, знаниями. <...> Он говорил: "После кубизма художники получили опыт, но многие... остались на всю жизнь идиотами". Он мечтал о библиотеке из 100 мировых шедевров".

В выставках группа не участвовала, документальных свидетельств работы коллектива не сохранилось. Правда, когда-то, в Одессе, в поле зрения попал портрет Маруси Тарасенко, написанный Соколиком, о чем говорит подпись: *Sokolini fecit. Anno 1921.* В свое время я получила предложение купить портрет, но он мне не понравился: я знаю, что мама была тогда очень молоденькой, очень хорошенькой, очень худой, с овальным личиком, а художник представил ее пышной тициановской матроной с тяжелым подбородком. Нынешний владелец картины (Л. Шаповалов, Германия) прислал мне ее фотоизображение (холст, масло; 60х50 см). Мама



бережно хранила три графических листа одесских лет — два автопортрета и набросок мужской головы.

Молоденькие "валькирии" по-ученически обожают своих преподавателей и страшно горюют, когда те покидают Одессу. Осенью 1921 года уезжают и Соколик (в Проскуров, нынешний Хмельницкий), и Ми-фа (в Петроград). Девушки переписываются с ними. Для Маруси живопись — важнее всего, она буквально преклоняется перед своим вторым учителем — Mi-fa. Вот отрывки из ее писем:

Петроград
Моховая 23, кв. 12
Михаилу Арнольдовичу Файнзильбергу

Одесса, 16 февраля 1922: "*Тоня [Трепке] с третьего дня Рождества в Одессе. Пишем друг друга. Еще по целым дням занимаемся по архитектуре. Это очень хорошо, но — Э, что писать! Живопись или архитектура, архитектура или... Прежде мучилась над этим, а теперь... Благодарю, что не забыли девочек. Наша школа существует. Работаем теперь дома, а станет тепло — опять будем все вместе. Если писать о себе, то работаю по возможности побольше. Работать и работать. Мне трудно Вам писать, а еще труднее — о живописи. Спрашивать? У меня есть много, очень много вопросов, а кому... Ну, что мне делать? Господи, я ведь совсем маленький ребенок в живописи. Я не могу сразу писать. Полезным, конечно, Вы очень можете быть для меня. Я не забуду этого, Mifa*".

17 ноября 1922: "*Я работаю, много работаю*".

17 апреля 1923: "*Я работаю, работала и буду много, много работать. Пускай плохо, пускай ничего не понимая, но так надо. Иначе невозможно, и не быть иначе. И мне ничего не нужно, кроме этого.*

Все маленькие горести отходят, и всегда только эти одни единственные, незаменимые. Как можно променять на что-либо другое".

Миф`а советует "грустной Мэри" ехать в Петроград ("А лучше всего попросите маму, чтобы она вас отпустила учиться в Петроград. Только здесь зимой чертовски холодно, и лучше всего заручиться тетей с печкой и дровами") и рассказывает ей "о жизни и творчестве".

Еще зимой 1921/22 года в "Коллективе художниц" Ильф знакомится с Марусей и день ото дня все больше влюбляется в нее. Девушка похожа на свои автопортреты — робкая, красивая, "с худыми, вызывающими нежность руками". К осени 1922-го влюбленность Ильфа перерастает в "сумасшедшую любовь". 10 октября 1922-го он впервые дотронулся до ее руки. С ней он провел свой день рождения 16 октября. Она первой призналась ему в любви. Он позировал ей. Об этом можно рассказывать бесконечно.

В начале января 1923-го Ильф уезжает в Москву, и начинается его переписка с Марусей, которая продолжалась всю жизнь. Их письма опубликованы, об этом писать не буду. Важно, что 17 сентября 1923 г. Маруся уезжает в Петроград, где поселяется под присмотром Миф`а на Васильевском острове (2-я линия, № 15, кв. 25). Можно предполагать, что она поступила в СВОМАС (Свободные государственные художественные мастерские, бывш. Академия художеств). В ее автобиографии написано: "В 1923 училась в Ленинграде в студии архитектора Фомина". Вряд ли Маруся хотела стать архитектором. Но, может быть, на нее повлиял выбор подруги — Тони Трепке, учившейся там в 1921 г. на архитектурном отделении?

После темной, сонной, провинциальной Одессы, после "старого и мрачного Вознесенского переулка" она в восторге от города, в котором "светло, ясно и много солнца". По всей видимости, она работает, просит мать прислать из Одессы ее картины. Бедная Елена Андреевна спешит угодить любимой дочке, пересылает холсты ("портреты Изи (имя мужской модели. — **А. И.**) и девочки") с кем-то из железнодорожников, трогательно беспокоится: "Картины ли твои сохранились, не испортилась ли эта, где написан Изя? Потому что она сырая, и я не знала, как бы получше ее запаковать" (19 ноября 1923). Сообщает: "...поклон тебе от Соболя (художник Наум Соболь. — **А. И.**) и Генриетты [Адлер]. Они были у нас и взяли картину Соколини "Прачка" и еще некоторые маленькие акварельные рисунки" (31 октября 1923). Излишне говорить, как тоскуют по ней родители. Отец, полтавский казак могучего сложения, высоченного роста, с усами, как канделябры, теперь "страшно жалеет, что так грубо поступил" с ней перед отъездом, беспокоится, чтобы она не голодала, грус-

тит: "Далеко очень ты от нас улетела, наша дорогая и будущая художница". Письмо заканчивается нежно: "Целую тебя у самый лобик и у правую щечку".

Ильф у себя в Москве тоже тревожится: "Напиши, как ты стараешься и что у тебя выходит. Надеюсь на тебя" (3 октября 1923). "Как твоя живопись?" (23 октября).

Казалось бы, все неплохо. Но вдруг у Маруси происходит глупая ссора с Мишей, и он требует, чтобы она уехала. Она уезжать не хочет, жалуется Ильфу: "Для меня уехать ужасно — из-за работы. Я должна была работать у Карёва" (22 октября 1923).

Неизвестно, что было дальше, в ее письмах — только переживания, а Ильф по-прежнему спрашивает: "Напиши мне, работаешь ли ты у Карёва". И в конце письма снова: "Работаешь ты уже или нет? Напиши мне, и если нет, непременно скажи, почему. Нет ли денег или Миша не сделал того, что обещал?" (5 ноября 1923). К сожалению, неизвестно, что именно обещал Миша (устроить в студию к Карёву?) и чего он не сделал (не удалось устроить? требовалась плата за учение?). Кончается тем, что 2 января 1924 г. вконец расстроенная Маруся уезжает в Одессу.

Ильф умоляет ее не возвращаться в Петроград, а приехать к нему в Москву. Но почему они все время в разлуке? Да потому что он ютится в "Общежитии имени монаха Бертольда Шварца", и читатели романа "Двенадцать стульев" должны понимать, что жить вдвоем в "пенале" невозможно. Михаил Булгаков сравнивал их комнатушку с телефонной трубкой, а Юрий Олеша — со спичечным коробком. Но все-таки "пенал" лучше разлуки! "В феврале я приехала из Одессы, куда ездила к родителям на Рождество, в Москву, и мы стали жить вместе в Чернышевском переулке, — записала потом на каком-то листочке М. Н. — В апреле я уехала снова в Одессу".

Перед отъездом они поженились. Это было 21 апреля 1924 года, а уже 25-го она снова в Одессе. И начинаются ее бесконечные приезды и отъезды, потому что в Москве жить им по-прежнему негде.

"Илья Арнольдович Ильф был мужем моей старшей сестры Марии Николаевны, — вспоминала Надежда Рогинская. — Она тогда занималась живописью (была очень талантлива), сначала училась в Одессе, затем уехала в Ленинград, потом жила в Москве, где и вышла замуж за Ильфа. Ей тогда было немногим больше 19 лет. Она была очень красива. Я помню, тогда так и говорили: "У Ильфа красавица жена".

Кстати, почему Мария *Николаевна*? Ведь отец был Кузьмой. Однако

все три дочери сочли это имя слишком грубым, неизящным и стали называться *Николаевнами*.

Валентин Катаев в романе-мемуаре "Алмазный мой венец" упоминает о ней как о "красавице-художнице из нашего города".

Из автобиографии М. Н.: "В 1924 уехала в Москву. Училась в художественной студии художника Кардовского до 1927". Подробностей не знаю. Фамилию Д.Н. Кардовского от нее слышала.

1 мая 1925 Ильф шутливо пишет в Одессу: "Он [Миша Рыжий] тут похаживает и похваливает твои автопортреты. Кстати, он привез из Петербурга твои автопортреты. Теперь их уже ровно тысяча".

В летние одесские месяцы она живет не в родительском доме, а снимает дачу у моря. Ее сестра Надежда вспоминала: "М. Н. приехала на дачу в Одессу, где мы жили с ней вдвоем, у самого моря. Мне тогда было около 15 лет, но я была хорошей хозяйкой и поварихой. Она могла спокойно заниматься своей живописью. Моя дорогая сестра никогда не любила заниматься хозяйством".

Возьмем, к примеру, лето 1926-го.

1 июня М. Н. пишет Ильфу о том, что нашла дачу:

"*Прислугу я решила не брать. Т. е. так я решила с Надей. Даже одна Надя. Вот почему. Нас двое. Нам нужно только обед. Чай поставить несложно. Зачем же она нам, если нас так мало. Надя будет варить обед.*

Напишите, сколько Вы будете (Ильф и М. Н. были то на "Вы", то на "ты", но главным образом — на "Вы". — **А. И.**) *давать мне денег. <...> В городе сидеть трудно, и нужны холсты*".

3 июня Ильф отвечает: "*Послезавтра, 5-го, я Вам пошлю 70 рублей. Купите себе холст, дайте задаток и переезжайте*".

10 июня Маруся сообщает: "*Иля, я купила холст очень хороший. По 70 к. Это очень дешево. Устроил мне один знакомый. Целых 7 метров. Дают вообще только полтора*".

14 июня: "*Натягивала и грунтовала холсты, намучилась, испачкалась, как только я умею. ...Я очень хочу начать работать. Как только высохнут холсты, я это сделаю*".

Ильф шлет ответ: "*Очень прошу тебя не скучать и жить спокойно. Кушай побольше, а кури поменьше. И не бегай. Сиди на одном месте и рисуй*".

Из Марусиного письма от 17 июня:

"*Хочу начать работать, но проклятые холсты не сохнут. Черт знает, когда высохнут. <...>*

...Еще просьба (честное слово, мне неудобно просить), но нужно на Рождественке во Вхутемасе купить 3 тюбика белил. Здесь они гораздо дороже и хуже. Они по 50 коп. Ничего?

...Я немножко мучусь с "рисованием". Очень трудно. Вчера ставила nature morte. Ничего не выходит".

Не хотелось бы ничего выдумывать, ограничусь фактами.

В 1926-м Ильфы и Юрий Олеша с женой Ольгой Густавовной переселяются из "гудковского" общежития в комнатушки плохонького флигелька в Сретенском переулке. Раз появилась отдельная комната, можно начать работать.

По воспоминаниям Надежды Рогинской, "рядом, в наружном коридоре, ближе к входу, жила многочисленная семья татар. <...> Часто девушки из этой семьи (а их было как-то очень много) оказывали всякие мелкие услуги соседям. Мария Николаевна тогда очень успешно занималась живописью, охотно писала портреты. Молодые татарки (конечно, за известную мзду) соглашались позировать художнице даже "ню". На стене в комнате Ильфов висел очень удачный портрет молодой обнаженной по пояс татарки, и маленький пасынок Олеши — Игорь, сын Ольги Густавовны (ему было лет шесть. — **А. И.**), — привел к портрету своего кузена Севу Багрицкого (Олеша и Багрицкий были женаты на сестрах Суок. — **А. И**.) и в восхищении воскликнул: "Смотри, Сева, какие соски!". По-видимому, он имел в виду груди. Тот тоже одобрил".

Из автобиографии М. Н.: "С 1927 по 1932 работала в качестве художника-графика в издательстве Сельколхозгиз (пр. Художественного театра, 4, и Никольская, 10/2); 1933-34 в издательстве Горногеологонефтеиздат (Лубянский пр., 3)".

Думаю, что автобиография приукрашена, потому что М. Н. окончательно переселилась в Москву только осенью 1929-го: Ильфы, наконец, получили большую комнату в коммунальной квартире в Соймоновском проезде, напротив храма Христа Спасителя. Знаю, что она занималась не только живописью, но и ретушью. Ее учил Миф`а, который в Москве стал Мафом. Сохранилась ретушированная фотография, подписанная мамой: "Моя первая ретушь".





Ближе к зиме 1929-го Ильф увлекся фотографированием. Однажды М. Н. тоже соблазнилась и, установив ильфовскую камеру "Бебе-Иконта" на штатив, рискнула сделать несколько снимков. Изображения нерезкие, размытые, но появилась возможность увидеть не только Ильфа и Петрова за обдумыванием романа "Великий комбинатор" или домработницу за уборкой, но и одну из картин, подаренных мне судьбой: это портрет девочки-натурщицы со скрещенными руками, — он висел над диваном, у окна. Судя по отцовским фотографиям, он остается там и в 1930-м, и в 1931-м, — только место диванчика занял рояль. Кстати, этот диванчик с боковыми валиками позволяет датировать портрет еще одной девочки-модели.

На снимках, сделанных в июле 1930-го младшим братом Ильфа — Вениамином Арнольдовичем, мы видим М. Н. за мольбертом, с палитрой, и два ее натюрморта — кувшин с цветами и блюдо с фруктами. 30-го июля она пишет Ильфу в Ленинград: "Я работаю". Та же "натура" стоит на ломберном столике, но букет увял, а фрукты съедены.

Тогда же был написан и поясной портрет сестры Надежды "ню" — но очень целомудренное "ню". Перед ней цветут бело-розовые пионы в красной вазочке. Как видно, на следующий день М. Н. приступила к автопортрету с этими же пионами: теперь они лежат на столе, а в вазочках благоухают ландыши. Обе картины выполнены в нежной жемчужно-розовой гамме. Жертвой живописи пал и Вениамин Арнольдович, изображенный с идеальным портретным сходством. Задерживает внимание большой портрет молодого человека, напоминающий снимок провинциального



фотографа. Большинство портретов и натюрмортов написано в самом начале 1930-х.

И чем дальше, тем интересней. Существует великолепная фотосъемка Виктора Иваницкого, запечатлевшая один день из жизни Ильфов в Соймоновском проезде весной 1933 года. Друг писателей, писатель Виктор Ардов описывал их комнату, "убранную с удивительным вкусом... Окружающие его [Ильфа] редкие безделушки — пузатый фарфоровый Будда, фаянсовые львы с геральдическими щитами, кустарные красные лошадки, даже расположение мебели и посуды — все показывает, что мы в обиталище художника. Да оно так и есть. Мария Николаевна Ильф отлично пишет маслом; и сам Илья Арнольдович любит и хорошо разбирается в живописи, скульптуре, графике".

На нескольких снимках Иваницкого видны три картины М. Н. — одна вертикальная, большого формата, и две небольшие, почти квадратные. Теперь эти картины здесь, у меня!

Первая — поясной портрет неизвестного (не то шофера, не то летчика) на синевато-сером фоне. У него кукольное лицо: румяные щеки, черные усики, маленький ротик и восточные сросшиеся брови. Уши красные, как от мороза. Он позирует в барашковой шапочке пирожком и двубортном пальто с барашковым воротником. Желтые кожаные перчатки, под мыш-



кой черная кожаная сумочка; на коленях он придерживает какую-то горжетку желтого меха. (Мне смутно припоминается эта горжетка. В детстве я как будто заворачивала в нее кукол, мех совсем вылез.) Некий примитивизм. Не Пиросмани, но какие-то ассоциации возникают.

Второе полотно — автопортрет в синей шляпке. Здесь, очевидно, борьба шла за цветовые соотношения, а не за сходство, потому что мама, как я уже говорила, была вполне красавицей, а здесь это нисколько не заметно. Зато очень удачным кажется сочетание густого синего (шляпка) с золотистым (волосы), розовым (лицо) и красновато-розовым (жакет). Вероятно, художнице нравится автопортрет, потому что он виден и на фотографии Вс. Чекризова, сделанной в Нащокинском переулке осенью 1933-го.

Третья картина — натюрморт, очень нежный, светлый, перламутрово-розовый. Парящая в воздухе вазочка с распавшимся букетиком цветного горошка уравновешивается тяжелым столовым ножом, лежащим диагонально на первом плане.

Могла ли я думать, что эти картины сохранились? Могла ли я надеяться, что я их увижу? Где они были, пока лет 60 назад не попали в мастерскую? Неужели в нашей квартире в Лаврушинском переулке? Помню только, что на стенах они не висели. Может быть, лежали в чулане? Был у нас там большой чулан с полками (мы называли его "кладовка").



Фото Иваницкого. Весна 1933 г.

Комната у меня теперь небольшая, плотно заставленная книжными шкафами, над диваном — всего кусок стены для "экспозиции", но мы развесили полотна так же, как на снимках Иваницкого.

Интерьер в зеленых тонах оставил память о переезде в Нащокинский переулок осенью 1933 года. Одна из двух комнат новой квартиры. Мне все в ней знакомо, я выросла среди этих вещей. Слева, у окна, комодик, увенчанный "геральдическими" львами; на первом плане виден самый край "американских" книжных шкафов. Справа, у окна — ломберный столик с канделябром; на столике лежит большое круглое зеркало с ручкой — с одной стороны увеличивающее, с другой — обыкновенное. (Не всякий способен опознать это зеркало — а я *знаю*!) Справа, на первом плане, рояль "Бехштейн". Знакомыми кажутся даже шторы. (Когда мы вернулись из эвакуации в разоренную квартиру в Лаврушинском, эти когда-то синие, выцветшие шторы, все в дырах, задергивались при затемнении.) За окном синие сумерки, горячо светит настольная лампочка в самодельном бумажном абажуре. Посреди комнаты — обычный художественный беспорядок: мольберт, крашеная табуретка, скамеечка; холсты в подрамниках, кисти на подоконнике. Думаю, что отец в это время был в поездке по Европе.



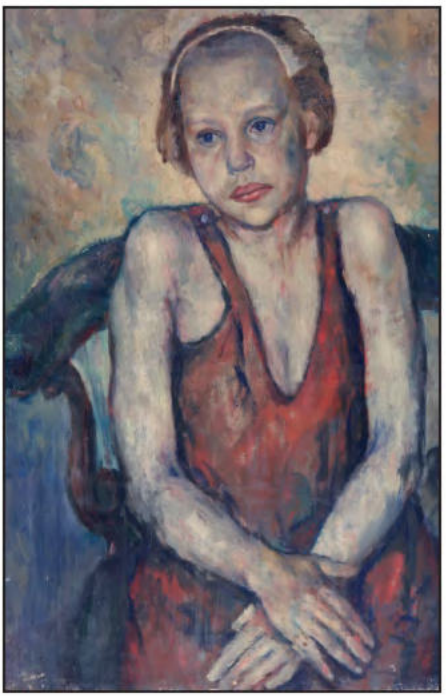














Ильф и Петров. Соймоновский переулок. 1929 г.

Из писем М. Н. в Париж: "*Приехала домой, работала...*" (2 октября 1933), "*Я живу тихо, вернее, работать еще не начала, как собиралась. Но начну обязательно*" (11 октября 1933), "*Одно время работала и была довольна. Сейчас делаю ретушь и недовольна*" (8 ноября 1933).

15 ноября 1933 Ильф записывает: "*Ретушерские принадлежности. Акварель — 2. Краски, кисти*". Это парижские покупки для любимой жены.

Диалог в письмах:

М. Н. (18 ноября 1933 — в Париж): *...Если у тебя будут лишние деньги, купи мне, пожалуйста, кисти. Очень прошу. Если краски дорого, то, пожалуйста, не нужно.*

Ильф (24 ноября 1933 — из Парижа): *Краски, кисти и всё, что тебе надо, я привезу.*

М. Н. (29 ноября 1933 — в Париж): *...Мне хочется жить хорошо, хочется работать.*

Ильф (18 декабря 1933 — из Парижа): *Писал ли я Вам, что краски и кисти уже куплены? И купил еще Вам две чудные коробки акварели. Такие краски, что их хочется кушать.*



На нескольких блокнотных листках М. Н. рисует Ильфа после возвращения из заграничной поездки. Нащокинский переулок, 1934-й год. Ильф — без пиджака, в подтяжках, сидит, характерно закинув голову. Ильф устроился на диване с ногами; наверное, после купанья: на мокрых волосах — сеточка. Ильф лежит, закинув руку за голову, в другой руке папироса. Ильф и М. Н. — за обедом, перед тарелками с супом; щеголеватая домработница вносит блюдо каких-то тефтелей. М. Н. лежит на кровати с книгой — и мы видим интерьер другой комнаты их квартирки. Теперь ясно, когда появились карельский шкафчик с латунными накладками и сливочного цвета ковер с меандровым орнаментом. Карандашные рисуночки иногда подцвечены акварелью. Листки заполнены миниатюрными женскими и мужскими фигурами, городскими видами. Здесь и автопортреты, и одесская бабушка Елена Андреевна, и Вениамин Арнольдович в галифе, и писатель Борис Михайлович Левин.

Весной 1935-го родилась я. До живописи ли? Мама полностью отдалась воспитанию младенчества.

По дороге в Соединенные Штаты, задержавшись на несколько дней в Париже осенью 1935-го, Ильф покупает М. Н. деревянный манекен и альбомы для акварельных рисунков, которые передает ей художник Натан Альтман. Один из французских альбомов заполнен в 1936-м в Краскове, где мама живет со мной на даче, и в Москве. После возвращения из Штатов Ильф до поздней осени 1936-го лечится в санаториях. Зимой 1936/37 семейство переезжает в Лаврушинский переулок.

Второй альбом для эскизов мама раскрыла уже после смерти Ильфа. Горе и отчаяние. Ей предстояло прожить без него сорок четыре года. Ее живопись созвучна настроению. Стиль изменяется, наступает время некоего импрессионизма, будто она хочет укрыться в сплетениях размытых линий и блеклых красок.





Большой натюрморт: цветы в кувшине. С первого взгляда букет почти неразличим, почти растворился в темном фоне, но может преображаться в зависимости от освещения, от угла зрения. Вдруг рождается цвет, букет становится нарядным. Высвечивается фон. Проявляется форма. На столе материализуется какой-то плод (груша?). Просачивается далекий свет с улицы. Возникают очертания книжных полок. На картину можно смотреть долго, — меняя место, приближаясь, отходя. Каждый раз она другая — живая.

В той же манере, неяркими красками, написаны два автопортрета, натюрморт и два вида с балкона в Лаврушинском.

Мама любила играть на рояле и рисовать. Это утешало ее, отвлекая от повседневности, давая возможность увериться, что она чего-то ст̀оит. У нее было два мольберта — один легкий, складной, другой основательный, толстоногий, как старый кухонный стол. Комната была завалена кистями, тюбиками с красками, пахло скипидаром. Когда нет модели, у художника есть выход: автопортрет или натюрморт. Мама обращалась к тому и другому. Целыми днями она могла сидеть за мольбертом перед зеркалом или увядающей "натурой".

Анекдот: как-то раз Вениамин Арнольдович в задумчивости съел лучшие фрукты из натюрморта. Мама сердилась, обвиняла его в непонимании искусства и отсутствии вкуса. (Но *вкус* у него как раз был!)

Летом в мои школьные годы мы жили на даче: обычно мама снимала в подмосковной деревне комнату с верандой. Иногда разными льготами и обещаниями ей удавалось уговорить меня и мою двоюродную сестру "посидеть" хоть немножко. Мы не хотели позировать, убегали! Несколько



набросков все-таки сохранились. Нередко я замечала, что мама смотрит на кого-то (или на что-то) слегка прищуренным глазом, — присматривается к будущему наброску.

Небольшие автопортреты на холсте или картоне написаны в самом начале 1950-х: я помню эти мамины шляпки! (Один автопортрет — сущий Рембрандт!) Есть натюрморты — цветы, фрукты. (Два — сущий Сезанн!) Отличное "кухонное панно" а-ля Машков. Есть и овощи, и грибы, и разделочная доска, и голая сиреневая курица с задранными ножками на белом блюде.

Я рада тому, что найденные картины возвращают нас в 1930-е годы. Это реалии недолгой общей жизни моих родителей, подробности, которые могли бы безвозвратно кануть в прошлое. Для меня мамины картины и рисунки сродни отцовским записным книжкам и так же дороги. Для меня очень важно воздать должное Марусе Тарасенко — Марии Николаевне Ильф — моей маме.

Москва

Роман БРОДАВКО

Маэстро

Известный композитор, дирижер и педагог Юрий Фалик родился 30 июля 1936 года в Одессе. Его отец Александр Фалик был артистом оркестра оперного театра и часто брал сына с собой на спектакли. Одаренный мальчик с ранних лет был погружен в музыку, но война разрушила прекрасный мир детства. Погиб отец, мать и сын оказались в эвакуации в далекой Киргизии и на долгие годы были отлучены от музыки. Глубина и сложность переживаний раннего детства повлияли не только на склад личности, но и на искусство Юрия Фалика.

— Мама и близкие делали все возможное, чтобы трагедии войны не ранили мою душу, — вспоминал Юрий Александрович. — Но избежать острой боли утрат было невозможно. Они были повсюду, в каждой семье, в каждом доме. И отголоски этой боли никогда не уходят из сердца.

В послевоенные годы его судьба складывалась относительно благополучно. После окончания школы имени П.С. Столярского Юрий поступил в Ленинградскую консерваторию. Он блистательно завершил свое образование сначала как виолончелист (в классах А. Штримера и М. Ростроповича), а потом и как композитор (в классах Ю. Балкашина и Б. Арапова). Перед ним открылась блестящая карьера солиста-виртуоза (он стал лауреатом первой премии Международного конкурса виолончелистов в Хельсинки), но этой карьерой он пренебрег ради композиторского и дирижерского творчества и педагогической работы. Четыре десятилетия Ю. Фалик преподавал в Ленинградской консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, был профессором кафедры композиции этого прославленного вуза.

Активной дирижерской деятельностью Юрий Александрович начал заниматься в 60-е годы. В течение нескольких лет руководил камерным оркестром студентов Ленинградской консерватории, с которым исполнил обширный репертуар — от Баха, Генделя, Моцарта до Хиндемита, Стравинского, Вебера. Маэстро выступал с лучшими оркестрами мира. Под его управлением звучала редко исполняемая классика, музыка XX века, собственные сочинения и сочинения его коллег-композиторов.

Юрий Фалик — автор большого количества сочинений самых разных жанров. Среди них — опера-буффа "Плутни Скапена" по Ж.-Б. Мольеру, хореографическая трагедия "Орестея" (по Эсхилу), Легкая симфония для оркестра, Симфония для струнного оркестра и ударных, симфония "Ка-

диш", Скрипичный концерт, Первый концерт для оркестра по мотивам легенд о Тиле Уленшпигеле, концерты для хора a cappella на стихи И. Северянина, Б. Пастернака, М. Цветаевой, А. Пушкина, концерт для духовых и ударных "Скоморохи"... Произведения Ю. Фалика широко исполняются и издаются в России и за рубежом: в США, Италии, Голландии, Финляндии, Венгрии, Чехии, странах Балтии и многих других.

Юрия Александровича нельзя безоговорочно причислить ни к новаторам, ни к традиционалистам. Великолепный мастер, владеющий всеми видами композиторской техники, он был не чужд новым приемам и одновременно искал и находил скрытые резервы в традиционных жанрах и формах. На первом плане у Юрия Фалика всегда были яркость замысла, убедительность решения, захватывающая интрига музыкального развития, красота звучания.

Композитор в шутку говорил, что он "музыкальный авантюрист":

— Мне было тесно в одном жанре, поэтому перешел на дирижерскую и композиторскую работы. Никогда не дирижирую авторские концерты. Составляю программу таким образом, чтобы в нем были одно свое произведение, классическая, редко исполняемая и современная музыка. Однажды в Нижнем Новгороде сыграл концерт, который назывался "Три Чайковских": в первом отделении работал композитор, ректор питерской консерватории Александр Чайковский, затем Борис Чайковский исполнил произведения Александра Чайковского, ну и, конечно же, звучали произведения Петра Ильича Чайковского. Наутро в одной местной газете вышла заметка, мне она очень понравилась, под заголовком "Чайковских много не бывает".

Мастерство нашего земляка всегда было своеобразной гарантией качества концертной программы. В этом мы постоянно убеждались, когда маэстро Фалик дирижировал Национальным одесским филармоническим оркестром.

В 2002 году Юрий Александрович выступал в Одессе со своим однокашником по школе имени П.С. Столярского известным виолончелистом Савелием Шустером, который уже много лет живет и работает в США. Тогда одесские слушатели познакомились с его интереснейшими произведениями для виолончели с оркестром.

В нашем городе под управлением автора состоялось премьерное исполнение Третьей симфонии "Canto in memoria". Она посвящена памяти выдающегося музыканта, многолетнего концертмейстера оркестра Евгения Мравинского, а затем главного дирижера Северонидерландского ор-

кестра Виктора Либермана, с которым Юрия Александровича связывала многолетняя дружба.

Вольтеру принадлежат слова "Память — мать муз". Действительно, любое художественное произведение — это отпечаток эмоций, раздумий, впечатлений, пережитых автором недавно или в далеком прошлом. Однако наиболее острыми являются, как правило, сочинения, которые вызваны чувством невосполнимой утраты. В небольшом по объему произведении Ю. Фалик создал мир человеческой души, стоящей на пороге Вечности. Наплывами приходят разные эпизоды жизни, светлые и грустные, образы тех, кто ушел навсегда... Композитор великолепно использовал инструменты оркестра, у каждого из которых свой "голос" в передаче сложных эмоциональных состояний. Проникающие в самые глубины создания соло кларнета, альт-флейты, альта, арфы, затихающий ритм сердца, переданный ударными... Жизнь уходит, но остается животворящий свет памяти, которая — надолго. Третья симфония — произведение на редкость глубокое по мысли и на редкость современное по языку.

Как дирижер Юрий Александрович всегда был интересен точными, выверенными исполнительскими трактовками, безупречным чувством стиля, ярким артистизмом. Его прочтение классики всегда было художественно убедительно и интересно.

Создание симфоний было для Чайковского, по его словам, "музыкальной исповедью души", "чисто лирическим процессом". Вторую симфонию великий композитор написал в возрасте 32 лет. Он в шутку называл ее "Журавель", имея в виду мелодию украинской народной песни, которую использовал. Премьера прошла в январе 1873 года. Оркестром дирижировал Николай Рубинштейн. Успех был полным: Чайковского увенчали лавровым венком и подарили на память серебряный кубок. И все же в сравнении в великими Пятой и Шестой симфониями Вторая проигрывает. Наверное, поэтому исполняется нечасто. Однако это отнюдь не снижает ее художественной ценности и значимости.

Во Второй симфонии Чайковского, исполненной с одесским оркестром, Ю. Фалику удалось, не жертвуя яркостью каждого отдельного эпизода музыки, показать их в гармоническом единстве творческого замысла тогда еще молодого композитора. Произведение в трактовке дирижера предстало масштабным, цельным, захватывающим. Восхождение от одного кульминационного пика к другому было предельно выверенным, и мы, словно по ступеням, взошли к яркой коде финала.

Поразительно, насколько всегда полным было взаимопонимание Юрия Александровича и оркестра. Судя по всему, музыканты разделяли его взгляд на исполняемые произведения, им была понятна наглядно-образная, обостренно эмоциональная пластика дирижера, и они с уверенностью выполняли любое его требование.

Юрий Александрович был не только разносторонне одаренным и высокообразованным музыкантом. Он был на редкость обаятельным, милым, располагающим к себе человеком. В нем привлекали тонкое остроумие, широкая эрудиция, искренность и сердечность. И еще: на редкость молодое восприятие жизни.

Он ушел из жизни в январе 2009 года, оставив потомкам много прекрасной музыки. Важно, чтобы новые исполнители не прошли мимо нее и продолжали дарить слушателям радость общения с великолепным композитором.



Виктор КОНДЫРЕВ

От Сталинграда до Пигаль
Два эпизода

В этом году исполняется 100 лет со дня рождения известного писателя Виктора Платоновича Некрасова. Повестью "В окопах Сталинграда" он открыл новую страницу в литературе, посвященной Великой Отечественной войне. До нее существовала лишь так называемая "генеральская" проза, представлявшая эту страшную войну как перечень бравурных побед, обеспеченных слаженными действиями генералитета. Места для описания подвига тех, кто проливал кровь на полях сражений, кто ценой неимоверного напряжения сил буквально на своих плечах вынес страну к Победе, в таких сочинениях не находилось.

У Виктора Некрасова была странная судьба. Раннее детство он провел во Франции: в Лозанне и Париже. Там же он и окончил свой жизненный путь, оплеванный на родине критикой, исключенный из партии, с полным запретом на любые публикации. Жизнь Некрасова никогда не укладывалась в ровную колею – если фронт и война, то не где-нибудь, а в огненном аду Сталинграда, если первая книга – то на грани самоубийства... В разгар травли на молодого автора-фронтовика неожиданно обрушивается Сталинская премия, и как по мановению волшебной палочки декорации жизни меняются. Однако даже обласканный властью, Некрасов так не сможет стать настоящим советским писателем – широкая ироничная натура с авантюрной жилкой толкает его на все более рискованные эскапады. Например, его книга очерков о путешествиях за границу "По обе стороны океана" доводит Хрущева до такой ярости, что тот требует его исключения из рядов КПСС. Последней каплей становятся речь, которую Виктор Некрасов произнес в Бабьем Яре в 25-ю годовщину еврейского расстрела, и подпись под письмом в защиту киевского писателя Чорновила, репрессированного за "национализм". После обыска, длившегося двое суток, и бесчисленных допросов в КГБ писатель вынужден покинуть страну.

Год столетнего юбилея Некрасова совпадает с еще одной датой – 70-летием начала Великой Отечественной войны. Совпадение кажется символичным. Отмечая этот горестный юбилей, отдавая долг памяти всем искалеченным и уничтоженным войной, нельзя не вспомнить о тех, кто донес и до современников, и до всех будущих поколений жесткую, но очень важную правду о ней. И первое место среди всех ее летописцев было бы справедливо отдать писателю Виктору Некрасову.

Мы печатаем отрывки из книги Виктора Кондырева, пасынка Виктора Некрасова, который в своих воспоминаниях ярко рассказывает о писателе в последний период его жизни.

Полностью книга будет опубликована в издательстве "Астрель".

Булат Окуджава

Письмо с неоконченными стихами было написано на плохонькой, вроде оберточной, бумаге:

Мы стоим с тобой в обнимку возле Сены,
как статисты в глубине парижской сцены,
очень скромно, натурально, без прикрас...
Что-то вечное проходит мимо нас.
Расстаемся мы, где надо и не надо, —
на вокзалах и в окопах Сталинграда
на минутку и навеки, и не раз...
Что-то вечное проходит мимо нас.

"Остальное придумается потом, потому что стихи, суки, не пишутся.

Обнимаю тебя. Всем мои поцелуи. Булат".

Из полнокровной дивизии советских писателей хорошо если можно было набрать сотню-другую нелицемерных, сказал как-то Вика. Писали эти люди о чем угодно, но старались всеми силами не врать по-холуйски. И Некрасов, и Окуджава были в их числе, искренние и проникновенные, совестливые и интеллигентные.

Когда я как-то сказал им с Булатом, что их творчество очень схоже, Вика чуточку смущенно воскликнул:

— Ты придворный льстец, пащенок! Он лучше! Я никогда не дотягивался, как Булат, до исторических романов!

Булат улыбался и пил вино.

Мне и вправду кажется, что некрасовская проза — очерки, зарисовки и рассказы — по плавности и изяществу напоминают стиль прозы и даже песен Окуджавы. Без напыщенности, без пыли в глаза, хотя, бывало, с нотками пафоса. Иногда чуть кокетничая. Оба они прекрасным языком, по-человечески рассказывали и об обыденном, и о необыкновенном, и даже о вещах невероятных.

Вика писал о людях, городах, странах. Вспоминал музеи, пляжи, архитектуру и выпивки. Булат поэтически описывал горести, радости, любовь, грусть, молодость... Оба писали о войне, о друзьях, о надеждах... Оба счастливым образом почти не осквернились фуфлом социалистического реализма.

В день моего рождения 1981 года я зашел к Вике в кабинет и ударил челом. Просто необходимо умолить Булата на сегодняшний вечер! Он ведь в Париже, звонил уже не раз, все равно собирается прийти. Так пусть уж придет на праздник, вот ахнут-то все друзья-приятели!

Булат на удивление с охотой согласился, только его надо забрать из гостиницы.

Гостиничный номер поэта экзотически благоухал. Громадное блюдо с мощной пирамидой из заморских фруктов и марципанов занимало полкомнаты. Это был презент от мадам Мартини, владелицы всего ночного Парижа, в том числе и ресторана "Распутин", скандально прославленного своими ценами. Булат решил довезти эту парижскую фруктовую феерию до своей московской провинции.

— Какая Москва! — возопил ВП. — Витька именинник, у него гости уже сидят, давай их поразим!

Булат поколебался и поглядел на меня, улыбавшегося просительно.

— Раз у Витьки гости, никуда не денешься! — заулыбался и Булат. — Забираем эти плоды Эдема!

Гитарой запастись мы сразу не додумались, поэтому Булат отдыхал от песен, беседуя с наиболее почтенной публикой — Натальей Михайловной Ниссен и Наташей Тенце.

— Вначале, когда был помоложе, — пошучивал Булат, — я очень хотел за границу, но меня не пускали. А потом уже я хотеть перестал, но меня заставляют ездить. И мы с Рихтером, по сути, единственные, кто зарабатывает для Союза валюту!

Пьяненькая компания долго не решалась притронуться к фруктам, но когда робость побороли, их размели в мгновение ока...

Несколько лет спустя поутру к нам зашел Виктор Платонович и достал из кармана куртки "Огонек".

Эффектным жестом шлепнул журнал на стол:

— Любуйтесь! Нашего Булата пропечатали!

Обложку "Огонька" украшала четырехфигурная композиция из самых знаменитых поэтов Союза.

Цветной групповой портрет — Е. Евтушенко, Р. Рождественский, А. Вознесенский и, чуть с краю, Б. Окуджава. Идущие по заснеженной улице дачного поселка. Первые трое облачены в драгоценные импортные манто из выделанной овчины, а один из властителей дум увенчан, как рында, высоким убором из куньего, полагаю, меха. В их позах чувствовалось достоинство и проскальзывала озабоченность за судьбы Родины. Бу-

лат, в курточке и кепочке, пристроился рядом с этими великолепными щеголями.

— Вы посмотрите! — возбужденно тыкал нам фотографию ВП. — Гляньте на нашего Булатика, разве это советский поэт?! Просто замухрышка!

Еще поохал, с нежностью разглядывая Окуджаву. Тут же бросился к телефону и отчитал поэта: все люди как люди, а ты выглядишь водопроводчиком! Булат смеялся, довольный звонком, и они долго прохаживались по московским знакомым и болтали о всякой писательской чепухе. Вика сиял, как всегда после разговора с Окуджавой...

Каждый раз, когда мы с Милой хотели что-нибудь купить Булату или его жене Оле на память о Париже, он говорил мне:

— Да что вы, Витя! Я же богатый человек! У меня море денег! Я все могу купить!

Оля была очень экономной в магазинах, берегла валюту, но от подарков Милы тоже всегда отказывалась.

Позже Некрасов открыл нам глаза на такую непреклонность.

Оказывается, Окуджава почему-то страшно стеснялся вагонного проводника: что тот подумает, увидев несколько чемоданов!

В 1977-м, по-моему, году в Париж приехала большая группа советских поэтов. Устроили поэтический вечер. Евгений Евтушенко, Константин Симонов, еще пяток поэтических светочей и светлячков. И Булат Окуджава. Зал был забит. Много парижан, много русских эмигрантов и тьма работников советского посольства. Поэты сидели на сцене и выступали по очереди. Всем обильно хлопали, для некоторых даже вставали. После своего выступления Булат тут же спустился со сцены и начал пробираться к сидевшему в зале Некрасову. Все головы повернулись в его сторону. На глазах всего зала Булат расцеловался с отщепенцем Виктором Некрасовым!

У поэтов на сцене были неподвижные лица плюшевых мишек, а посольский персонал суетливо зашушукался.

На следующее утро мне было велено привезти Булата к нам в гости.

Раненько подъехав к гостинице на площади Республики, я застал его в вестибюле с кем-то болтающим. Булат громко меня поприветствовал, подозвал и представил своим собеседникам.

Чуть в отдалении стоял Евтушенко, задумчиво смотрел в сторону, может быть, действительно не видя нас с Булатом.

— Познакомься, это Женя Евтушенко! — подтащив меня к поэту, сказал Булат, чтоб сделать мне приятное.

— Мы знакомы, — почтительно сказал я, — вы, наверное, просто не помните...

— Ах да, конечно! — чуть встревожился Евтушенко. — Мы виделись у меня на даче, как же, помню...

Булат полуобнял меня, объявил всем, что мы торопимся, сделал ручкой советской делегации, и мы ушли.

— И что, Женя больше ничего не сказал? — удивился Некрасов моему рассказу. — Не спросил ни обо мне, ни о Галке? Странно... Хотя бы позвонил...

Дома, на улице Лабрюйер, мама решила извиниться перед Булатом за скудость стола, не было, мол, времени приготовить, ты, Булатик, уж не слишком ворчи.

— Стоп! Стоп! Стоп! — сказал Булат.

Все замолчали, и он, чуть наклонившись над столом, оглядел не слишком обильную снедь. Вот такой колбасы в Москве нет уже лет пять, говорил он, указывая пальцем на тарелки, этого сыра вообще никогда не было, а семгу у нас едят только миллионеры в фильмах.

— Так что ты, Галочка, не слишком рассыпайся в извинениях, стол прекрасный!

— А хлеб какой у нас, — вскричал ВП, — ты только попробуй! Багет называется, не оторвешься!..

Вечером Булат давал приватный концерт у Степана Татищева. Впервые в Париже!

Я обморочно всполошился: даже магнитофона нет, чтоб записать! К моим воплям Вика отнесся с острым сочувствием — абсолютное, воскликнул, безобразие! Помчались в "Галери Лафайет" и в складчину купили дорогущий магнитофон. Складчина была однобокая, так как ВП внес две трети цены. Роскошный аппарат даже привлек внимание барда, который на кухне у Степана изволил прослушать только что напетые им песни. Я потом магнитофон присвоил, воспользовавшись тем, что Вика деликатно не перечил...

Уже после смерти Виктора Платоновича Мила разговорилась в какой-то компании с Борисом Мессерером. Поинтересовалась заодно, как там семейство Окуджавы живет. Борис вежливо поблагодарил, спасибо, живут хорошо, не бедствуют, сын помогает.

— Как так?! Какое бедствование, ведь это Булат Окуджава! — ахнула Мила.

— Милочка, — вежливо втолковывал Мессерер, — у нас сейчас поэты денег не зарабатывают. Тем более такие талантливые, как Окуджава!

Национализм? Русификация?

В начале семидесятых в Киеве судили Ивана Дзюбу.

В газетах изгаляются над украинскими националистами, поливают их помоями. Мы не особенно верим тому, что пишут, но все же... Как и многие из советских молодых людей, и даже как бы патриотов, я не то чтобы с пылом осуждал националистов, но не одобрял. Какая еще там незалежність! Кто там подавляет украинскую культуру?! Какие москали, какие хохлы, ведь мы все прекрасно и в согласии живем на Украине!..

Быстрым шагом уже почти дошли до киевского университета, а я все выпытывал о суде над Иваном Дзюбой.

— Кто он такой? А чего он хочет? Независимости? Зачем ему эта независимость?

— Интеллигентный киевский мальчик. Журналист. Считает, что украинскую литературу притесняют, украинский язык затирают...

Некрасов особо не распространяется, говорит отрывисто. Набросилась советская власть на Ваню, долбает его за рукопись "Интернационализм или русификация". А он упрямец и принципиальный, и они наверняка упекут его, хотя он и болеет...

— Человек хочет говорить по-украински, так пусть себе говорит! Он ведь не всегда неправильно рассуждает, — тихо произносит Некрасов.

— Да что ему этот украинский язык?! — я решил щегольнуть эрудицией. — Тоже мне язык, смесь польского со старославянским! Я вот прочел недавно, что украинский язык — это рабский язык!

Никогда не видел, чтобы ВП так разъярился, и никогда не увижу, до самой его смерти.

— Слушай, никогда, б..., не заикайся при мне об этом! Люди идут в тюрьму за свой язык, а ты повторяешь мне газетную фуйню! Никогда не лезь с такими идиотскими высказываниями! Ты понимаешь, честных людей судят за их мысли, вот что самое страшное!

Мне было так стыдно, так ужасно противно, что я запомнил этот разговор слово в слово. А к незнакомому Ивану Дзюбе проникся симпатией...

Иван Дзюба очень нравился Некрасову. В Киеве я часто слышал, как Вика называл его по-настоящему толковым парнем.

Некрасов, бывало, пошучивал, что он сам ревностный приверженец хаотического образа жизни и с младенчества враждует с дисциплиной. При случае прихвастывал, что независим, как сиамский кот. Поэтому ему,

человеку с непредсказуемым нравом, импонировал спокойный, обстоятельный, вероятно, даже педантичный Иван Дзюба.

Как-то через несколько дней после посещения Дзюбы в больнице, по выходе его на свободу после ареста, Вика долго рассказывал нам — Гелию Снегиреву* и мне, — как понравился ему усталый, печальный, но совершенно не озлобленный Ваня.

— Вообще-то, он правильно многое говорит, — кивал головой ВП. — Хотя я и не согласен с его коньком — русификацией Украины. Но смотрите, как его терзают и ломают! Поневоле поверишь в его правоту, раз эти гады так злобствуют...

Вика, бывало, раньше подтрунивал над украинскими националистами. Но потом шутить перестал, поняв, насколько это серьезное дело, раз за него люди идут в тюрьмы и терпят муки.

Вскоре я еще раз подскочил в Киев, просто так, на недельку. И мы вновь гуляли, абсолютно трезвыми, по улице Ленина, и я спросил между делом, как там дела у этого националиста Дзюбы.

— Засудили его! — бросил ВП.

И вдруг заговорил, на удивление горячо, даже с восхищением:

— Как он на суде себя вел! Всем нос утер! Говорят, даже свидетели обвинения боялись смотреть друг другу в глаза! Но дали парню пять лет! Какие суки! Ваня, умница, все их экспертизы опроверг! Но никто не заступился! Никто!

Некрасов отвернулся, а я молчал. Что я мог сказать? Шел рядом и молчал...

Много позже я узнал, что рукопись прославленной книги Ивана Дзюбы "Интернационализм или русификация" Некрасов читал, когда она была еще в форме письма к первому секретарю ЦК Украины Шелесту.

Попав в Париж, Некрасов сразу написал статью "Иван Дзюба, каким я его знаю".

"А вот такие понятия, как порядочность, благородство, терпимость, сердечность, кротость, милосердие, великодушие, ну, и упомянутая уже деликатность, начисто выпали из нашего словаря положительных качеств...

Враги Дзюбы любят называть его хитрым и опытным демагогом. Это всегда говорят о людях не так хитрых, как умелых, с которыми трудно бороться логическими категориями, поскольку логика на их стороне...

* Гелий Снегирев (1927-1978) — украинский писатель, драматург, кинорежиссер; диссидент, друг В.П. Некрасова.

Поэтому их называют демагогами... Дзюба всегда сражается с открытым забралом... но иной раз может воспользоваться и оружием противника".

Очень жалел Ивана, когда тот как бы покаялся публично.

— Что там с ним делают? Как его там задавливают! — говорил он печально.

И вздыхал. Россия... Украина... Киев...

Некрасов любил говорить, что никогда не слышал — "русские киевляне", "украинские киевляне", но все говорят — "киевляне". Просто киевляне!

В очерках "По обе стороны стены" Некрасов беспрерывно сравнивает. Как здесь, как там. Здесь лучше, успокаивает он себя.

Все, все тебе говорят: забудь о прошлом! А как забыть? А Киев? А Днепр? А Москва? А пляж Коктебеля? И главное — читатели-то твои? И понимаешь, что ты не жалеешь лишь о гомункулусах, о ерунде, о декорациях, о деталях. А вот о первостатейном тоскуешь. О людях тоскуешь — друзьях, знакомых, соседях по столику, попутчиках, прохожих в Пассаже и купальщиках на Днепре... Говорящих, думающих, шутящих на русском языке, твоем родном языке... И на украинском тоже. Чего там хитрить...

— Я злюсь, когда без тени иронии, чтобы обидеть, меня называют москалем, — говорил Некрасов. — Как какого-то интервента или работорговца...

Москалем его обозвали в 1975 году в Канаде местные украинцы, ярые антисоветчики и такие же русофобы. Согласен, говорил Виктор Платонович, что натерпелись они от преступлений советской власти дальше некуда. Но они хотят отрешить его, истинного киевлянина, от Украины, обвинить во всех ее бедах и отстранить от ее забот!

— Я русский, но прожил всю жизнь в Киеве! Вся моя семья глубоко чтила украинский народ! — горячился Некрасов.

И если ему бывает больно или радостно за Россию, он абсолютно так же переживает и за Украину.

— Это моя страна, Украина! — сколько раз повторял ВП.

Вместе с Иваном Дзюбой и Гелием Снегиревым Виктор Платонович выступил 29 сентября 1966 года на знаменитом митинге в честь 25-летия расстрела десятков тысяч людей в киевском Бабьем Яре. Толпа скандировала их имена. Они призывали помнить о тысячах и тысячах погибших, почтить их смерть достойным памятником, не дать поднять голову антисемитизму.

В Париже через много лет Вика возмущался памятником, наконец установленным в память расстрела в Бабьем Яре.

— Что за помпезность! Что это за мускулистые богатыри с гордо поднятыми головами! Просто непонятно, почему они сдались в плен! — саркастически вопрошал он, потрясая передо мною украинской газетой.

Но газетная вырезка в рамочке была поставлена на полку. А вскоре он объявил, что памятник хорош и такой, по крайней мере, есть где цветы положить, слезу уронить, вспомнить да задуматься...

Тогда же, после митинга в Бабьем Яре, начали таскать Некрасова по райкомам и горкомам, надо, мол, разобраться с этой сионистской провокацией.

— Ну зачем вы, Виктор Платонович, идете на поводу у сионистов?! Разве немцы расстреливали одних евреев в Бабьем Яре? Были там и русские, украинцы, наши военнопленные.

— Правильно, расстреливали не одних евреев, но только евреев убивали лишь за то, что они евреи! — отвечал он.

На него смотрели глазами мороженого окуня...

Советская власть всегда чрезвычайно опасалась людей, уважающих себя, спонтанных, бескомпромиссных. Некрасов был именно таким человеком, к тому же обаятельным, ироничным и по-настоящему тонко воспитанным.

— Зачем вам, Виктор Платонович, — говорили одни, — нужно ввязываться в эти еврейские сборища, лезть на рожон из-за этого Бабьего Яра? Все и так утрясется, не стоит ссориться с партией из-за каких-то евреев!

— Что тут удивляться! — говорили другие. — Некрасов ведь никакой не русский дворянин, он самый настоящий еврей, посмотрите на нос его матери!

Что за сволочи, злился ВП, они думают, что защищать память об уничтоженных евреях постыдно для русского человека! У них в голове не укладывается, что безответных людей кто-то защищает просто так, без задней мысли. В том числе от хамства, грязи и вранья!

Париж



Вика ХРУЩ

"Хрущ пришел!"*

"Санги-и-на", — произносит Валя благоговейно.

Он проводит кончиком среднего пальца, чтобы не оскорбить — указательным, по контурам пятна на выпуклой сфере чайника для заварки. Вот он на столе, вернее, на дубовой доске, приколоченной к подоконнику на веранде, кузнецовский чайник. "Смотри, что вытворяли ребята. Небрежным, но выверенным броском кисти расплескали эти пятна-листья. А какой цвет! Санги-и-на".

Он говорит, и в его чувствительных пальцах предмет выплывает из недр того времени, когда был создан, начало XX века. Хрущ все знает. Мудрец? Волшебник? Откуда он взялся такой?

Он боготворил ремесленников, честных добросовестных исполнителей, которые возводили свои рукотворные произведения в степень искусства.

Когда он говорил, хотелось плакать об утраченных человечеством ремеслах, нельзя было понять нам, живущим в век халтуры, казенщины, пофигизма, для кого, для чего создавались эти изящные, любовно сделанные инструменты, которые хранились у него в "каптерке". Как он гордился клеймами фирменными, нежно проводя пальцем по лезвию!

Он собирал инструменты, охотился за ними, одалживал у кого мог 20 р. на стамесочку.

Утром в субботу ругался, если его не будили вовремя на Староконку.

Староконка, как соты меда, содержала в себе историю, познаваемую посредством вещей.

Там совершался круговорот от паритета к личностям. Эти люди были частью культурного слоя Одессы. И выдающиеся, и знаменитые тоже приходили туда. Там Валя получал образование. На Староконке он встречался со своими друзьями-художниками чаще, чем на пятиминутках. Они тоже были одержимыми коллекционерами. Еще Хруща формировали учителя художественной школы. Он с любовью вспоминал Зайцева, но больше размышлял о Фраермане: "Ветром времен обдавало меня при встрече с ним. Всего рукой подать до начала века, а ведь он был из одного гнезда с Нилусом, Костанди (шло перечисление) и Буниным".

* Название картины А. Ануфриева, которая была в коллекции Ф. Кохрихта.

Валю можно было хоть раз в день найти возле букина. Он часами разглядывал "картинку" в альбоме.

Мне пришлось в угаре отъезда отдать инструменты, старинные рамы на хранение Васе Рябченко. Стамески небольших размеров я привезла в Израиль, надеясь, что Димочка продолжит ремесло резчика по дереву, но в Израиле дерева нет, и сын стал работать с камнем.

Но Валя! С каким упорством и фанатизмом приобретал бесценные инструменты, фотоаппаратуру, и потом безжалостно оставил все, теряя навсегда. Он так и не приехал за своими вещами. Он потерял квартиру бабушки на Пересыпи, дача отца на Каролино-Бугазе не досталось ему, дом на Пикушах и дом в Камбуриеях — оставил все.

Он говорил: "На рубль богаче, на рубль беднее, вот мой дед завод и землю в революцию потерял".

Казалось, он рассчитывал прожить много жизней, чтобы осуществить задуманное: графика (живопись), масло, резьба по дереву, реставрация, линогравюра, гончарка, фотография. Он даже научил меня вышиванию.

Хрущ каждым мгновением своей жизни доказал, что он — свободный художник. Он подчинялся только воле своего таланта и жизнеутверждающего естества.

Рассказывал с озорной усмешкой: "Я как-то так достал учителя труда в школе (возле Чумки), что он всерьез хотел меня убить. Бегу от него по коридору, потом во двор, вот-вот догонит. Душа перелетает от страха через забор, потом ноги. Всё! Я в эту школу больше не пошел".

Вот так он несся всю жизнь от конъюнктуры и пошлости, от правления фонда и союза, от бездарей с регалиями, от любящих женщин и кредиторов навстречу свободному творчеству и созерцанию.

Впервые я увидела картины Хруща задолго до того, как мы познакомились, в доме Маши Марусенко.

Коренастая бутылка водки. Помятая газета. Помидор. А вот домик, едва освещаемый лучами заката. Маленькое окошко. В этом окошке — тайна. Пугающая мрачной палитрой правда окраин, запретного и в то же время притягивающего мира людей незаконных профессий.

Валя вырос на Пересыпи. Он говорил: "Я тоже ходил по краю над пропастью. Многие из моих дружков плохо кончили. Такая же участь ждала бы и меня, если бы не художественная школа".

Туда его отвел Е.К. Свидзинский, увидев его рисунки, когда Валя помогал деду Андрею строить печь.

Бабушка Прасковья Малеваная, старообрядка, заменила Вале маму, когда ему было семь месяцев. Его мама Зинаида умерла от скоротечной чахотки, простудившись на зачете по плаванью в октябре 1942 года в Дюковском парке. Она была студенткой экономического факультета (по рассказам Вали). Отец Дмитрий, капитан траулера, был родом из белоцерковских казаков. Русые волосы, светлые глаза, плечо покатое, "как у Поддубного", — с нежностью вспоминал Валя. У его мамы на фотографии волосы вороньего крыла, скуластое круглое лицо, озорные глаза. Хрущ на нее и похож.

Меня познакомила с Валей Ляля Швальбина. Тогда они с Мишей Матусевичем заканчивали книжный магазин (резьба по дереву). Хрущ иногда приходил, послушно пил кипяток, окрашенный каплей заварки с клубничным вареньем, что-нибудь произносил на грани... и уходил.

Однажды была гроза. Я, слушая мелодию дождя, подбирала слова к стихам: "Жду шелеста листвы и кротких капель с кровли, дождя среди жары как гостя..."

Кто-то постучал в стекло двери. Открывать не хотелось, тогда стали стучать настойчиво, да так, что собаки залаяли. Пришлось впустить непрошеных гостей. Вошел сияющий Гарик Гордон, за ним Хрущик, увидел на столе черновики и спросил: "Мы тебе пух поломали?". Этот эпизод не вошел в повесть Гарика. "Далеко. Поздно", хотя весь маршрут до нашего дома от гостиницы "Красной" подробно описан Гариком.

Через некоторое время Валя стал жить на Чижикова. Солидного заказа что-то не предвиделось. Он маялся без дела, впадал в депрессию, рассказывал о взаимоотношениях с фондом.

Приходили художники: Витя Маринюк, Людочка Ястреб, Саша Ануфриев, Володя Стрельников, Люсик Дульфан. Каждый из них — неповторимая индивидуальность. Они нежно подтрунивали друг над другом, вспоминали гусарские похождения минувших лет, звучали нарицательные имена членов правления.

Запомнилось обсуждение заседания, на котором Володя Стельников бесстрашно выступил с требованием предоставить возможность всем выставляться. "Стенку!" К счастью, тогда не припомнил Хрущику и Сычику прославившуюся выставку в Пале-Рояле.

На вопрос "Как дела?" Валя отвечал: "Медленно". Сидел с перевязанной шарфом головой, курил.

Однажды я не выдержала, купила в универмаге две досточки из липы для кухни, нанесла рисунок через копирку из детской Диминой книжеч-

ки, попросила у Вали стамесочку и стала ковырять. Валя наблюдал с отвращением, потом взял у меня дощечку, увлекся, и получилась славная картинка. Ее купили у меня в школе за 25 рублей. Это были как раз те деньги, которых, как всегда, не хватало, чтобы дотянуть до получки. Потом у меня заказали украшения для волос из дерева. Валя сделал заколки с головкой рыбки.

Началась эпоха рыбок. Надо сказать, что Валя хорошо был знаком с рыбой. Он рисовал и ел ее, малосольную скумбрию, еще у отца на Каролино-Бугазе, изящно снимая шкурку от головы до хвостика. Это была его кровная тема.

Он вырезал ставридку, анчоус, сардельку, даже связки бычков и воблу. Люсик Дульфан в восторге называл это гениальной "покупкой". "Хочешь съесть под пиво, а она деревянная". Ее даже в шутку предлагали гостям, и те всерьез подносили ее ко рту. Осик Островский пытался предложить рыбки для продажи в худсалон. Одна дама, член худсовета, сказала: "До чего же додумались эти художники. Засушивают рыбку, приклеивают к досточке, еще и лаком покрывают". Гарик Гордон потом написал, что эти рыбки "от неприкаянности и сиротства". Увы, мы жили не в Москве, а в Одессе, где в те же времена на Привозе пьяные продавщицы с треском бросали на весы ржавую пересоленную океанскую ставриду. Лук гноили, а то, что оставалось, продавали по диким ценам. Тогда все наши друзья обращались к... Брэгу! Он спасал нас сознанием пользы голодания от настоящего голода.

Рахманины, и Женечка, и Танечка, являли приверженность сыроедению, правда, сламывались, когда Шура Калашников (хирург) устраивал царские пиры в честь художников. Коля Морозов сказал как-то, что он съел за день одну рисинку и чувствует тяжесть в желудке. Нашу страстнотерпную пытку одним махом прекращал Кела. Он приносил пару коробок свежайших пирожных из ресторана "Море", и первые два летели в пасть Билли. Я хочу сказать, что мы жили в реальном борении с нуждой. Ни у меня, ни у Вали мамы не было. Мой отец, перенесший инфаркт, жил с другой семьей.

Ремонт был хроническим состоянием в квартире. То с потолка вода лилась на кровать в комнате, потом сверху туалет соседей обрушился на веранде, и они продолжали пользоваться образовавшейся дырой нам на головы. В исполкоме на мой плач и вопли предлагали на выбор милицию или психушку. Тогда Феликс Кохрихт вместе с Алешей Ивановым подняли шум в газете, и ЖЭК как миленький все отремонтировал. Могли бы мы

сами, как атланты, держать на плечах все издержки советской власти в жилищно-коммунальной сфере. А приходилось сквозь слезы над всем смеяться. Одно время кòзлы в комнате стали частью интерьера, и нарядные барышни клали сумочки и жакетики на заляпанную известью поверхность. Или открытый взорам приходящих с порога унитаз — непреднамеренная инсталляция.

Я, как всегда, мучительно искала в литературе образ для поддержки духа. Им оказался "Сталкер". Мы вместе с Сашей Лисовским пришли на просмотр фильма в кинотеатр "Хроника", фильм уже начался, и послышалось: "Хрущ пришел". Действительно, было что-то родственно знакомое: проезжал трамвай, дребезжала посуда, и мы куда-то ехали, на стенках потеки от дождя, трещины, облупившаяся штукатурка.

Небо на меня падало, когда Валя уходил куда-то на ночь глядя. И наконец, сам герой — в канадской шубе на голое тело летом ночью, с перевязанной шарфом головой.

А этот удивительный кадр видели многие, кто приходил к нам с утра пораньше: "просто сам по себе" глиняный кувшин, нарисованный на филенке, которая висела на одном гвозде. Напротив витринное стекло веранды с видом на сарайчик. Выше в соседнем дворе окно квартиры третьего этажа, где жил Валера Кузнецов, отбрасывало солнечный луч на нашу стенку. А так солнца у нас никогда не было. Лучик, как минутная стрелка, где-то с 8.30 передвигался по стенке, потом по кувшину.

"Это достойно Тарковского", — сказал Женя Никифоров и обещал прийти с ним на Чижикова. Жаль, не вышло, великий режиссер в это время находился в Италии и назад не вернулся.

На этом история с картиной не закончилась. Потом, когда Валя жил в Москве, мне не давали покоя его кредиторы. Жена одного из них приводила ко мне исполнительницу, надеясь конфисковать у меня что-нибудь стоимостью указанных в расписке 1500 рублей. Исполнительница наконец разошлась, стала стучать по филенке — и как заорет: "Что? Я у нее эту фанеру конфискую?!!". Незадолго до нашего отъезда в Израиль Феликс купил эту работу за 2000 рублей.

Валя всегда безотказно выполнял любые работы для бесчисленных друзей, коллекционеров. Он просто раздаривал себя, свое время, нередко для обогащения заказчиков, ничего не получая взамен, кроме опыта. Он ремонтировал, реставрировал, даже подделывал печати в документах, все больше для кайфа. Как-то реставрировал старинное кресло для преподавательницы музучилища около года вместо обещанных трех месяцев.



Александр Ануфриев. "Хрущ пришел!"















В конце концов, она рассердилась и привела своего мужа-амбала для устрашения. Тот, очарованный Валей, вообще не хотел уходить. Потом милостиво позволил ему не ограничивать себя во времени. Но видели бы вы это кресло! Его поставили возле ворот на улице, когда увозили, на фоне обшарпанных стен, напротив нового театра оперетты (еще страшней, чем эти стены) — настоящий happening!

Творчество — способ его существования, поэтому он молниеносно находил неординарное решение любой ситуации. Как-то внезапно получил заказ для того же музучилища, но с оговоркой фонда — всего две недели на выполнение.

Он покупает большие листы многослойной фанеры, режет на глубину, которую позволяет этот материал, затем использует цемент и другие материалы. Получились очаровательные герои "Бременских музыкантов". Все члены худсовета собрались у нас на веранде и с восторгом приняли эту работу, кажется, последнюю. Так же весело и остроумно он сделал дирижерскую палочку в подарок от друзей знаменитому дирижеру. И на палочке, и на футлярчике, который он тоже сделал в течение одного вечера, для фирменной убедительности вырезал иероглифы. Я спросила его: "Ты хоть знаешь, что означает сей иероглиф?". "Наверное, матерное слово — "он", — простодушно ответил Валечка.

Долго не мог получить стоящий заказ в фонде. Намечался охотничий домик из красного дерева в Молдавии. Во время разгрузки блоков ему повредили ребро.

Наконец доверили вырезать раму, такую точно, как в музее с картиной Гогена. Валя вырезал ее по фотографии для известного "маститого члена" Союза художников (фамилию не помню). Его картина — натюрморт с розой и секатором — должна была украсить атомную станцию, которой Л.И. Брежнев собирался осчастливить Одессу.

Потом Валю за злостные пропуски пятиминуток решили перевести из художников в исполнители. Как там у Е. Шварца: "Профессор, мы переведем вас в студенты".

В это время Валя почти не пишет. После драматического события на Фрунзе, когда затопило его работы в мастерской, у него произошел, как мне кажется, излом. Работы того времени считаются шедеврами, созданными тем самым Хрущом в красной рубашонке, который однажды выбросил через окно ключи подальше, чтобы не выходить из дому и работать до опупения, и сделать то, что он чувствовал нутром. Это было время его

бурной любви к женщине, которую он называл Галиной, и она, по его словам, была автором песни "Здравствуй, чужая милая, та, что была моей".

Были периоды неторопливости и покоя. Он просто сидел и созерцал течение времени, измеряемое оседающей пылью на предметах. Просил пыль не вытирать, паутину с паучком не трогать, не передвигать пиалу, а рыбку свежую оставить как есть на тарелочке, для постановки. Однажды пришел Витя Павлов, увешанный фотоаппаратами, и горящим взором начал высматривать объект для прицела. У меня подкосились ноги. Все. Грядет новая затея. Он отдавался новому ремеслу всецело, как ребенок. Вместе с Васей Рябченко и Женей свердловчанином они делали коллажи. С утра пораньше ездили с объективами, как на съемках фильма, в основном, разглядывая меня, сидящую за вышиванием. Валя покупал аппаратуру у одного, скажем так, предпринимателя за астрономическую, по моим понятиям цену, равную моим летним отпускным, не торгуясь.

Вот о мастерстве этих фотографий, сделанных в тот период, я прочитала уже в Израиле в статье молодого человека, написанной на украинском языке. Статья восторженная, хорошая, но с некоторыми искажениями фактов биографии Вали.

В это время в центре началось движение. Не мне об этом рассказывать, и некого спросить, как это происходило. Помню только имена: Кабаков, Краснопевцев, Зверев. В Одессе одним из первых Хрущ организовал выставку вместе с Р. Макоевым и Ж. Рахманиным. Помню, как тщательно Валя распределял работы на стенах. Начали собираться посетители. Сначала это были друзья, художники, коллекционеры. Тогда уже появились иностранцы, то есть наши соотечественники из Украины в Техасе и Бельгии. Потом пошли горожане, поклонницы. Двери были открыты настежь. Я дрожала от страха, когда кто-то додумался повесить на улице номер квартиры с указательной стрелкой, куда следовать. В то же время удивлялась, что нас не беспокоили определенные органы. "Ничего, — успокаивал меня Валя, — они всегда среди нас. А что они видят? Как веселые нищие прогоняют время?" Они (художники) устраивали аукционы, лотереи, рисовали на обратной стороне обоев картинки, как мы, литераторы, Фимоза, Гланец, Павлов и я, писали по строчкам роман. Словом, живой театр.

В то время часто приходил Рома Карцев. Они с Витей Ильченко репетировали неподалеку в Доме офицеров свою программу. Я не без волнения, робея, спросила его: "Рома, все привыкли к тому, что вы что-нибудь

смешное произносите, а вы молчите". "Здесь мне интересно других послушать. Есть что послушать", — скромно ответил Рома.

Соседи перед началом выносили во двор стульчики, скамеечки и садились напротив наших дверей, как зрители. "Вика, к тебе идут!" — кто-то оповещал. Начиналось обсуждение: "Ой, смотри, Рома, ну очень большие". "А этого длинного я не люблю". и т. д.

Группа "Арсенал" с Алешей Козловым как-то, верь — не верь глазам близко, сидели прямо на полу на веранде. Однажды Женечка Никифоров привел "Маньку Облигацию". Я приняла Ларису за десятиклассницу-отличницу, не узнав сразу. Были ухоженные и нахальные девицы из состоятельных домов. Они бесцеремонно разглядывали меня, как экспонат. Я терпела эту беспардонность, пока Валя не сказал одной: "Межу прочим, здесь живет моя семья".

Появился как-то человек голливудской внешности Джордж Файфер, репортер журнала "Континент". Приехал снимать и писать об еврейских свадьбах на Молдаванке (как будто все так и сохранилось со времен Бабеля). Его жена Татьяна, русская, родом из Иркутска, диктор Лондонского телевидения, велела ему привезти работы Хруща, увидев картины, которыми она "заболела". Джордж мечтал попасть в парную, ходил в дубленке в теплые зимние дни, распаренный и расстроенный. Ни одна баня не работает, а на Чижикова висит объявление: "Мазута нет, истопник пьян".

Хотя приходилось много времени уделять гостям, которые уже стали приходить с утра, а по вечерам — толпами, у Вали был настоящий подъем. Ночами он рисовал в "каптерке". Проснувшись утром, я первым делом бежала посмотреть, что нового он сделал. Писал сериями, как отрабатывают каллиграфический почерк. "Торс", "Леда", "Похищение Европы", рыбки, натюрморты, автопортреты в шляпе, портреты друзей. Я подглядывала, как он работает.

Он всматривался в натуру, прищурившись, отстраняясь от всего, что его окружало, проникая, как рентген, в самую сущность объекта. Он делал эскизы черепа, постигая его антропологическую истину. Делая эскиз моего портрета, он нарисовал маму, которую никогда не видел.

А это действо происходило у многих на глазах. Мне на день рождения в августе принесли много цветов: розы, астры, гладиолусы. Они стояли на столе, на шкафу, на полу. Я была настолько счастлива, что сумела испортить себе настроение: "И все это чудо вскорости завянет?". Валя тут же

поставил подрамник с натянутым холстом большого размера и волшебными движениями руки и кисти остановил мгновенье. "И живопись живым цветам взамен". Я не помню судьбу этой картины. Валя кому-то отдал или продал, кто его знает? Это была его личная территория. Он мог, не раздумывая, снять картину и подарить первому встречному.

Для меня было важно другое. Смотришь на его картину того времени, и все там заключено: дух времени, все, что происходит рядом, за стеной, на втором плане, в объеме города. Слышишь говор соседей, голоса детей, крики котов, грохот трамваев. Доносится запах моря и степи. Была причастность к божественной самобытности его Родины — Одессы.

Я хотела бы также написать о романтической атмосфере в среде художников в эпоху нонконформизма. Хрущ тогда уехал в Москву "на разведку", к Володе Наумцу, который в то время начал выставляться в Москве. В выставочном зале (в конце бульвара) проходила выставка натюрмортов. Искусствовед в конце обсуждения сказала, что картина Хруща "является самым безупречным образцом этого жанра". И все же она была, как мне известно, одним из многочисленных отрабатываемых им вариантов одной серии, которую он написал "одним почерком руки".

Мне же запал в душу, ранил рисунок Фруминой "Ирис", в подтексте которого мною прочитывались строки Блока о женщине. После просмотра художники стояли группами неподалеку от зала. Внезапно все повернули головы, и послышалось, как вздох: "Фрумина". Я впервые увидела ее, скромную, стройную. Она слегка наклонила голову набок, как бы ограждая себя от излишних восторгов, и быстро прошла по бульвару. Я представила себе: вот она сейчас свернет за угол, а там... Монмартр.

Конечно же, Валя был цельной и самобытной личностью. Погруженный в свою идею, он магически воздействовал на всех, кому он был интересен. Всех он обращал в свою веру служения высокому искусству. Володе Асриеву, музыканту, он посоветовал превратить свою роскошную квартиру в выставочный зал. Сейчас "Мандолина" владеет собственной галереей в Англии. Витя Сальников работал в таможне, куда его устроил отец, секретарь райкома партии. Через три дня, побывав у нас в доме, уволился, стал собирать иконы и живопись. Были и такие, которые, увидев мастера за работой, сразу становились художниками. Димочка как-то возмущенно в пять лет сказал: "Убери отсюда эти каляки-намоляки". Я спросила Валю: "А горшок обыкновенный они нарисовать умеют?". Он развел руками: "На пальцах им этого не объяснишь".

Одной из его прилежных учениц была я. Не говорю о том, что мы постигали механику вышивания старинных икон или кимоно. Важно, какая философия была заложена в его понимании цвета. Отрабатываешь чередование теплых и холодных тонов, как душа запросит. Скромный фон, как повседневность, а вот тут, где-то под листиком, спряталась ягодка яркая, завораживающая деталь, от нее душа замирает, как у ребенка перед праздником, и ты достигаешь желаемой цели. Дима перенял это у отца, как сейчас принято говорить, на генетическом уровне.

Постепенно посещения превратились в непрерывное пребывание в доме людей, Димочке негде было готовить уроки. В это время что-то изменилось в экономической политике страны, появились фермеры, семейные подряды.

Знакомые Вали купили дом под Очаковом с участком более гектара и стали успешными фермерами. Правда, у них была дружная семья и машина. Валя попал под влияние их сына, идейного вдохновителя, экономиста-программиста, человека ограниченных возможностей на инвалидной коляске. Оба они были классными фантазерами, любителями табака и чая. При помощи калькулятора на свежем воздухе возле лимана они становились миллионерами. Во-первых, здесь будет цех, нет, завод по выращиванию нутрий, то есть мясо плюс шкуры. Благо опыт у Вали уже был. На Чижикова под окном веранды в корыте проживали две нутрии около года. Соседи окрестных дворов приходили, как в зоопарк, глазеть них. Собирались они создать цех по производству салями. Рецепт, который держался в секрете от всех, содержал в качестве ингредиента ослиное мясо. Валя уже заказал одному человеку с Кавказа "партию ослов". Уже реально были куплены две козы, черная и белая, две свинки со впалыми животами бегали, как собаки, по соседним участкам, также много породистых кур. Еще Валя собирался создать гончарный цех. Даже обломок греческой амфоры лежал в ожидании своего часа.

Валя купил также в долг Уазик. Он гонял на нем без прав. В основном, помогал соседям, которые сразу распознали в нем доброго чудака и загружали его работой с утра до ночи.

Однажды я ждала Диму с Валей до поздней ночи. Не знала, что думать, куда бежать. Оказалось, пока они там пили чай у Юры, машина, которую Валя поставил на спуске, съехала в лиман. Ее всем хутором вытаскивали. Потом Валя и Билли остались до холодов, а мы с Димой уехали в Одессу, так как начинались занятия в школе.

"Речи бесстыжие". Без них невозможно было бы представить себе Хруща. Слушала, поражалась, как это складно у него получалось, законченная композиция, как будто подготовленная и блестяще переданная. Я пыталась запомнить, что он говорил вечером, но утром ничего не могла воспроизвести. Фима Ярошевский, мастер монолога и диалога, даже приблизился к его органике однажды, когда он передал его вдохновенную речь возле служебного входа в театр оперетты, где Валя выгуливал Билли. Однако Фима грешил словечками, лежащими на поверхности, не свойственными Вале. "Прикинь" и "старик" я от него не слышала.

Я все-таки думаю, Валя просто "прогонял" время, которое бездарно стекало в канализацию, от невозможности реализоваться по большому счету. И еще это было свойственное ему выражение доверительного отношения к собеседнику, то есть "я тебя уважаю настолько, что могу говорить о самом сокровенном". Основные темы, прорабатываемые им в беседах: художники-двадцатники, правление фонда и союза как недоразумение, голод на Украине и безграмотное озеленение города. Использовал ненормативную лексику в больших дозах, но со вкусом, изобретательно. Сплетни не переносил, а тех, кто занимался этим, называл "пылесборщиками". Его прислів'я и словосочетания звучат в памяти и всегда со мной. Я их сама использую. "Любив вовк кобилу", "любив, любив, та й не взяв", "не знаю, не пробовал", "с утра пораньше", "утро Родины моей" и т. д. Самое точное выражение, характеризующее его принципиально: "Хуже, чем умею, делать не могу".

Наконец о даме, которая его "похитила" из Одессы.

Не знаю, какими чарами обворожила почти всех наших художников, простодушных и доверчивых, эта давно не бальзаковского возраста дама, но мне казалось, что все с ума посходили. И Валя в том числе. Ко мне она как-то явилась с требованием подписать заявление от Хруща о разводе. Я подписала его без колебания. "Отдай змее змеиное", — к этому приучил меня сам Валя. Я лишь сокрушалась о том, что он дал втянуть себя в этот фарс. Со временем ее освободили от занятой ею должности. Я приезжала в Москву раз пять, пока мы с Димой не уехали в Израиль. Причина моего решения эмигрировать ясна как день. В военкомате по первой повестке ему сказал майор: "Ну, Хрущ, теперь мы до тебя добрались!". На следующий день я пошла в ОВИР.

Должна сказать, что в Москве Валя стал, как бы точнее сказать, как Кай в сказке "Снежная королева", заледеневшим. Хрущ в Москве — все

равно что Кремль на месте памятника Дюку. Возможно, это был плодотворный период в его творчестве, но чувствовалось только мастерство. А душа и память о нем остались на Родине. Каждая улочка, где "проканал" Хрущик, каждый дом, куда он приходил, и его восторженно встречали: "Хрущ пришел!". И его картины на стенах многих одесситов помнят ВАЛЕНТИНА ХРУЩА.

* * *

Пользуюсь счастливой возможностью быть прочитанной и заверить всех, кто бывал в нашем доме, что я их люблю и помню. Они — неотъемлемая часть того мира, каким для меня был Хрущ.

Женечку Николаеву, Таню Дульфан и Фиму Ярошевского, Колю Зеленого, Люсика Дульфана, Витю Маринюка и Людочку Ястреб, Танечку и Женечку Рахманиных, Валеру Басанца, Эдика Павлова, Володю Стрельникова, особенно Феликса Кохрихта — ангела-хранителя, который трижды вытаскивал нас из беды, а также Евгения Голубовского и Людочку Гипфрих, публиковавших мои стихи, что было для меня величайшей моральной поддержкой.

Прошу всех, кто пожелает, писать мне по адресу:

Khaitsen Victoria
70700 GEDERA
BEN GURION 65
apt: 259
ISRAEL

Я также нуждаюсь в полноценном общении по e-mail: dikh@yandex.ru

Ваша Вика.

Евгений ДЕМЕНОК

Одесситы в Праге

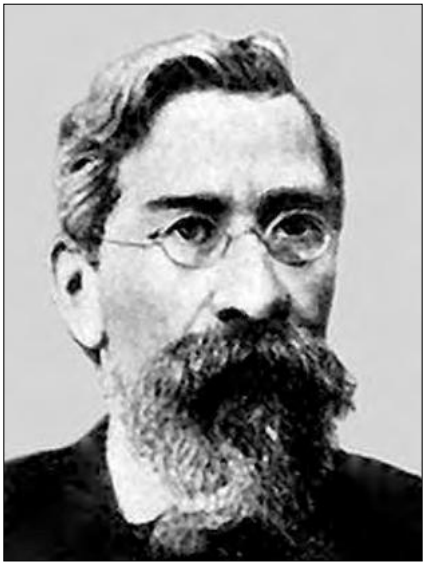
Когда думаешь о городах русской послереволюционной эмиграции, первым в памяти всплывает Париж, потом Берлин. Немного позже — Константинополь, София, Белград, Харбин... Прага вспоминается далеко не сразу. Объяснить это можно только недостаточной изученностью вопроса. Ведь Прага после революции являлась одним из крупнейших центров не только русской эмиграции, но и русской культурной и научной жизни. Достаточно назвать фамилии наших соотечественников, живших и работавших тут: Марина Цветаева, Аркадий Аверченко, Роман Якобсон, Никодим Павлович Кондаков, Георгий и Антоний Флоровские, Георгий Вернадский (сын Владимира Ивановича Вернадского), Василий Иванович Немирович-Данченко — известный писатель, брат "того самого" Немировича-Данченко, последний секретарь Льва Толстого Владимир Булгаков и многие, многие другие. В 20-е годы Прагу называли Русским Оксфордом. И не зря. Здесь был сконцентрирован очень серьезный, мощный потенциал "русского" интеллекта и культуры — десятки ученых, преподавателей, деятелей искусства нашли в Праге свой новый дом.

Для нас, представителей нового, молодого поколения одессофилов, особенно интересно и важно то, что среди "русских пражан" было много наших земляков. Притом каких! Целая плеяда выдающихся ученых: профессор, историк и искусствовед Никодим Павлович Кондаков; профессор, астроном Всеволод Викторович Стратонов; академик, геолог Николай Иванович Андрусов; профессор Сергей Вилинский; профессор истории Антоний Васильевич Флоровский и выдающийся богослов Георгий Васильевич Флоровский; профессор, историк Николай Окунев и другие. Это и деятели искусства, такие, например, как скульптор Александр Сергеевич Головин, и целая группа артистов балета, танцоров, которые оказали колоссальное влияние на становление чешского балета: Ремислав Ремиславский, Елизавета Никольская, Андрей Дроздов, Вадим Балдин. Среди них и несколько выдающихся музыкантов: дирижер Александр Подашевский, многие годы стоявший за дирижерским пультом оркестра чешского Национального театра; Константин Емельянович Каренин, закончивший Одесскую военно-инженерную академию, затем консерваторию в Белграде и ставший тенором европейского уровня, а потом десятки лет преподававший вокал как оперным, так и эстрадным певцам. Его учениками были хорошо известные нам Карел Готт и Хелена Вондрачкова.

Внушительный список, не правда ли? Нам есть кем гордиться. Хочу рассказать подробнее о том, как складывалась жизнь и судьба наших земляков на чешской земле.

Первый президент Чехословацкой Республики Томаш Гарриг Масарик горячо поддерживал идею превращения Праги в столицу русской науки и русского студенчества. Он исходил из двух целей — практической и идеалистической. Практической целью было получить дальнейшую поддержку для молодой Чехословацкой Республики от русской элиты, которая, возможно, вернулась бы после краха большевизма и строила бы в России демократическое государство. К идеалистическим же целям относились славянская солидарность, человеколюбие и милосердие, а еще создание имиджа новой и прогрессивной страны. Усилия президента и чехословацкого правительства дали впечатляющие результаты. В 20-е годы прошлого века в Чехословакии функционировали открытые русскими эмигрантами Русский юридический факультет, Русский педагогический институт, Русский институт сельскохозяйственной кооперации, Русский институт коммерческих знаний, Русский народный университет, Высшее училище техников путей сообщения и даже Автотракторная школа. Кроме чисто русских учебных заведений многие ученые-эмигранты работали в чехословацких учебных заведениях, таких, как знаменитый Карлов университет, Славянский институт, активно участвовали в работе Пражского лингвистического кружка. В 1925 году было создано Русское историческое общество в Праге, фактически продолжившее деятельность Императорского русского исторического общества. А еще преподаватели высшей школы занимались научной работой в специально созданных кружках, семинарах и кабинетах. Один из таких семинаров — семинар Кондакова, знаменитый Seminarium Kondakovianum, ставший впоследствии Институтом Кондакова, внес огромный вклад в мировую науку, будучи одним из ведущих мировых центров по изучению русского и византийского искусства. На личности его основателя, Никодима Павловича Кондакова, я хочу остановиться подробно.

Никодим Павлович Кондаков стал, пожалуй, самым известным русским ученым, работавшим в Чехословацкой Республике. Его известность и популярность вышла далеко за пределы круга русских ученых-эмигрантов. Достаточно повторить, что именем Кондакова был назван институт при главном в стране Карловом университете. Добиться такого в чужой стране, право, нелегко. Во-первых, чужой язык. Во-вторых, уехав из родной страны, ученые теряли очень многое: круг общения, библиотеки на



Н.П. Кондаков

родном языке, зачастую результаты многолетних исследований... Тот же Никодим Павлович, уплывая в 1920 году из Одессы на греческом пароходе "Спарта" в одной каюте с четой Буниных, вез с собой совсем немного личных вещей, и главное — рукопись своего фундаментального труда "Русская икона", который будет издан потом в Праге. Ему удалось спасти результат многолетних усилий во многом благодаря тому, что Одесса довольно долго оставалась территорией, свободной от большевиков. Не всем так повезло. Вообще, всех русских ученых-эмигрантов можно было условно поделить на три группы. Первая группа занималась специфическими русскими темами — русской филологией, историей, литературоведением, русским правом. Этой категории было труднее всего в силу узости круга студентов и слабого интереса со стороны чехословацких и европейских коллег. Вторая группа — ученые, занимавшиеся темами хотя и "русскими", но представлявшими интерес и для иностранных исследователей. Аудитория таких ученых была шире, чем у первой группы. Чехословацкое правительство поддерживало работу нескольких русских учреждений такого рода: Экономический кабинет С.Н. Прокоповича, Институт изучения России и, конечно, Семинар Кондакова. Правительство платило несколько стипендий ведущим сотрудникам и молодым соискателям и выделило семинару помещение. Позже семинар, быстро вышедший за рамки своего названия, был переименован в Археологический институт им. Н.П. Кондакова (1931), а в 1952 году влился в Институт истории искусств Чехословацкой академии наук. Ну, и третья группа — ученые, занятые универсальными научными темами. Это инженеры, химики, астрономы, профессора естественнонаучного профиля. Они при наличии высокого профессионального уровня легче всего адаптировались к жизни и работе в эмиграции.

Никодим Павлович Кондаков родился в 1844 году в семье бывшего крепостного крестьянина, который впоследствии стал управляющим в имении Трубецких, а позже переехал в Москву. Кондаков закончил историко-филологический факультет Московского университета, и ему очень повезло с учителем — им стал известный языковед и историк, академик Федор Иванович Буслаев. Школа, пройденная у выдающего ученого с широчайшими интересами, заложила основательный фундамент для будущих работ Кондакова. Он заинтересовался вопросами эволюции искусства, его истории, русской иконописью. По окончании университета Никодим Павлович преподавал в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, начал научный путь как исследователь античности. Вскоре его приглашают переехать в Одессу и принять кафедру в Новороссийском университете. С 1870-го он приват-доцент, с 1877-го — профессор кафедры теории и истории изящных искусств. Именно в нашем городе началась его золотая пора. Научные экспедиции и поездки: раскопки на Юге России, экспедиции в Палестину, Сирию, Грузию, Синай, на Афон, в Константинополь. 9 сентября 1871 года Никодим Павлович прочитал лекцию "Наука классической археологии и теория искусства", где содержалась главная мысль всей его последующей деятельности — о том, что теория искусств состоит в теснейшей связи с его историей. Через два года защитил он магистерскую диссертацию в Московском университете, в 1876 году в Одессе вышел в свет один из самых значительных его трудов, "История византийского искусства и иконографии по миниатюрам греческих рукописей". Эта работа стала его докторской диссертацией. Здесь уже был применен прославленный иконографический метод. В этот период Кондаков сложился как ученый-византолог.

До 1880-го Никодим Павлович возглавлял кафедру, а до 1888 года жил в Одессе, будучи одним из самых активных членов Одесского общества изящных искусств, уделял много внимания Одесской рисовальной школе, выведя ее на высокий уровень. После опубликования ряда работ Кондаков становится широко известным в научных кругах, и его приглашают занять кафедру в Петербургском университете. Здесь у него появляется широкий круг учеников и последователей, он пишет и издает ряд фундаментальных исследований, продолжает экспедиции и поездки. В 1896 году закончилась его преподавательская деятельность, но он полон энергии и продолжает активную научную работу. Кондаков становится крупнейшим экспертом в вопросах церковного искусства и иконописи, авторитетом для власти в этих вопросах, будучи лично знаком с Николаем II. Он

дружил с Чеховым и даже играл у него в Ялте в любительской постановке "Бориса Годунова". В годы гражданской войны Никодим Павлович жил в своем доме в Ялте, а позже — в Одессе, где вновь преподавал в ставшем ему родным университете. В Одессе он сдружился с Иваном Буниным и осенью 1919-го издавал с ним газету Добровольческого командования "Южное слово". В январе 1920-го, деля на пароходе с семьей Буниных одну каюту, Никодим Павлович отплывает из Одессы в Константинополь, а затем переезжает в Софию. В Софии их пути разошлись: Бунин вскоре уехал в Париж, а Кондаков работал поначалу в Софийском университете, но вскоре получил приглашение переехать в Прагу лично от президента Чехословацкой Республики Томаша Масарика.

Неисповедимы пути Господни. Да и человеческие зачастую тоже. Мог ли знать Никодим Павлович, вступаясь за Томаша Масарика в Петербургском университете, где тот претендовал на должность профессора славяноведения, что через тридцать лет уже президент Масарик разыщет его в Софии и пригласит в Прагу? Выборы тогда провалили, опасаясь обозлить австрияков, но академики Пыпин и Кондаков выразили Масарику свое искреннее уважение, сожалея, что не смогли провести его кандидатуру. Масарик пронес чувство благодарности через все эти годы, и когда Кондаков в 1922 году прибыл в Прагу, назначил ему персональную пенсию и устроил курс его лекций в Карловом университете. Кондаков даже вел индивидуальные занятия с дочерью президента Алисой, которая интересовалась историей искусств. Никодим Павлович стал центром притяжения для молодых ученых-эмигрантов, его исследования способствовали развитию новой философско-исторической концепции — евразийства.

Никодим Павлович Кондаков умер в 1925 году и похоронен на Ольшанском кладбище в Праге. Но идеи его были живы, а круг учеников и друзей так велик, что они весной того же года создали Семинарий Кондакова — для продолжения работы великого ученого и издания его трудов. В состав Семинария вошли М.А. Андреева, Н.М. Беляев, Г.В. Вернадский, А.П. Калитинский, В.Н. Лосский, Т.Н. Родзянко, Д.А. Рассовский, Н.П. Толль, княгиня Н.Г. Яшвиль. В течение первого же года состоялось пятнадцать собраний семинария. В 1926 году семинарий выпустил сборник статей памяти Кондакова, а в 1928 году — первый том из его главной работы "Русская икона". К 1933 году были изданы все четыре тома — два тома текста и два тома иллюстраций. Семинарий, ставший потом институтом, работал до 1945 года и стал высшим

проявлением русской науки в эмиграции и памятником коллективной преданности науке русских ученых.

Имя Никодима Павловича Кондакова тщательно замалчивалось у нас в советские годы, и, разумеется, изучать его труды не представлялось возможности. Уже в наше время благодаря сотруднику Одесского художественного училища, настоящему подвижнику Сергею Сергеевичу Шевелеву мы можем познакомиться с рядом работ Никодима Павловича. Это изданный в 2005 году "Курс истории искусств на Древнем Востоке", изданный в 2006 году "Очерк истории греческого искусства" — курс лекций, читанный в императорском Новороссийском университете в 1887-1888 годах профессором Н.П. Кондаковым с рисунками Д. Айналова. И уникальное свидетельство той эпохи: "Воспоминания и думы" — горькие заметки, воспоминания, написанные Кондаковым в 1919 году, перед самым отъездом из Одессы.

Еще одним именитым одесситом, оказавшимся в Праге после революции, был профессор, астроном Всеволод Викторович Стратонов. Он родился в Одессе в 1869 году в семье директора классической гимназии. Закончил с золотой медалью гимназию, а затем Новороссийский университет, где его руководителем стал известный астрофизик А.К. Кононович, преобразовавший Одесскую астрономическую обсерваторию в астрофизическую. В 1891 году Стратонов окончил университет с золотой медалью и дипломом первой степени, и после двух лет работы в Одесской обсерватории стажировался в Пулковской обсерватории под руководством ее директора академика Ф.А. Бредихина, тоже родившегося в Одессе. В 1894 году Стратонов был отправлен в Ташкентскую обсерваторию для работы на астрографе, созданном Бредихиным, проработал там 10 лет и сделал огромное число ценных наблюдений. Он открыл звездные облака, проводил наблюдения за Солнцем, которые вылились в большую работу, удостоенную Императорской премии. Следующая большая работа — "О строении Вселенной" — была опубликована на французском языке и принесла ученому большое признание. И вдруг Стратонов бросает научную работу и резко меняет направление деятельности. Он уезжает на Кавказ и становится чиновником для особых поручений при наместнике Кавказа графе Илларионе Ивановиче Воронцове-Дашкове. В 1910-1911 он работает главным редактором газеты "Кавказ", и даже создает собственный банк. Через несколько лет вновь возвращается в науку, издает книгу "Солнце", получившую премию Астрономического общества, а в 1918 году переезжает в Москву и становится профессором физико-математического факультета МГУ, а затем деканом факультета. В 1920 году он выступает с инициативой

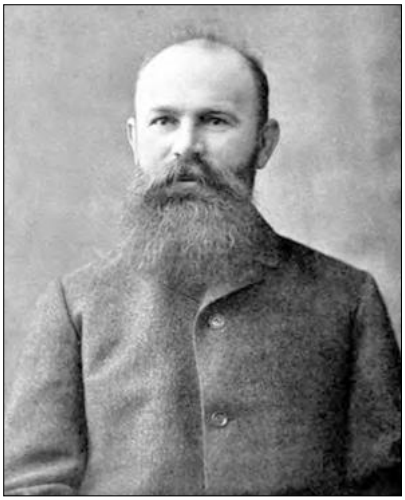
создания на Юге России большой современной астрофизической обсерватории, которая была реализована только в 1945 году в виде Крымской астрофизической обсерватории. В 1922 году Стратонов возглавил профессорскую забастовку в МГУ, вызванную резким ухудшением условий работы преподавателей. И хотя делегацию университета принял сам Луначарский, и условия работы были немного улучшены, Стратонов становится неблагонадежным. В 1922 году его арестовывают и высылают в Германию на знаменитом "философском пароходе". Всеволод Викторович недолго работает в Берлине, но затем переезжает в Прагу, где работает в Русском народном университете, преподает в Высшем техническом училище, читает популярные лекции по астрономии в Чехословакии, Эстонии, Латвии, Литве. Он выпустил несколько книг и учебников на русском и чешском языках. По его инициативе был организован Русский культурный кружок.

Всеволод Викторович Стратонов ушел из жизни в 1938 году и похоронен в Праге, на русском кладбище в Ольшанах.

Для человека, даже немного знакомого с геологией, имя академика Николая Ивановича Андрусова говорит о многом. Ученый с широчайшим кругом интересов, он профессионально занимался не только геологией, но и минералогией, палеонтологией, зоологией. Родился Николай Иванович в 1861 году в Одессе. В Новороссийском университете (1880-1884) он слушал лекции биологов И.И. Мечникова и А.О. Ковалевского и занимался в геологическом кабинете под руководством профессора И.Ф. Синцова. Уже в 1884 году вышла его первая научная работа. Николай Андрусов продолжил обучение в 1885-1887 годах в Вене, Мюнхене, Загребе, с 1887 учился в аспирантуре Санкт-Петербургского университета, где в 1890-м защитил магистерскую диссертацию. Затем он возвращается в Одессу. Получив должность в Новороссийском университете, Николай Иванович участвует в многочисленных экспедициях и активно преподает: в 1896-1904 годах он профессор минералогии Юрьевского университета, затем в 1904-1912 — профессор Киевского университета, с 1914 — директор Геологического музея петроградской Академии наук, с 1918 по 1920 — профессор Таврического университета. В 1914 году он становится академиком санкт-петербургской Академии наук.

Николай Иванович Андрусов был женат на дочери Генриха Шлимана Надежде Генриховне Шлиман, у них было пятеро детей. В 1919-м на Архангельском фронте погибает его старший сын Аркадий. Это известие очень сильно подействовало на Николая Ивановича, ведь старший сын был его надеждой, помощником в нескольких экспедициях. Ученого парализовало.

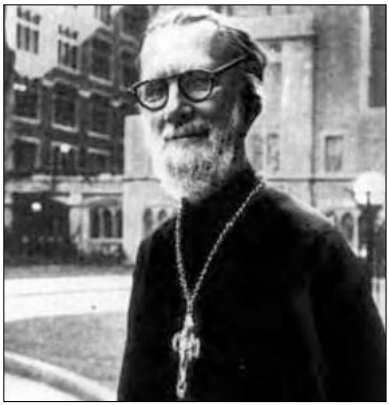
Семья вывезла его на лечение во Францию, где его состояние улучшилось, и он работал в геологическом кабинете Сорбонны. В 1924-м году семья Андрусовых переезжает в Прагу. Прожив недолго в Праге, Николай Иванович скончался в возрасте 63 лет. Похоронен в Праге, на Ольшанском кладбище.



Н.И. Андрусов

Памяти академика было посвящено пленарное заседание 3-го съезда русских академических организаций, состоявшееся в Праге в том же году. Николай Иванович сумел передать свою увлеченность, преданность науке детям. Его сын Дмитрий Николаевич стал крупным ученым-геологом, действительным членом Словацкой академии наук. Его внучка, профессор-минералог Галина Дмитриевна Андрусова-Влчкова, написала книгу об отце и научной династии Андрусовых.

Видное место в научной жизни тогдашней Чехословакии занимали братья Георгий Васильевич и Антоний Васильевич Флоровские. Георгий Васильевич, будучи одним из создателей теории евразийства и тесно сотрудничая в этой сфере как с самим Никодимом Кондаковым, так и с его учениками и последователями, стал одним из крупнейших русских богословов. Антоний Васильевич был известным историком и занимался не только научной, но и активной общественной и преподавательской работой. Вот список учебных заведений, в которых он преподавал: Русский народный университет, Русский юридический факультет и философский факультет при Карловом университете. Антоний Васильевич участвовал в деятельности Русского исторического общества, был его последним (1937-1940) председателем. В 1931 году Антоний Флоровский был директором Кондаковского института, в 1933-м — председателем ученого совета Русского заграничного исторического архива. Ему была присвоена степень доктора философии, он был профессором Карлова университета, а в 1948 году Антонию Васильевичу была присвоена степень доктора исторических наук Чехословакии. Как видим, он сделал на своей новой родине



Г.В. Флоровский

блестящую научную карьеру. А что же было до этого, до эмиграции?

Родившись в 1884 году в Елисаветграде, Антоний Флоровский в 1894-м переезжает с семьей в Одессу, где его отец получает место настоятеля кафедрального собора и ректора Одесской семинарии. В 1909-м он заканчивает Новороссийский университет в Одессе, занимается здесь же научной работой и в 1916-м получает звание профессора. И конечно же, активно участвует в научной и общественной жизни — становится действительным членом Историко-филологического общества и Библиографического общества при Новороссийском университете, а также Одесского общества истории и древностей. В 1918-м он был уволен из университета большевиками "за происхождение", в 1919-м восстановлен правительством Деникина. В 1921-м занимал пост директора Одесской городской публичной библиотеки. В 1922 году был арестован и выслан из страны. С 1923 года Антоний Васильевич жил в Праге.

Удивительно, но после войны Антоний Васильевич Флоровский получил советский паспорт и даже печатался в СССР. Однако ученый остался жить в Праге, продолжая много и плодотворно работать. Он ушел из жизни в 1968-м году и похоронен на Русском кладбище в Ольшанах.

Георгий Васильевич Флоровский родился на девять лет позже брата, в 1893 году. В 1916 он окончил историко-филологическое отделение Новороссийского университета. Занимался также историей философии и естественными науками (его экспериментальная работа по физиологии слюноотделения была одобрена И.П. Павловым и была опубликована в "Записках Академии наук" за 1917 год). В 1919-м он приват-доцент кафедры философии и психологии.

В январе 1920 Георгий Васильевич вместе с семьей эмигрировал в Болгарию, где участвовал в создании Русского религиозно-философского общества, жил сначала в Софии, а затем переехал в Прагу. С 1922 года преподавал на Русском юридическом факультете Карлова университета и в Высшем коммерческом институте, где читал курс истории русской литературы. В 1923 году Георгий Васильевич защищает магистерскую дис-

сертацию по теме "Историческая философия Герцена". В Праге Флоровский состоял в "Братстве святой Софии", основанном протоиереем Сергием Булгаковым, с которым он впоследствии радикально разойдется во взглядах. Там же он становится одним из основателей евразийского движения (вместе с Н.С. Трубецким, П.Н. Савицким, П.П. Сувчинским и другими) и участвует в сборнике-манифесте "Исход к Востоку" (1921). Связь его с этим учением продлится недолго: после участия еще в двух евразийских сборниках ("На путях", Берлин, 1922; "Россия и латинство", Берлин, 1923) он войдет в идейный конфликт с лидерами движения и окончательно порвет с ним после публикации в 1928 году его статьи "Евразийский соблазн". В 1923 году Георгий Флоровский принимает участие в работе первого организационного съезда Русского студенческого христианского движения в чехословацком местечке Пшеров.

Из Праги Георгий Васильевич Флоровский уезжает в Париж, а после войны — в США. Он преподавал в Гарварде и Принстоне и занимался уже только вопросами православного богословия, далеко уйдя от евразийства. Как богослов он добился значительных успехов, став в этой области одним из виднейших специалистов и сформировав собственные концепции. Он стал активным деятелем экуменического движения и одним из основателей Всемирного совета церквей.

Много, много было наших земляков-ученых в Праге. Можно вспомнить Николая Львовича Окунева, историка византийского и древнерусского искусства, ученика Н.П. Кондакова, который был профессором нашего Новороссийского университета (1916), а затем унаследовал курс Кондакова в Карловом университете. И Валерия Сергеевича Вилинского, доктора философии, историка, литературоведа, который родился в 1903 году в Одессе и до 1955 года жил и работал в Праге. А ведь были и представители других профессий. Например, Михаил Васнецов, сын того самого великого Виктора Михайловича Васнецова, который в 1911-1914 годах работал в Одесской астрономической обсерватории, а в Праге стал священником. Или скульптор Александр Сергеевич Головин, родившийся в 1904 году в Одессе и перебравшийся в 1923-м в Чехословакию. Если писать о каждом подробно, статья грозит перерасти в монографию. Чтобы этого не произошло, остановлюсь еще лишь только на одной группе одесситов, ставших пражанами. Это — целая плеяда артистов балета.

Началось все с Ремислава Ремиславского. Родился он в Варшаве, окончил балетную школу, работал в театрах Киева, Петербурга и Тбилиси. Гражданская война застала Ремиславского в Одессе. Здесь и встретилась



Национальный театр Чехословакии

та группа танцоров, которой суждено будет позже оказаться в Праге. В то время в нашем оперном театре выступали Елизавета Никольская, Андрей Дроздов и Вадим Балдин. Вскоре Ремиславский уезжает из Одессы в Варшаву, куда за ним едет Никольская. Спустя короткое время, в 1923 году, они оказываются в Праге. Ремислав Ремиславский четыре сезона отработал в качестве танцора и хореографа пражского Национального театра. В 1922-м он основал свою балетную школу, которую возглавлял вместе с женой, балериной Ирмой Сторме. Он продолжал педагогическую деятельность до глубокой старости и умер в Праге в 1973 году в возрасте 76 лет.

Елизавета Никольская, которая стала впоследствии настоящей звездой пражского Национального театра, попала в Прагу совсем молодой — ей было восемнадцать. Она родилась во Владивостоке, училась в Петербурге в балетной школе О.О. Преображенской, а после революции переехала с матерью в Одессу, где окончила гимназию и в пятнадцатилетнем возрасте поступила на сцену Одесского театра оперы и балета, в котором в то время работал балетмейстером и организовал хореографическую школу Ремиславский. Вскоре ее талант и усердие были замечены — в 16 лет она становится солисткой. Через два года она в Праге, где уже первые ее концерты были замечены публикой и прессой. Долгие двадцать три года выступала Елизавета Никольская в Национальном театре. Хотя она часто ездила на гастроли, всегда возвращалась в Прагу как домой. Никольская стажировалась и выступала в Париже, два сезона была солисткой Египетской королевской оперы и балета в Каире, где ее партнером был одессит Андрей Дроздов. С 1933 года она становится прима-балериной труппы Национального театра, одновременно начинает заниматься хореографией, ставит несколько балетов, и здесь ее также сопровождает удача. Как отмечают критики, в период до второй мировой войны пражский балет стоял на тре-

тьем месте в Европе после парижского и римского. Балерина открывает свою школу, с успехом выступает с учениками на Всемирной выставке в Чикаго (1933). Чехословацкий балет под руководством Никольской много и успешно гастролирует. После войны она уезжает в Венесуэлу, где продолжает педагогическую работу, вновь открыв балетную школу. В 1955 году в возрасте 51 года Елизавета Никольская умерла.

Андрей Дроздов и Вадим Балдин оба родились в Одессе. Дроздов встретился с Никольской в 1926 году в Париже и составил с ней балетный дуэт. После нескольких лет гастролей, в том числе в США, они возвратились в Прагу, где Дроздов получил место в Национальном театре. Вадим Балдин после эвакуации из Крыма в 1920-м недолго жил в Турции, и даже выступал за футбольную сборную Турции, где его называли Балдин-бей. В 1926 году он становится членом балетной труппы пражского Национального театра. В Национальном театре он выступал до 1944 года.

Вообще, театрально-оперные связи Праги и Одессы можно без преувеличения назвать удивительными. В то же самое время, когда в Национальном театре Чехословакии работал дирижером Александр Подашевский, который до этого работал дирижером и композитором в камерном театре Одессы, дирижером Одесского оперного театра был чех Иосиф Прибик. И Подашевский, и Прибик оба активно занимались композицией, сочиняли музыку. С 1923 по 1940 год Александр Подашевский стал автором музыки около сорока постановок для пражского Национального театра, восьми — для театра на Виноградах, сотрудничал с пражской группой Русского камерного театра и с театром в Софии. Биография Иосифа Прибика вообще заслуживает отдельной книги. Родившись в Чехии в 1853 году и окончив Пражскую органную школу, а затем Пражскую консерваторию, он уехал работать в Россию. "Зачем? — спросите вы. — Неужели не было работы в Вене? Ведь Чехия входила тогда в состав Австро-Венгрии!" Ответ кроется в чешском национальном характере. Как сказал режиссер Ян Сверак о чехах: "Мы немного циничны, по-немецки хладнокровны и по-славянски эмоциональны". Чехи всегда колебались между Западом и славянским миром, пытаясь найти свою идентичность. Это характерно выразилось в том же правительстве Томаша Масарика, в котором он и большинство министров были ориентированы на Европу, а первый премьер Карел Крамарж был завзятым русофилом, женатым на русской, и даже похоронили супругов Крамарж в крипте Успенского храма русского кладбища на Ольшанах. То же и с Иосифом Прибиком — он крайне неприязненно относился к австрийско-немецкому влиянию в Чехии и был убежденным сла-

вянофилом, поклонником славянской музыки. В России его карьера успешно развивалась, он работал оперным дирижером в Харькове, Львове, Киеве, Тбилиси, Москве. Дирижировал в Киеве премьерами опер "Пиковая дама" (1890) и "Князь Игорь" (1891). Петр Ильич Чайковский был очень доволен тем, как прошла киевская премьера, и лично рекомендовал Прибика на должность главного дирижера одесского оперного. С 1894 Иосиф Прибик — в Одессе. Он отработал в нашем оперном сорок три года, будучи сначала главным, а после 1926-го — почетным дирижером. В спектаклях под его руководством пели Ф.И. Шаляпин, М.И. и Н.Н. Фигнеры, Л.В. Собинов, Л.Г. Яковлев. С 1919 Иосиф Прибик был профессором Одесской консерватории. Он в числе первых в тогдашней Украинской ССР получил звание заслуженного, а затем и народного артиста, Героя труда. Прибику присвоен титул Почетного гражданина Одессы.



Марина Выскворкина

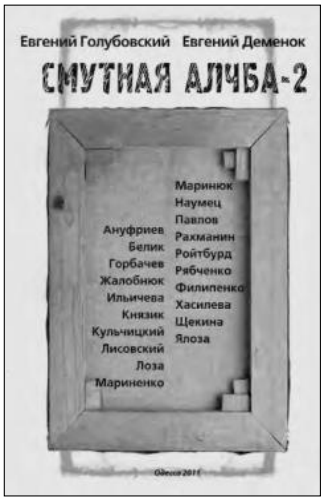
Так же, как и Александр Подашевский, Иосиф Прибик много сочинял. Им написаны две сюиты для оркестра, фортепианные трио, квартет, квинтет и соната, пьесы для пения и для фортепиано. Прибик — автор восьми одноактных опер по рассказам Антона Павловича Чехова. В программы чествования памяти А.С. Пушкина по всей России и в 1899, и в 1999 годах вошла его кантата "Памяти великого поэта".

Взаимопроникновение, взаимообогащение культур двух городов продолжается и сегодня. В наши дни в пражской Государственной опере блещет прима сопрано одесситка Марина Выскворкина. О степени ее популярности и признания в Чехии свидетельствует такой факт. В мае 2005 года в Брюсселе во Дворце искусств выступали чешские звезды Европейского турне — 2005, посвященного 60-летию окончания второй мировой войны. Этими звездами были Карел Готт, Хелена Вондрачкова и Марина Выскворкина.

Перечитал написанное и подумал, что сложившиеся многолетние отношения Одессы и Праги требуют большего статуса, нежели существующий ныне. По крайней мере — побратимского. Это может показаться шуткой, но в каждой шутке, как известно...

Феликс КОХРИХТ

"Смутная алчба — 2": от "А" до "Я"



В 2010 году вышел сборник интервью, который провели с одесскими деятелями современного искусства два Евгения — Голубовский и Деменок. В предисловии авторы этой интересной и поучительной книги признались: "На свой страх и риск мы выбрали двадцать художников, чьи успехи и творческая активность в 2009 году представлялись нам заметными". Недавно увидел свет очередной сборник под тем же названием — "Смутная алчба", — но под № 2, в котором идет речь о лидерах 2010 года.

Голубовский и Деменок — люди с разным опытом, принадлежащие к разным поколениям исследователей и толкователей, собирателей и пропагандистов не только изобразительного, но и иного одесского искусства. Я бы сравнил их тандем с Владимиром Познером и Иваном Ургантом, но наши земляки путешествуют не по заморским странам, а по мастерским художников, музейным залам, частным собраниям. И каждый, опираясь на свое видение, привносит свой выбор собеседников, что делает образующуюся картину художественной жизни нашего города если не объемной, то и не плоской.

Сейчас самое время напомнить, что название уже двух сборников (нам обещан и третий) навеяно альманахом, который в 1918 — окаянном году — так и не вышел в Одессе. Не правда ли, есть нечто печальное в сочетании слов, из которых первое знакомо, а второе относится к архаичным и означает то ли желание, то ли алчное стремление обладать чем-то недосягаемым...

Но как раз подобная смысловая и эмоциональная окраска напрочь отсутствует и в замысле составителей, и в тональности ответов тех, кто давал им интервью.

И все же признавая правомерность выбранного принципа отбора героев бесед, позволю себе напомнить точку зрения великого поэта Бориса Пастернака, размышлявшего о критериях, по которым художник может

судить о своей жизни: "И пораженье от победы ты сам не должен отличать". Но право же, почему бы этого не сделать другим...

И еще: вспомнилась история, рассказанная мне много лет назад Дульфаном. Не его сыном Дмитрием, опрошенным в первой "Алчбе", а Люсьеном, — вот кого бы расспросили — он бы такого наговорил! Так вот, Люсик — тогда еще веселый и шумный, талантливый и молодой живописец раблезианского (на одесский лад) толка — поведал о своем родственнике, которого сегодня нарекли бы конченым лохом, а в 20-е годы минувшего века называли "лемеле" (на идише — "баранчик"). Когда грянул нэп, он решил обогатиться и каким-то образом создал маленькую артель, которую назвал "Успех". Какое-то время надеялся на удачу, но всегда приходил домой с пустыми карманами. И однажды его несчастная жена, увидев из окна приближающегося горемыку, сказала свекрови: "Вот идет наш успэх!".

Так или иначе, в сборнике мы встречаемся с художниками, чьи имена известны. Одни — широкому кругу почитателей, другие — определенному.

Составители, стремясь соблюсти объективность, разместили художников в алфавитном порядке. И это дает возможность отметить, что удивительным образом под первой и последней буквами оказались персонажи диаметрально противоположные, и для меня — знаковые.

"А". Ануфриев Сергей. Знаю его еще младенцем, сыном легендарной и дорогой для нас пары, вписавшей свои имена в историю современного одесского искусства. Александр (Саша, Шура) Ануфриев — один из зачинателей движения нонконформистов. Маргарита (Рита), во втором браке Жаркова, — муза молодого Саши, организатор и куратор многих выставок 70-80-х годов.

Их сын — известный теоретик одесского, да и всесоюзного авангарда. Сооснователь одного из направлений в нем — медгерменевтики. В багаже А-младшего — преимущественно тексты, а не изобразительная продукция, а также перформансы, хепенинги, как говорится, порой на грани приличия. Впрочем, у меня есть и его юношеские рисунки, — ах, каким же он был эрудитом и книжником... В последнее время Сережа, живущий в Москве, да и за рубежом, зачастил в Одессу. Отвечая на вопрос о своем участии в наших выставках 2010 года, говорит: "...Мне кажется, самым интересным явлением, вызывающим очень противоречивые чувства и оценки, было Одесское биеннале. Я могу сказать, что я со своей женой Катей его сделали. Здесь я не постесняюсь". Оборву цитату. В мою задачу не входит полемизировать с С. Ануфриевым на предмет вклада каждого, чьими тщаниями этот проект все же состоялся к годовщине города. Мы могли бы

и подискутировать с ним, но в отличие от моего давнего знакомца, признаюсь: я постеснялся...

"Я". Ялоза Альбина. Знаю ее всего несколько лет, но выделил сразу же — по работам на первой же выставке. Харьковчанка, она получила крепкое профессиональное образование: этот город славен художниками-графиками. Первые ее одесские серии свидетельствовали не только об овладении самыми современными технологиями, но о применении собственных — оригинальных и эффектных — приемов в работах, вписывающихся в контекст общеевропейского графического искусства. А затем произошло что-то вроде неожиданного чуда: Альбина создала листы, на которых ожили разноцветные рыбки — как бы родичи тех, что писал, рисовал, мастерил из дерева Валентин Хрущ. И еще — цветы, которые не спутаешь с другими, — наши, одесские, фонтанские.

А между " А" и "Я" — между "Ань" и "Янь" одесского Букваря — еще 18 фамилий.

Не удержусь повторить: у меня был бы другой состав и букв, и фамилий, но кто из нас, уважаемые читатели, не сказал бы того же самого? Поблагодарим же Голубовского и Деменка за отвагу выбора.

Художники разные — и по уровню дарования, и по степени известности, и по вкладу в современное искусство и культурную жизнь Одессы, и по избранным приоритетам и ценностям. Оценивать их работы, их ответы на вопросы нужно не сравнивая, а в контексте биографий и судеб, профессиональных устремлений и жизненных кредо каждого.

В новой "Алчбе" — всего два художника из предыдущей, Стас Жалобнюк и Александр Ройтбурд, по-прежнему интересны составителям и читателям. Я бы отметил то, что их сближает. Талант, профессионализм, энергетика, умение много и плодотворно работать, организаторские способности, стремление к лидерству, патриотизм. Последний компонент каждый из них понимает по-своему, но по сути, они — преданные одесситы, переживающие за родной город.

То, что их разъединяет... Об этом поговорим в заметках о третьей "Алчбе". Уверен, они вновь встретятся среди очередной двадцатки самых успешных и деятельных.

Ройтбурд и Жалобнюк — в тройке самых упоминаемых коллегами. На первом месте Хрущ. В связи с этим: в первом сборнике опубликовано интервью с Юрием Егоровым, записанное незадолго до его кончины. Уверен, — во втором могла бы быть и беседа с Валентином, Валиком, Хрущиком, пусть и составленная из разных текстов и воспоминаний.

И все же любопытно: насколько они разные, наши художники!

Говоря о самом большом гонораре, Юрий Горбачев сообщает о том, что его работа, изображающая святого Георгия, была продана за 210 тысяч долларов...

Виктору Павлову составители сборника подобный вопрос вообще не задают...

Василия Рябченко спрашивают о его отношении к Одессе.

— У меня просто любовь.

— Когда началась?

— Наверное, с рождения в этом городе.

"Я люблю Одессу, хотя иногда и обижаюсь", — Александр Лисовский...

На важнейший вопрос о соотношении себя со Временем отвечают поразному. И слава богу.

Читайте сами.

К примеру, Павлов, автор философских трактатов, сформулировал: "От времени нельзя никуда деться". И эта сентенция удивительно органично корреспондируется с еще одной максимой Бориса Пастернака, чьи родители были одесситами: "Не спи, не спи художник! Не предавайся сну! Ты времени заложник, у времени в плену". Пунктуация — по памяти.

Кроме интервью в сборнике есть и содержательные статьи Евгения Голубовского и Евгения Деменка, из которых вы узнаете, как "Из солнечных степей, обтекаемых морем", вышел на свет божий "Первый одесский авангард".

P. S. Только из второй "Алчбы" я узнал, что за отчетный период мой любимый Женя Рахманин стал заслуженным художником Украины. Вот это — успех!



"Пусть чуждый дым у дивной двери тает..."

Еженедельный театральный журнал Худсектора Одесского губполитпросвета "Театр" почему-то не вошел в перечень подобных изданий в справочниках и энциклопедиях.

Он действительно выходил недолго, с конца марта до начала мая 1922 года. Затем был преобразован в журнал "Зритель", который просуществовал менее полугода (с июня по октябрь). Лишь в конце года Губполитпросвет создал редакционную коллегию журнала "Силуэты", уже стабильно выходившего несколько лет (1922-1925).

Такое упорство в создании театральной периодики объяснялось, конечно, политикой партии, провозгласившей: "Театр, ты мне нужен!". Уже были "орабочены университеты", пролетарская мысль пришла в школу, клубы... В области же театра наметилось отставание, "плуг социалистической революции никак не мог в корне вытравить старую, буржуазную, разлагающую культуру", — театр оказался наиболее консервативным и неподатливым. А.В. Луначарский, приехавший в Одессу в 1920 г., назвал одесскую театральную ситуацию "ярмаркой развлечений". Губполитпросвет взял инициативу в свои руки и провозгласил: "Ни пяди своей позиции на фронте культуры!".

Журнал создавался в сложное время, среди лишений, неопределенности, страхов. Позади холодная зима. Нередко случались голодные обмороки среди актеров, продуктовые подношения и дрова считались лучшими подарками для бенефициантов.

Разговор о самоокупаемости театров на страницах журнала казался наивным (впрочем, эта тема перетекла так же безнадежно и в наше нестабильное время).

Рассказывая в свое время на страницах альманаха о журналах "Зритель" и "Силуэты", мы отмечали, что с ними сотрудничало множество талантливых людей. Журнал "Театр" также этим отличался. Первый его номер открывался стихотворением Осипа Мандельштама "Дом актера", где поэт достаточно пафосно пытался убедить: "Плывите же вместе к грядущим зорям, актер и рабочий...". В другом номере находим стихи Эдуарда Багрицкого "Театр", вполне отвечающие определению Юрия Олеши — "поэт жизнерадостности большевизма".

Как всегда, интересно читать статьи профессора Бориса Варнеке, возглавлявшего кафедру классической филологии в Новороссийском университете и в то же время серьезно занимавшегося историей театра. Любопытен очерк об актере Н. Милославском Александра де-Рибаса. Известный литературовед Михаил Алексеев напечатал в "Театре" познавательную статью "Ширяевская театральная библиотека". Речь идет о коллекции пьес XVIII-XIX вв., приобретенной Одесской публичной библиотекой в 1891 году и находящейся по сей день в фондах музея книги теперь уже Национальной научной библиотеки им. М. Горького.

ТЕАТР

ДОМ АКТЕРА

Здесь, на твердой площадке Яхт-
Клуба,
Где высокая мачта и спасательный
круг,
У южного моря, под небом юга,
Деревянный, пахучий строится сруб.
Это игра воздвигла стены—
Разве, работать, не значит играть?
По свежим доскам широкой сцены,
Какая радость впервые ступать.
Актер—корабельщик на палубе мира,
И дом актера—на волнах...
Никогда, никогда не боялась лира
Тяжелого молота в братских руках.
Кто сказал „Художник"—сказал
„Работник",
Во истину правда у нас одна.
Единым духом жив и плотник
И поэт, вкусивший светоч вина.
А вам спасибо, и дни и ночи
Мы строили вместе, наш дом готов.
Под маской суровости скрывает
рабочий
Высокую нежность грядущих веков.
Веселые стружки пахнут морем,
Корабль оснащен, в добрый путь,
Плывите же вместе к грядущим зорям
Актер и рабочий—вам нельзя
отдохнуть.

О. Мандельштам.



И. В. ПРИБИК

К 35 лет. дир. деятельности.

Цена 30.000 руб.

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

ТЕАТР

ОРГАН

Художественного Сектора Одесского Губполитпросвета.

Выходит еженедельно по вторникам.

Редакция и контора: *ул. К. Маркса (б. Екатерин.), д. № 12, комн. 18.*

Прием по делам редакции от 12 до 1½ ч. и от 3 до 4 ч. дня по оффиц. врем. ежедневно.

№ 2 *4 Апреля 1922 г.* *№ 2*

ПЛАТОН ЦЕСЕВИЧ

(Шарж).



К приезду его в Одессу.

Среди этих пьес – первые издания классических произведений, рукописные экземпляры, инсценировки и пьесы ныне забытых авторов. Это – бесценный материал для театроведов и историков литературы. Возможно, у современных исследователей возникнет интерес к этой уникальной коллекции, и призыв автора статьи внимательно изучить ее найдет отклик спустя многие десятилетия?..

Журнал "Театр" пытался рассмотреть текущие проблемы театра в условиях нэпа. Постоянно анализировался репертуар оперного театра, пристальное внимание уделялось работе театра-лаборатории "Массодрам", организованного в 1921 году, но, увы, не смогшего стать ведущим драматическим театром Одессы.

Неистребимы были театры миниатюр, столь любимые зрителями. Среди них выделялся "Крот" ("Конгрегация рыцарей острого театра"), располагавшийся в подвале на углу Екатерининской и Троицкой. Писали, что "от шаблонного театра миниатюр он отличался литературностью, стремлением к изяществу и утонченности". Создал его Виктор Типот (этот псевдоним с английского переводился как "заварочный чайник"), молодой человек 29 лет, окончивший физико-математический факультет университета. Украшение театра – Вера Инбер и Рина Зеленая, отличавшиеся "чувством юмора и чувством ритма". Там же выступал в музыкальных спектаклях талантливый 12-летний мальчик Додик Ойстрах. "Крот" неизменно получал доброжелательные оценки, но, к сожалению, вскоре почти вся эта компания перебралась в Москву и стала работать в кабаре "Нерыдай".

И еще об одном материале хочется упомянуть. Это воспоминания Владимира Нарбута о Власе Дорошевиче "Король в тени". Горькие заметки были напечатаны вскоре после ухода из жизни "короля фельетона". Встреча их состоялась в Севастополе, когда в жизни Дорошевича "пролегла роковая, непреодолимая грань". Одесса же помнила блестящего журналиста и лектора, принявшего в 1893 году приглашение поработать в "Одесском листке", крупнейшем издании на Юге России. Столичная "звезда" получила возможность писать о чем угодно. Нужно сказать, Дорошевича любили и побаивались, ибо одесскому мещанству немало доставалось едких характеристик в его знаменитых фельетонах. Трудно было смириться с печальным концом столь блестящего человека...

Четыре тоненькие тетради журнала "Театр", напечатанные на плохонькой желтой бумаге, несут нам из далеких 20-х годов прошлого столетия много интересной информации, заставляющей думать о преемственности, судьбах таланта во все времена, вечных проблемах творческой жизни.

Татьяна ЩУРОВА

ТЕАТРАЛЬНЫЕ ОЧЕРКИ

Н.К. Милославский

В этот вечер он играл Иоанна Грозного. В своей роскошно обставленной уборной, в Русском театре, он сидел согбенный в креслах перед большим золоченым зеркалом, одетый в золотую парчу, отороченную мехом, с шапкой Мономаха на голове и ожидал своего выхода.

Чувствовалось, что в великом артисте происходит процесс перевоплощения, что в эту минуту он уже не Милославский, а грозный московский царь. И было жутко смотреть на него. Густо наклеенные над его глазами седые брови сдвигались, как две тучи. Старческий беззубый рот скривился в злобную улыбку. Он вдруг стал что-то шамкать про себя, и неизвестно было, припоминает ли это он свою роль, или он взаправду переживает мысли и чувства страшного полубезумного владыки.

Но вот на сцене раздался звонок перед поднятием занавеса, и помощник режиссера торопливо вбежал в уборную, чтобы предупредить Милославского о его выходе.

Бедный помощник режиссера! Не успел он сказать свое обычное: "Николай Карлович, ваш выход!" — как Милославский, гневно поднявшись во весь свой высокий рост и схватив остроконечную железную палку, приготовленную для его



сцены с послами, вонзил ее в пол уборной у самых ног режиссера.

— Какой я Николай Карлович? Я царь Иоанн Васильевич!

И тотчас же, вновь по-старчески сгорбившись, с трясущейся головой он вышел на сцену.

Все за кулисами привыкли к частым вспышкам и разным причудам артиста; но на этот раз все были так ошеломлены, что долго не могли опомниться.

Помощника режиссера пришлось приводить в чувство холодною водою.

Александр де-Рибас.

ШИРЯЕВСКАЯ ТЕАТРАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА

В 1891 году Одесская публичная библиотека приобрела у известного в Одессе любителя театра Д.В. Ширяева его библиотеку; эта богатейшая коллекция пьес, шедших на одесской сцене с конца XVIII века (до 3-х тысяч названий) составляет теперь специальный "Театральный отдел Одесской публичной библиотеки".

Ширяевская библиотека является одним из лучших провинциальных театральных собраний: в ней собрано почти все существенное для истории русского репертуара. Наряду с первыми изданиями "Ябеды" Капниста и комических опер Крылова, трагедий Озерова и Княжнина, переплетенных в сафьян и темную кожу, здесь можно встретить хороший подбор русских водевилей 30-х годов в обычных московских изданиях, в оттисках из "Репертуара и пантеона" 40-х годов и старых петербургских журналов, и в более редких изданиях, с иллюминованными портретами Сосницкого, Дюра и Асенковой. Плеяда русских водевилистов представлена достаточно полно: в библиотеке найдутся все лучшие произведения Каратыгина, Федорова, Григорьева, Ленского и Кони. Наряду с полным собранием драматических переделок кн. Шаховского здесь можно встретить и первое издание гоголевского "Ревизора", и рукописную копию "Горе от ума", здесь, наконец, найдется и все наиболее известное из русского драматического репертуара 50-70-х годов, от ценных текстов Островского, драм Аверкиева и Чаева — до забытых оперетт с когда-то злободневными куплетами. Д.В. Ширяев, собирая свою библиотеку, по-видимому, стремился лишь к полноте подбора, не задаваясь специальными целями библиографа и библиофила.

Отсюда, вероятно, и все случайное и малоценное в его собрании: внимательный глаз собирателя не пропускал ничего, попадавшегося ему под руку; вот почему редчайший экземпляр "Ябеды" Капниста может совсем спокойно стоять рядом с дешевенькой пьеской провинциального драматурга. Но жалко все-таки, что Ширяевская библиотека так мало привлекала к себе внимания театралов и ученых специалистов. По экземплярам Ширяевской коллекции можно было бы написать не одну любопытную страницу из истории русского театра и русской литературы. Среди пьес 40-70-х годов есть много рукописей; все они, вероятно, вышли из театральной среды, на что указывают режиссерские поправки, заметки на них. Несколько переплетенных рукописных тетрадок на бумаге с водяными знаками 50-60-х годов хранят отметки: "Из библиотеки суфлера В.Ф. Семенова. Кременчуг". Попадаются любопытные списки актеров провинциальных трупп, история которых еще так мало разработана. Некоторые из этих рукописей, вероятно, уникумы.

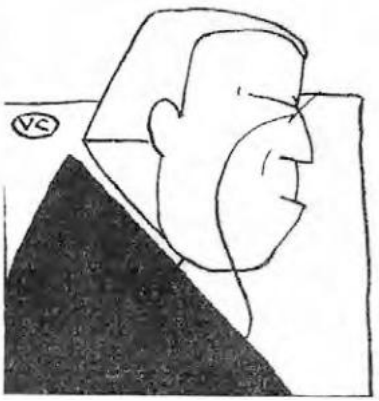
Несколько лет назад В.В. Данилов в специальном филологическом журнале написал большую статью о драматических переделках гоголевских повестей:

материалом послужило ему именно ширяевское собрание. Известны также попытки П.Н. Столпянского сгруппировать подобный материал и для Пушкина. Столпянский назвал до 30 драматических переделок пушкинских повестей, поэм и даже мифических произведений, но он не исчерпал всего материала; в ширяевском собрании мне попались не отпечатанные им рукописные переделки "Евгения Онегина" 40-х годов, "Арапа Петра Великого" и "Метели". Проф. Бобров в свое время собирал сведения о драматургии Бахтурина, любопытной и своеобразной фигуре которого он посвятил небольшой этюд. Бахтурин был поэтом и драматургом. О нем вспоминал Пушкин в письме к Нащокину. Горький пьяница и бесшабашный гуляка — Бахтурин был знаменит в петербургских трактирах. Он был другом Вадима Пассека и шафером на свадьбе у Огарева. Он был мастер составлять эффектные афиши и писать драмы бенефисов. Об этом Бахтурине Глинка рассказывал, что план оперы "Руслан и Людмила" был набросан им под пьяную в четверть часа, и что опера написана именно по этому бахтуринскому плану. Изучая драматическую деятельность Бахтурина, Бобров сообщил лишь заглавия его восьми драм: "его драмы, за исключением одной, не были напечатаны, — пишет Бобров, — и вряд ли сохранились". Но все драмы Бахтурина попались мне в Ширяевской библиотеке в хороших копиях начала 40-х годов; между ними оказались и когда-то знаменитые драматические переделки романов Марлинского, которым несколько сезонов подряд рукоплескали в Александринке.

Ширяевская библиотека может пригодиться для историка литературы; работающий над текстами драматических произведений Тургенева найдет здесь интересную рукописную копию "Нахлебника" и с любопытством остановится на таких произведениях, как "Накануне", по сюжету Тургенева (1876), "Разговор на большой дороге" — сцена Тургенева (1851), и "Безденежье", сцены Ив. Тургенева (рукопись 1860 г.). В запутанном вопросе о тексте "Назара Стодоли" Т. Шевченко исследователь может встретить поддержку в рукописной копии этой пьесы 1876 года. С большим интересом можно также прочитать рукопись 1848 гола: "Сверчок домашнего очага" (содержание повести Диккенса); замысел драматизировать поэтический рассказ Диккенса гораздо старше прославленной попытки студии моск. Художественного театра! В скромном отделе провинциального книгохранилища найдется много любопытного и для историка русского театра, и для историка русской литературы; но отчего бы сюда не заглянуть и специалисту-театралу? Существует особое библиофильское наслаждение в чтении каталогов и книжных перечней; князь Вяземский сравнивал его с наслаждением, которое он испытывал, читая прейскуранты хороших винных погребов. Когда читаешь каталог Ширяевской театральной библиотеки, с его страниц веет хорошим ароматом давних, полузабытых, подлинных театральных волнений.

М.П. Алексеев.

КОРОЛЬ В ТЕНИ
(Воспоминания о В.М. Дорошевиче)



Влас Дорошевич. Шарж В. Каррика

Бухты, спокойные и домашние, — может быть, потому, что горла их слишком узки, на выщербленных берегах ютятся белые домики, а вода густая и зеленоватая, как олеонафт; кривые, взбегающие ящерицами в гору и скатывающиеся вдруг к базару, улицы; известковые террасы, пересеченные ступенями и ступеньками, а по бокам в молочном тумане важные лысые горы; сырой, отяжелевший от тумана ветер, лениво перебирающий оборванные провода и гладящий ткнувшееся мордой в выбоину мостовой орудие; шныряют шинели с красными бантами во всю грудь, глазеют, торопясь, прохожие, в еще открытых магазинах на Морской и Екатерининской идет скупка и продажа за бесценок, за советские деньги (валюта!) разной завали, уцелевшей от врангелевского погрома, в ревкоме — суетня, расквартировываются штабы, и уже появились цветные агитационные плакаты — "царь, поп и кулак".

Изредка треснет выстрел, один-другой, но вообще, если что и может пугать мир уходящего или нарождающегося, безразлично, быта, так это — таинственное, заволоченное пленкой море, где, по слухам, все шатаются и рыщут неприкаянные пираты. Пароход "Дмитрий", притащивший нас из Одессы, посапывает у пристани, а мы размещаемся в лучшей гостинице города.

И тут же, в гостинице, узнаю, что в городе остался Дорошевич: не пожелал уехать.

Это было в Севастополе, в ноябре 1920 года, на четвертый или пятый день по уходе из него белых.

Моросила небесная пакость, курилась вечерняя мгла, когда мы, я и поэт Шенгели, постучались у двери квартиры Дорошевича. Высунулась женская голова, посветила свечой и, узнав Шенгели, ласково закивала: "Влас Михайлович вас ждет. И давно". Большая темная комната глотает нас, и вскоре из бокового входа шаркающей медвежьей поступью, покачиваясь, выбирается высокий и сутулый грузный старик с обрюзгшим вялым лицом в плотных складках, с медленным взглядом, с некой окоченелостью в движениях.

— Здравствуйте, Георгий Аркадьевич, — здоровается, гудя торжественным баском, Дорошевич с Шенгели — затем деревянно протягивает руку мне и совсем неожиданно,

старчески покашливая, неуклюже, как мешок, опускается в кресло. Тягостное молчание, нарушаемое лишь дряблым и тоже старческим (так пожевывал, очевидно, Плюшкин) пожевыванием да шепотком в соседней комнате.

Я беру "интервью". Задаю вопросы — их ворох: как относится В. М. к Врангелю, к советской власти, как он смотрит на нынешнее внутреннее и международное положение России, каково, по его мнению, будущее ее, — касаюсь местной, крымской журналистики, желаний самого В. М. Но уже предупрежденный Шенгели вынужден наталкивать, наводить Дорошевича на ответы. Да и ответы-то: что бы я ни сказал, подтверждение или отрицание (смотря по моему тону) получал только конец моей фразы, — кратко, по-детски, несложно. "Как вы, В. М., полагаете: действительно ли советская власть является властью трудящихся?" — "Я полагаю, советская власть является властью трудящихся", — как глухое эхо, утвердительно отвечает Дорошевич. И видно было, что в кресле покоит свои телеса человек, у которого страшная болезнь (lues), как моль, распылила и выскребла здоровое мышление, пересыпала трухой случайно уцелевшие мозговые нервы. Так же случайно, второпях пробежал по одной из этих ниточек солнечный луч: Дорошевич нескладно и наивно поведал, как кто-то из ворвавшихся в Севастополь партизан заглянул и в его квартиру, привязался к В. М. с требованием выдать будто бы имеющийся у Дорошевича наган и исчез, удовольствовавшись скромной премией в виде золотых часов. В.М. Дорошевич на минуту засиял, заулыбался



Влас Дорошевич. Шарж Н. Ремизова

и ничуть не обиженный, не шокированный, добавил: "А матросы — мои защитники: они уже никого не пускают ко мне". Это была правда: матросы, заняв квартиру напротив, установили добровольную охрану писателя от всяких посягательств со стороны. И вторично запрыгал в глазах В. М. тот же лучик: речь зашла о Петербурге, о жене В. М., о Горьком. Дорошевич забеспокоился: как, что, — там, на севере? Высказал даже желание: возможно, вот только потеплеет, — обязательно перекочевать в Петербург. Но едва беседа сползла на политические рельсы, — снова сонная животная жвачка, снова урчащее старческое покашливание. А из соседней комнаты, хромая, вынырнула родственница В. М., пожилая женщина с ясными глазами, и за ней — всегдашний спутник фельетониста, экономка, — та самая, что впустила нас. Принесли чай, и Влас Михайлович окончательно погрузился в "растительный процесс". Женщины дипломатически намекнули нам, что уже не рано, и присовокупили, что живется Дорошевичу плохо, очень плохо, дороговизна растет и проч. Я обещал

похлопотать в ревкоме (дня через два ревком прислал Дорошевичу костюм, обувь, продукты), пожал деревянную ладонь В. М. и — подумал: "Ему уже ни физически, ни душевно не встать. Кончено. Он — только манекен". Правда, несколько дней спустя Дорошевич зачислился сотрудником КрымРоста, дал даже, — кажется, не свой, — несуразный фельетон, но все это было тяжелым самоиздевательским процессом той же тупой жвачки.

* * *

Встречался с В.М. Дорошевичем я трижды: в Москве, Петербурге и здесь, в Севастополе. Но по-настоящему было два Дорошевича: один — сверкающий афоризмами и парадоксами, король фельетона, министр от публицистики, исколесивший на автомобиле Европу, Америку и Азию, избороздивший все океаны и моря, король и министр, пред которым распахивались двери недоступных буржуазных кабинетов, человек, который не знал пределов исполнения своих писательских стремлений и чаяний, ибо вместо пера у него было жало; и — другой: одряхлевший, как старый мир, бытобичевателем и в то же время невольным апологетом которого он был, гальванизированный труп, угорь в высыхающем бассейне. И когда я прочитал о том, что Дорошевич — "сменовеховец", что он якобы собирается редактировать неоинтеллигентский журнал "Новая Россия", я до боли четко ощутил в себе холодок естественной смерти В. М., плоть которого уже превратилась в протоплазму для размножения клеточек тления. Я вспомнил знаменитое "при особом мнении" Дорошевича и — понял, что именно тогда пролегла в его жизни роковая непреодолимая грань.

Владимир Нарбут.

Малый театр „КОМЕДИЯ“ Ланжероновская, 24.

ЕЖЕДНЕВНО СПЕКТАКЛИ.

СО ВТОРНИКА **МАЛЕНЬКАЯ ШОКОЛАДНИЦА**

Ком. в 3 д. Поль Гаво.

Начало в 7½ ч. по солнцу.

В ВОСКРЕСЕНЬЕ 2 СПЕКТАКЛЯ: нач. в 6½ ч. и 8½ ч. по солнцу.

АНОНС: Гот. к пост. „Цезарь и Клеопатра“ Б. Шоу. „Мистер Джон Ту“ Вечер одноактных пьес С. Грея.

2-й Малый театр бывш. „КРОТ“ (Колодезный пер., 9).

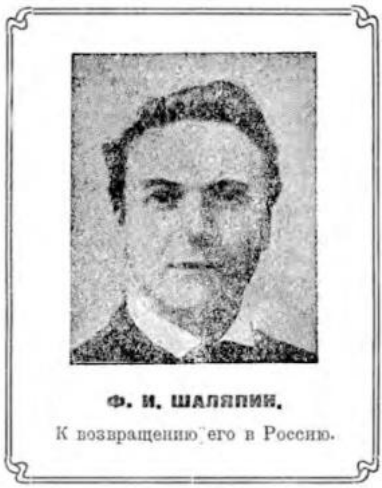
В четверг 6, пятницу 7, субботу 8 и воскрес. 9 апреля СПЕКТАКЛИ 39 ЦИКЛА. В программе: „Немая жена“ „Венская жизнь“ „Урок“ „Песенки Конки Джо“ и др.

АНОНС! С понедельн. 17 по воскрес. 23 апреля ежедневно спектакли 40-го (праздничного) цикла и детские утренние спектакли — Подробности в афишах.

Руковод. Виктор Типот. Уполном. театра А. Шинберг.

Начало в 10 час. по оф. вр.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ПЕСТРЯДЬ



Ф. И. ШАЛЯПИН.
К возвращению его в Россию.

Бенефисный паек.

Подарки, преподнесенные маститому дирижеру И. Прибику в день юбилея, вызвали немало разговоров в театральных сферах. Оказывается, среди бенефиций:

Кожа на подошву,
20 пудов дров,
1/2 пуда муки,
5 ф. сала,
5 ф. сахару,
Торт.

По нашему времени этот бенефисный паек представляет большую ценность и пришелся как нельзя кстати юбиляру.

Умер или... спит?

Молодой театр "Массодрам" потерял своего молодого режиссера В.В. Броневского.

Не верилось, что болезнь унесла этого пламенного и неутомимого работника сцены.

И вот артистической молодежи, которая пришла вместе с театральными друзьями отдать последний долг почившему почудилось...

...Не спит ли "живой" покойник...

Действительно, в гробу В.В. Броневский с полуоткрытыми глазами казался спящим.

Сейчас же пригласили врача.

Исследование показало, что "чудо" не свершилось.

Антракты.

Как развлечь публику в антрактах?

На этот вопрос пока постарался ответить Н.И. Собольщиков-Самарин.

В театре порхают в голубеньких шляпках и в таких же лентах на руках женщины билетерши.

Новое время смело традиционных мужчин-капельдинеров.

Но этого мало.

Еще играет оркестр.

Вот тут-то не все благополучно.

Руководитель его, очевидно, не уяснил себе, что ему следовало бы исполнять.

Государственная Консерватория
Крестьянский Дворец
(Греческая, 48)

В воскресенье 9 апреля 1922 г.
СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ,
устраиваемый силами студентов Госконсерватории
НАЧАЛО в 8½ ч. по офф. врем.

Оказывается, и театр, и оркестр сами по себе.

Если учесть, что оркестр есть только добавление, а не целое, то станет ясной необходимость выдержать музыку соответственно художественному тону спектакля.

Этого-то и нет.

На сцене пьеса Достоевского, а в антрактах исполняют бравурные, а порой даже бульварные вальсы.

Это следует устранить художественным руководителям Гостеатра им. Шевченко.

Л.М. Чацкий.

ТЕАТР
„САТИРЫ
— и —
Музыкальн. Комедии"
(б. Северный)

Среда 5, Четверг 6, Пятница 7 апреля
Популярная Музыкальная Комедия Лео Фалля в 3 д.
РОЗА СТАМБУЛА
уч. Ждалова, Мирваль, Жданов, Рассатов, Шевцов и др.
Постановка режис. Венск. Оперет. театра Леопольда Поппера.
Дирижер Венского Опер. театра Шольтес.

Уполномоч.
Я. Г. Шошников.

В Субботу и Воскресенье ПРЕМЬЕРА
ДОЛОЙ САТАНУ
муз. сатира в 3 действ.

ТЕАТР



М. Маф
Э. Багрицкий

Воздвигнут храм на дикой крутизне,
И мраморные широки ступени,
Восстаний грохот, вопли поражений
К нему летят и тают в вышине.

.....

Чудесных тайн свободные жрецы, —
О, лицедеи, ваш глагол суровый
Дворцы ломает и громит оковы,
Как ясный гром летя во все концы.

.....

Средь голода и сумрака — теперь —
Вы ризой ослепительной одеты,
В просторы славы, радости и света
Гостеприимно распахнули дверь!

.....

Да будет так!
Пускай текут года,
Пусть чуждый дым у давней двери тает,
Там солнце нестерпимое сияет
Освобожденного труда.

Э. Багрицкий.

БИБЛИОГРАФИЯ

Вера Инбер. Бренные слова. Одесса. 1922.



Кукрыниксы
В. Инбер



За целый год литературная жизнь Одессы не обогащалась ни одной новой книгой стихов, и только недавно вышла из печати книга стихов Веры Инбер, объединяющая в себе стихи 1917/21 годов. Поэтесса в своих стихах, как и подобает культурному поэту, отдает дань течениям, господствующим в современной "столичной" поэзии. Акмеизм, провозглашенный Гумилевым и Ахматовой, нашел в Инбер верную и способную последовательницу. Вся книга Инбер посвящена исключительно ее личной жизни, субъективизм и только субъективизм главенствует в этой небольшой книге. Какое-то детски-просветленное настроение, какая-то изумительная ясность чувств и образов — вот главное достоинство поэтессы. И поэтому резким и неприятным диссонансом звучат юмористические стихи, помещенные в конце книги. Слишком много в них буржуазно-слащавого и северянински-ресторанного. Но за этим исключением, книга производит безусловно приятное впечатление.

Desi

ЩЕЛЧКИ
(Дружеские посвящения.)
Эд. Багрицкому.

Его "девиз": — крупы и жиру,
И будет жизнь моя легка.
И он за полтора пайка
Продал талантливую лиру.

Калий.

Феликс КОХРИХТ

"Черногорцы? Что такое?"

Ответ на этот пушкинский вопрос мы искали в старинном Которе.

История вопроса такова. Александр Сергеевич Пушкин, которому были близки свободолюбивые чаяния и мужественные поступки всех, кто боролся против тирании, в дном из стихотворений цикла "Песни западных славян" воспел подвиг черногорцев, не покорившихся самому Бонапарту, а ведь перед ним склонились практически все европейские государства. Поэт вкладывает в уста императора слова, полные недоумения и уважения к маленькому народу: "Черногорцы? Что такое? — Бонапарте вопросил. — Правда ль: это племя злое, не боится наших сил?".

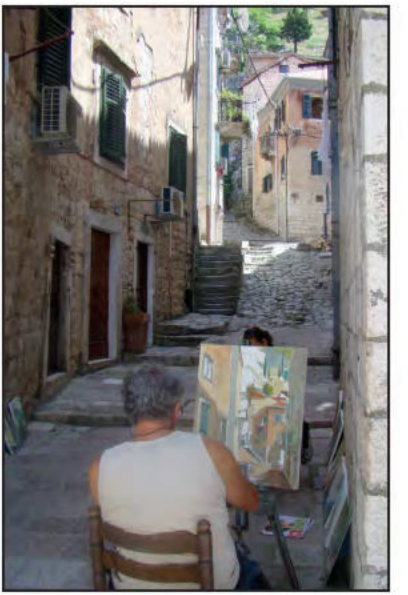
Великий французский полководец был не единственным, кто на протяжении веков получал достойный отпор от обитателей горных селений и узкой прибрежной полосы Адриатики. Древние римляне, византийцы, венецианцы, австрийцы, итальянцы, гитлеровцы на себе ощутили отвагу и воинское мастерство обитающего здесь народа, девиз которого выразил Пушкин: "Нам сдаваться нет охоты — Черногорцы таковы!".

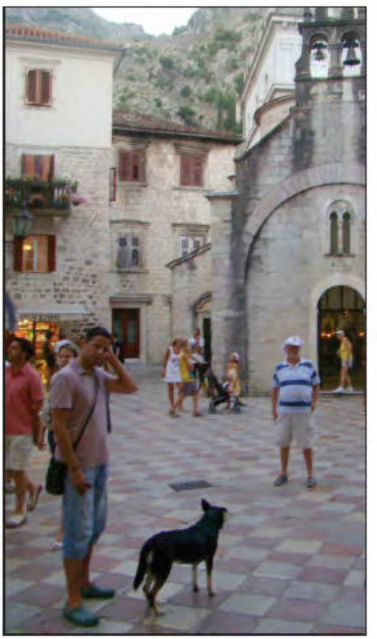
О былых сражениях напоминают крепости, к которым и сегодня было бы нелегко подступиться врагу. За стенами одной из них мы провели несколько незабываемых дней. Старинный город Котор упоминается в преданиях и исторических хрониках на протяжении 2500 лет. В VI веке до н. э. здесь жили иллирийцы, в I веке н. э. находилось поселение Агрувиум, а в 680 году византийцы переименовывают его в Катархум — отсюда и Котор...

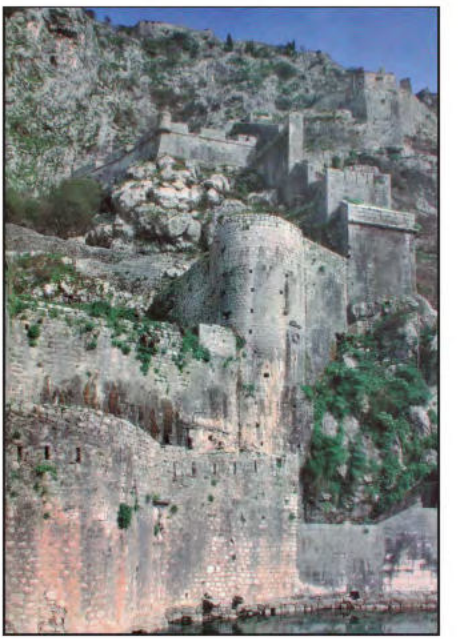
Историю города, Черногории и Адриатики вообще, можно изучить по трудам ученых, мы же знакомились с ней на бастионах крепости, узких улочках и булыжных площадях Котора, признанного ЮНЕСКО объектом мирового культурного наследия. Важно сказать, что обычно такие города являются скорее музеями, чем местом обитания, но в Которс жизнь течет в тех же домах, что и столетия назад, в храмах идет служба, гостей приглашают в рестораны, кафе, конобы (народные харчевни), где потчуют уникальным черногорским окороком-пршутом, негушскими сырами и, разумеется, ракией (виноградной, абрикосовой, сливовой и т. д. водкой), оказывающей исключительно пользительное влияние на организм, особенно мужской...

Доминантой Котора — и исторической, и архитектурной — является крепость, стены которой охватывают город и его окрестности на протяже-



















PLASKE
ПЛАСКЕ
Energy in motion



нии пяти километров. Они начинаются у городских ворот и взбираются по крутым горным склонам. Ширина стен достигает 17 метров, форты, носящие имена святых, оснащены пушками, которые еще в XVIII веке делали город неприступным и с моря, и с суши. Да и во время второй мировой войны которские партизаны наносили отсюда удары по фашистам, о чем свидетельствуют благодарственные слова маршала Тито, которые можно прочесть над главными — Морскими воротами. Через них в город попадают путешественники, прибывшие морем.

Нас встретили колокола. Первыми начали бить часы на Венецианской башне, за ними басовито вступила звонница собора Святого Трифона (его начали строить в IX веке), часовни Святого Луки (XVII век), кафедрального собора Святого Николая и других церквей. У каждой — свой голос. В одной них — Святого Духа — нынче находится зал, где мы были на концертах знаменитых музыкантов — скрипача Валерия Ойстраха (внука нашего великого земляка), "Золотой флейты" — испанца Клади Аримани. Они состоялись в рамках традиционного масштабного международного фестиваля "Котор Арт" под патронатом ЮНЕСКО и правительства Черногории. Выступления камерного и симфонического оркестров, театральных трупп проходили на площади перед собором Святого Николая и в старинном амфитеатре.

Котор, как и наша Одесса, — морской город. Отсюда вышли знаменитые флотоводцы, первопроходцы торговых путей, негоцианты, но и пираты, и контабандисты — об этом рассказывают экспонаты Морского музея, где есть материалы и о русских адмиралах — черногорцах по рождению, и о годичном пребывании в этих водах российской эскадры в годы войны с Наполеоном. Самые известные и почитаемые и ныне которские фамилии принадлежат членам древних морских родов, многие из которых похоронены на острове Усопших Капитанов, расположенном в Бока-Которском заливе. Напротив — остров Погибших Кораблей. На первом — тихое кладбище и монастырь, куда не допускают посторонних, зато на втором высаживаются многочисленные туристы со всего света, среди которых были и мы. Маяк с курантами, небольшая церковь, пушечные ядра, старые якоря — все это настраивает на романтическую волну... Да и сам залив с его фиордами, прозрачной бирюзовой водой, окружающие горы составляют одно из красивейших мест на Земле.

Сюда — к манящим берегам, к глубоководным стоянкам — швартуются суда разного назначения — и комфортабельные лайнеры, и океанские яхты, и паромы. А однажды у Котора бросил якорь огромный парусник с невиданным мною доселе количеством мачт — их было пять. Курсанты греческих мореходок пришли сюда, в Котор, чтобы отдать честь прославленным капитанам Адриатики.

...Мы начали эти заметки с цитаты из Александра Пушкина. Перефразируя еще одного знаменитого поэта — Владимира Маяковского, — закончу их обращением к читателям: "Очень жаль мне тех, которые не бывали в Черногории!".

Фото автора и Татьяны ВЕРБИЦКОЙ

Анатолий ГОРБАТЮК

Записки бывшего эмигранта
Из будущей книги "Там хорошо, где..."

Можно убежать из отечества, но нельзя убежать от самого себя.
Гораций

I. Мы уезжаем в Америку

...Когда наша дочь Катя в довольно сложном конкурсе, проходившем в Киеве, выиграла грант на возможность учиться в одном из нью-йоркских колледжей и в самом начале лета 1994 года с нескрываемой радостью отправилась в далекую Америку, я и представить себе не мог, что скоро и сам должен буду принять решение об отъезде. Время, конечно, было неспокойное — нищета вокруг, бандитизм, запустение, но у меня все было нормально: прекрасная квартира, достойная работа в порту, большой круг интересных людей, с которыми я общался... Кроме того, работая ли за границей "на суше" (например, во Вьетнаме), или качаясь по волнам мирового океана на судах загранплавания, через месяц-другой я начинал страшно скучать по Одессе — в какой бы порт (самый экзотический) ни заходило судно, в каких бы экскурсиях ни бывал.

Правда, здесь случай был особый: после отъезда Кати жена буквально места себе не находила, и любые разговоры заканчивались одинаково: "Опять не спала всю ночь... Как там наша Катюша — одна, среди чужих людей? А вдруг, не дай Бог, заболеет — кто ее будет выхаживать на чужбине? Не могу я здесь спокойно находиться, нужно уезжать к ней!..". И так — постоянно. Что оставалось делать? А здесь как раз и шестьдесят мне стукнуло — можно и на заслуженный отдых. Рассчитался я с родным портом (как по живому отрезал: как-никак, три с половиной десятка лет с ним связано), получил на прощание удостоверение "Ветеран порта" и — свободен... В ресторане "Золотой берег", что на 16-й станции Большого Фонтана (старые одесситы помнят его неофициальное название — "Черный дрозд"), собрал на свой юбилей всех дорогих мне людей, на котором и объявил: так, мол, и так, уезжаем мы с Людой в солнечный Лос-Анджелес. Вот тут и началось... Даже Валера Хаит, велеречивый капитан одесской команды КВН, научившийся в КВНовских баталиях ничему не удивляться, временно потерял дар речи (мол, вот так пердюмо-

нокль*), а во всех последовавших тостах красной нитью проходило: "Ты что, Горбатый, с ума сошел?!". Красивей всех сказал, естественно, Миша Жванецкий: "Ты, Толя, явно погорячился: здесь тебя все знают, ты всех знаешь, живешь жизнью нашего города, а там... Кому ты там понадобишься?! С нашими стариками-эмигрантами в парке сядешь "козла" забивать?..". Вот так постановочка вопроса — как будто мы за дешевой колбасой отправляемся! И так места себе не находил, а после подобных напутствий еще тоскливее стало. Забегая вперед, с удовлетворением отмечу: слава Богу, ошибся наш живой классик: нашел я свою нишу в далекой Америке, но каждое утро, забегая в Пламмер-парк на разминку и видя собиравшихся у столиков с домино наших стариков, вспоминал несбывшийся Мишин прогноз...

Кстати, о стариках. В наших эмигрантских кругах практически невозможно встретить бывшего *рядового* инженера, *рядового* преподавателя или *рядового* экономиста: все как один — бывшие руководители предприятий (не ниже главного инженера), директора учебных заведений, старшие экономисты... Думал, думал, но так и не понял, почему из развалившегося Советского Союза уехало только "руководящее звено", а рядовые трудяги остались...

Но ненадолго вернемся в Одессу ноября 1997 года. Больно было расставаться с нашей уютной ухоженной квартирой, но еще больнее — с моей довольно обширной библиотекой. По рассказам родителей, до войны у нас было великолепное собрание книг, включая, например, все тома Энциклопедии Брокгауза и Эфрона, разграбленное после нашего отъезда в эвакуацию. Вернувшись с войны, даже в самое трудное время отец, истинный книголюб, по крупицам собирал новую библиотеку, постепенно втягивая в этот захватывающий процесс и меня. Когда отца не стало, я продолжал собирать книги, благо впоследствии появилась возможность получать так называемые "подписные издания", и в доме появились собрания сочинений писателей, которых страстно любил отец, передав эту любовь и мне. "Как жаль, что он это не видит", — с грустью думал я, расставляя на полках томики обожаемого нами Джека Лондона... Библиотеку эту я подарил замечательному "Дому с Ангелом" — реабилитационному центру для детей-инвалидов. Когда дюжие ребята (сразу видно — спортсмены), присланные директором центра Борисом Давидовичем

* Это совсем не то, что вы подумали. По-французски "perdu" — потерял, а "monocle" — монокль и есть. Если вдруг случалось что-то неожиданное, удивительное, человек широко раскрывал глаза — и монокль падал. То есть слово "пердюмонокль" означает нечто из ряда вон выходящее.

Литваком, начали выносить полки с книгами, я закрылся в дальней комнате... Впрочем, здесь не обошлось без курьеза. Вместе с библиотекой я решил подарить "Дому с Ангелом" и пианино — очень старый добротный инструмент с чугунной рамой, на котором Катя прошла полный курс музыкальной школы. Те же мощные ребята (их было четверо), перенеся в ожидающий их грузовик книги, не без усилий приподняли фортепьяно и, кряхтя, понесли его к выходу. Предупредив спортсменов, чтобы они не повредили мраморные ступени лестницы в парадном, я с тяжелым сердцем вернулся в квартиру и сначала не обратил внимания на грохот, раздававшийся во дворе. Когда же спохватился и понял его происхождение, было уже поздно: избавившись от моего назойливого внимания, спортсмены лихо покатили мой хрупкий инструмент на миниатюрных колесиках по старому, в глубоких выбоинах, асфальту... Потом позвонил Борис Давидович, поблагодарил за книги и с усмешкой спросил: "Что это за дрова ты прислал под видом пианино?". И что я должен был ответить? Что его спортсмены не любят музыку?..

Дождливым утром 14 ноября 1997 года мы оставили Одессу. Думали — навсегда. В дальнее путешествие (до поста пограничного контроля в киевском аэропорту нас провожал мой верный друг Юра Андреев) с нами отправились мальтийская болонка Тяпа и кошка Ксюша, ровно за четыре года до этого в такую же ненастную погоду вытащенная женой полуслепым котенком из мусорного бака на улице Польской. И здесь не обошлось без удивленных возгласов и красноречивых покручиваний указательным пальцем у виска: "Куда с животными претесь, малахольные, здесь их оставьте!..". Нет уж, коль уезжать — так всей семьей! Не могу не вспомнить прохождения нами таможни в киевском аэропорту "Борисполь". Ну, кто скажет доброе слово о таможенных контролерах? Что, нет желающих? А вот я скажу! По совету людей опытных я заранее зажал в кулаке 50 "зеленых", предназначенных для них. Нет, не подумайте, что мы собирались перевозить через границу "что-то такое", да и документы на наших животных были в полном порядке... Просто "знатоки" меня предупредили: если не хочешь растянуть на часы это удовольствие (имелся в виду досмотр багажа и личных вещей), а потом лихорадочно, в спешке, собирать разбросанные, а ранее аккуратно уложенные пожитки, — дай сразу полтинник. Я так и попытался сделать. Строгая девушка-контролер, критически оглядев нас и мечущихся в клетках наших хвостатых попутчиков, только усмехнулась, отодвигая мою руку с баксами: "Проходите! Вам эти деньги там очень пригодятся"...

Но как бы позлорадствовали все те, кто настаивал на оставлении животных в Одессе, если бы узнали, как буквально месяца через три после нашего приезда в Лос-Анджелес в полной мере подтвердилось утверждение знатоков жизни "там": в Америке содержать животных могут себе позволить только обеспеченные люди. Короче говоря, наши братья меньшие отравились непонятно чем, и экстренное посещение госпиталя для животных на бульваре Сансет, диагностика, включая рентген, и лечение с помощью дорогущих медикаментов обошлось нам... Даже не хочу называть цифру, чтобы не травмировать читателя. В 1999 году собачка наша умерла от какого-то вируса на шестнадцатом году достаточно счастливой собачьей жизни и была кремирована в том же госпитале. А вот Ксюша, законченная, как и все кошки, эгоистка, и сегодня радует нас оптимизмом и игривостью — в почтенном-то семнадцатилетнем возрасте! В 2000-м году, погнавшись на балконе за колибри, она спикировала с четвертого этажа на лос-анджелесскую землю, но, к счастью, только слегка ушиблась. Это показало медицинское обследование с непременным рентгеном (кошачья медицина, к слову, к этому времени хорошо подорожала)... Совершив путешествие в обратном направлении, в 2004 году она благополучно вернулась не только в свой родной город, но и в оставленную в 1997 году квартиру. Вот чудеса! Но это — отдельная история. Кстати, а не тянет ли Ксюшино почти кругосветное путешествие на какой-нибудь кошачий рекорд в "Книге рекордов Гиннеса"? Нет, серьезно, вот назовите еще хотя бы одну кошку, осилившую путешествие по маршруту: Одесса — Киев — Париж — Нью-Йорк — Лос-Анджелес — Чикаго — Варшава — Вена — Одесса! То-то... Извините, отвлекся.

Итак, поздним вечером 14 ноября 1997 года в аэропорту Лос-Анджелеса нас встречает несколько человек — родственники и мой друг (он же — прекрасный джазовый пианист) Костя Швуим. Последний вместо "Здравствуй!" устроил мне маленький сольный концерт по поводу прилета в Лос-Анджелес именно в пятницу, а не в какой-нибудь другой день недели. Видели такое? Меняя страну проживания, я, понимаете ли, должен был помнить, что по пятницам мой друг ходит на "джем-сешн" в джазовый клуб в Санта-Монике. Его тираду я выслушал весьма рассеянно: честно говоря, в тот момент мне было не до Кости...

Мы едем в снятую для нас Швуимом квартиру (*one bedroom**) — двухкомнатную, если по-нашему. Начинается новый, поначалу — весьма тре-

* С одной спальней (анг.)

вожный этап жизни, потому что к этому времени глава семьи уже успел разменять седьмой десяток, а с английским языком у него — еще хуже, чем с деньгами, то есть никак. Но сначала — еще в аэропорту — была небольшая лекция для вновь прибывших — для нас — так, несколько фраз, с пафосом произнесенных одним из родственников. Смысл лекции сводился к тому, что, как и положено каждому эмигранту, мы поначалу обязательно должны вдоволь наесться дерьма (слава Богу, не в прямом смысле слова), рассчитывать нам здесь не на кого — каждый выживает, как может. Концовка лекции, в которой сквозило явное ничем не оправданное злорадство, посвящалась исключительно мне лично: "Ты, Толя, забудь, кем ты был там, здесь ты никакой не начальник, и личного кабинета у тебя не будет"... Чесался у меня язык ответить, что родственники жены "лектора" все же избавили его от этой малоаппетитной процедуры, сразу приняв в свою кампанию на инженерную должность, но гордо промолчал...

В первые субботу и воскресенье на американской земле мы были окружены удивительной теплотой и всепоглощающим вниманием — такова традиция. Нас повезли в знаменитую Санта-Барбару — обиталище богачей, постаревших актеров и экс-президентов Америки, в другие экзотические места. С прекрасным видом на Тихий океан (никакой он, кстати, не тихий!) мы лакомились пиццей, запивая ее "будвайзером" — гордостью американского пивоварения. Со знаменитых лос-анджелесских холмов, сидя за столиком итальянского ресторана, мы любовались захватывающей дух панорамой ночного огромного города. В ресторане "Тройка" (кстати, его держит наш земляк Фима, работавший в Одессе у Литвака шофером) нас кормили картошкой с селедкой и квашеной капустой, как будто за два дня мы могли за этим деликатесом соскучиться...

В понедельник утром стало понятно: праздник закончился, все разбежались по своим работам, а мы остались наедине с проснувшейся пронизывающей тоской по оставленной Одессе...

II. Учим английский язык...

Через пару недель после приезда мы были зачислены на курсы (бесплатные!) английского языка для эмигрантов. В нашей группе, состоящей из двенадцати человек, одесситов, кроме меня с женой, не оказалось: супружеская пара из Москвы, четыре бакинца, два вьетнамца... Так получилось, что мы сразу оказались среди аутсайдеров: если все наши сокурсники в большей или меньшей степени владели английским (хоть какими-то аза-

ми), то мы с Людой — ни бум-бум, даже алфавита не знали. Я довольно прилично владел французским, Люда учила в школе немецкий... Кстати, насчет моего французского. Благодаря прекрасной школьной преподавательнице французского языка Любови Дмитриевне Шкляровой (из "бывших", как тогда говорили о дворянах и прочей "белой кости"), а также стараниям моей мамы, которая практически каждый день один час заставляла меня общаться с ней на языке Гюстава Флобера и Виктора Гюго, впоследствии, периодически работая на судах с французскими туристами, я легко общался с последними на их языке. Более того, при этом получал комплименты за свой "парижский" прононс! Забегая несколько вперед, вынужден констатировать: за четыре месяца обучения на курсах я, конечно, английским овладел по самому минимуму, зато хороший французский утратил начисто...

Учили нас профессиональные преподаватели-лингвисты и... драматические актеры местных театров. На уроках нам категорически запрещалось общаться между собой на каком-либо языке, кроме английского. В результате первое время я в полной мере ощущал, как живется на белом свете глухонемому. Но, тем не менее, следует признать: такая жесткая система обучения благодаря большому количеству легко воспринимаемых красочных иллюстраций и неимоверному терпению преподавателей вскоре начала приносить плоды. Не прошло и месяца, как самые нахальные (я в их числе), преодолев вполне объяснимую застенчивость, заговорили. Представляете — коверкая слова, с ужасающим произношением, но за-гово-ри-ли! Однажды, кажется, на третьем месяце обучения, я даже попытался рассказать в классе "на чистом английском языке" очень кстати вспомнившийся мне анекдот. Правда, некоторые слова я предварительно поискал в словаре. Например, "*archer*"*. Вот этот анекдот.

...Где-то в одном из арабских эмиратов проходят международные соревнования стрелков из лука. В результате упорной борьбы в финал вышли англичанин, немец и русский. Лично эмир водрузил на голову любимого слуги яблоко и начертил линию огневого рубежа. Первым стреляет англичанин. Он поднимает лук, натягивает тетиву и, почти не целясь, пускает стрелу, которая попадает точно в центр яблока. Бурные аплодисменты! Англичанин надменно поднимает голову и гордо произносит:

— I am Robin Hood!**

К рубежу подходит немец, тщательно целится в установленное на голову любимого слуги эмира яблоко, тоже попадает точно в середину его

* Стрелок из лука (анг.).

** Я — Робин Гуд! (анг.).

и под восторженный рев болельщиков радостно вскидывает над головой руки с криком:

— I am Wilhelm Tell!*

На рубеже — русский. Он долго и очень тщательно целится, отпускает тетиву и попадает стрелой точно... в лоб любимого слуги эмира!.. В наступившей гробовой тишине он поворачивается в сторону онемевшего эмира и тихо произносит:

— I am... sorry...**

Анекдот имел успех! Даже суровая преподавательница, никогда не улыбающаяся и, вообще-то, больше похожая на малосимпатичного мужчину, выдавила какое-то подобие улыбки и пробурчала нечто, соответствующее в переводе на русский язык "может, если захочет...".

Несколько раз в течение учебы мы сдавали тесты, по которым можно было судить о том, насколько выросли наши знания. Я относился к этим мероприятиям достаточно спокойно и постоянно успокаивал Людмилу, крайне болезненно, вплоть до повышения артериального давления воспринимавшую приближающийся экзамен. Впрочем... Однажды забежавший к нам за день до испытания Костя замер от изумления в дверях и довольно ехидно произнес:

— Людочка, ты так переживаешь за завтрашний тест, и при этом под аккомпанемент русского телевизионного канала играешь с мужем в карты... Так перестань переживать, выбрось карты, выключи телевизор и учи английский!

Конечно, по большому счету, Костя был прав. Но тогда убрать из квартиры русскую речь диктора Первого российского канала было выше наших сил...

Преподаватели курсов, которые, с одной стороны, оставили о себе добрую память, сумев вбить в мою голову за короткий срок кое-какие знания чужого для меня языка, с другой стороны, просто поразили меня своим интеллектом со знаком "минус". Выяснилось, что они не только не знают русскую классическую литературу (некоторые только слышали о существовании Достоевского и Толстого), но не знают и своих классиков! Более того, называемые мною имена Джека Лондона и Марка Твена, О'Генри и Эрнеста Хемингуэя им ничего — понимаете? — вообще ничего не говорили!..

* Я — Вильгельм Телль! (анг.).

** Я... сожалею... (анг.).

Золотые чаевые
Новые одесские рассказы

Моя Молдаванка

Поселившись в самом ядре Молдаванки, бандитском райончике, где в свое время Бабель снимал комнату, мне только оставалось записывать увиденное. Не спорю, времена изменились, как и сам район. Лет пятьдесят назад в дворике было три наливайки. Тетя Лора держала даже кафе "Минутка", куда шли со всех окрестных домов пропустить шкалик. Сейчас же клиенты грохочут по вибрирующей железной лестнице за более крепким зельем. Его везут пароходами из Латинской Америки в Одессу, скрывая в тайниках, например, в печах, пущенных на металлолом, или в брикетах, запрятанных в кафеле. Раскрытой контрабанды наркотиков тонны. Но еще больше того, что не нашли. Через агентуру белый порошок распространяется по Одессе, мелкими партиями поступая на Молдаванку.

— Боже, как тяжело без дозы, — вздыхает женщина с подбитым глазом у порога магазина. — Тебе-то хорошо, — обращается она ко мне. — Не надо ничего искать. А я вот день за прилавком отстояла. И половину выручки отдай, — она затягивается дешевой сигаретой.

Чуть поодаль под деревом сидит маленький грязный сгорбленный человечек. Утром, когда я проходила мимо него, он еще стоял. Одет был в трусы и майку. К полудню устал и уже сидит, облокотившись о ствол. Кто-то принес ему штаны, рубашку, в которых еще сильнее видна его худоба. Рядом сумка с хлебом и консервами. Добрый одесский народ. Сердобольная женщина хлопочет возле него. Пытается расспросить, что с ним.

— Тут болит, — говорит он, показывая на грудь.

— Я звонила в милицию, — говорит женщина, — там сказали, что ничего сделать не могут. А ведь ему плохо. Его, наверно, ударили по голове и обокрали.

Начинаем расспрашивать. По слову выуживаем историю. Жил в городе Изюм, были жена, дочка. Возвращался с работы, предложили подвезти на машине. Очнулся — разут, раздет, без денег. Пытался идти домой. Но больше не может. Нет сил.

Как человек, неопытный в таких делах, вызываю "скорую". Вежливо объясняю ситуацию. Машина приезжает через пятнадцать минут, как положено.

— Спасибо вам, девочки, — укоризненно говорят санитары, выходя из машины и оглядывая "больного". — Мы этого клиента уже два года знаем. Привезем в больницу — он все равно сбежит. Из приюта сбегал. Таких ничего не берет. А нам только работа.

Но мы все равно следим, как "дедушку" усаживают в машину вместе с дарами одесситов.

Больше этот бомж на нашей улице не появляется. Может, в самом деле, отправили в Изюм. Ведь приют для таких особ закрыли. Содержать их негде.

По дороге на Привоз замечаю еще несколько сущностей. Благо тепло, растянувшись, спят на асфальте. Другой занял скамейку на остановке. Никто теперь сесть не может, пока не проспится уличный постоялец. Женщина с ребенком на руках, бабушка с костылем ждут трамвая. Но вагоновожатая при всем желании проехать к остановке не может. На рельсах припарковалась "Тойота-Камри". Сигналы, зов никакого действа не оказывают.

— Мужики есть? — взывает водитель.

Все мужское население без лишних слов и возражений выходит из трамвая и переносит автомобиль с рельсов. Ехать-то всем надо. В набитый салон протискиваются люди.

— Если вы двери сломаете, ждать придется еще час, — обещает водитель, — нежнее, пожалуйста. Девушка, станьте на верхнюю ступеньку. Вот умница. Ну, поехали.

Два метра едем, пять минут стоим. Пробка от Привоза до вокзала. Каждый норовит проехать и никого не пропускать. Пешеходы мечутся перед автомобилями. На Привозе о красном светофоре почему-то забывают, потому что "Мне надо туда, а все остальные подождут".

На рынке на прилавках надписи "очень свежая рыба", и даже "живая рыба".

— А шо ж вы хотите, шобы она еще шевелилась за такие деньги? — возмущается продавщица. — Даром же отдаю.

Даром пробую капусту из огромных бочек. Возле меня парень с девушкой делают то же самое с огромным наслаждением на лицах.

— Гоните их, это студенты! — слышится возглас.

Но все равно молодые люди голодными не останутся. Впереди молочный корпус с жирным творожком, упругой коровьей брынзочкой, сметан-

кой, намазанной на кисть руки, домашней колбаской с изюминками сала и сладкими медовыми мгновениями.

С огромными сумками добредаю до остановки трамвая. Правда, указателей, что здесь нужно его ждать, нет. Вокруг море цветов — астр, георгинов, роз. Сторонюсь покупателей, которые с удовольствием выбирают дешевые букеты.

— Не загораживайте мне прилавок, — угрожает мне продавщица мелкой утвари.

— Так вы же на остановке устроились! — удивляюсь в ответ.

— А ты не хами! Мы тут все время стоим, — гонит меня торговка.

Благо подъезжает трамвай, куда с напором влетает толпа, унося меня внутрь вагона.

* * *

Моя остановка предпоследняя — Алексеевская площадь. От ее былой славы, рынка, оживленной улицы осталась хлебная будка, уже закрытая по причине банкротства. В ней продавались вкусные бублики с маком и кунжутом. Рядом строится Алексеевская церковь. Выкупив земли, оборудованные под стоянку, силами настоятеля и богобоязненных спонсоров готовы уже стены и золотые купола. Дело за малым. А пока приход помещается в одноэтажном здании напротив.

— Все удивлялись, зачем мне это надо, — разоткровенничался раз со мной священник, — а мне по душе церковная жизнь. Вот в Иерусалим за святым огнем еду. Благодать.

С прошлого в Алексеевском местечке осталась булыжная мостовая. Трамвай гремит, катится по ней. Ее практически не ремонтируют. А автомобилисты предпочитают ехать лучше по булыжнику, чем по просевшему асфальту с ямами и канавами.

Осенью и весной асфальт, словно корова слизала, исчезает с Алексеевской дороги. Не зная броду, не будет ходу. Новички-водители застревают колесами в ямах, которые, скорее всего, ведут в катакомбы. Вовремя не выберешься — можно и под землей оказаться.

Но яму засыпают постоянно. То щебнем, то гравием, то песочком. Булыжниками закидывали. Все в нее уходит. В общем, рот Земли.

На остальные прилежащие дороги и тротуары, понятно, уже ни сил, ни денег не остается. С плохим зрением обязательно подвернешь ногу. В темноте нужно ступать, нащупывая ногой ровную поверхность. Это тренирует внимательность и не дает расслабляться, так сказать, держит в тонусе, когда идешь усталый с работы. Но, тем не менее, успеваешь замечать,

как переливаются золотом листья кленов в парке, кружатся и падают на землю. Воздух пряный, наполненный ароматами осени, но еще теплый.

— Все бегаешь? — замечает соседка, направляясь в парк, неуклюже переваливаясь, словно утка. — Вот я свое отбегала. Была поварихой. Таскала огромные канны. Грыжу заработала. Слава богу, сейчас на пенсии. Дотянула. Теперь готовлю, стираю, детям помогаю. И еще время есть в парке посидеть.

На воротах во двор снова новый код. Недавно вселившийся хозяин одноэтажного дома в нашем дворе опасается за сохранность своей иномарки. Правда, заветные цифры через несколько дней знает вся улица. Раньше приходили за семечками, которыми торговала бабушка Роза. Сидела у ворот на скамеечке. И насыпала всем тыквенной и подсолнечной радости. Сейчас продают в пакетиках. Но семечки в них не такие вкусные и отдают пластмассой. А Роза так жарила, что ароматом пропитывались карманы и долго пахли даже после стирки.

Открываю дверь и сталкиваюсь с орущим малышом. Он хочет выехать на велосипеде на улицу. Но мама не пускает. Мчится навстречу мне, чтобы пресечь попытку ребенка выйти в окружающий мир. Во дворе царит детская идиллия: девочки и мальчики, мал мала меньше, играют, бегают, катают машинки. Три мамаши зорко стерегут их, как наседки, пока остальные родители работают или ходят по базарам. Что-что, а традиции двора как большой семьи свято сохраняются. Никакие баталии и перипетии не могут разрушить устоявшееся мировоззрение одесского дворика. Любимое место посиделок — большая скамейка — никогда не пустует вечером. Одно время она поломалась. И соседи дружно собрались деньгами, установив новую и даже покрасив. Дерево, торчащее над ней, начало сохнуть и ронять ветви. Опять собрались — и срезали его.

Скамейка — священное место, где вечером устраиваются посиделки. Бутылка и два стаканчика, соленый огурчик, тарелочка с колбаской, и скоро дуэт становится квартетом, секстетом и шумной компанией. Выносится стол, и все съестное из кухонных уголков и холодильников перебазируется на улицу. Водки никогда не хватает, ее запивают самогонкой вчерашнего приготовления. Лица красные, добрые, разговор течет рекой. Все тайны навыворот, все двери открываются, и глаза на этот мир тоже... Соседская девочка, на вид лет девяти, оказывается шестнадцатилетней. Из-за того что отец наркоман, у нее страшная неизлечимая болезнь. Первому старшему ребенку посчастливилось. Родился нормальным. А вот дочка расплачивается за

грехи отца. Именно к ним и ходят по гремящей расшатанной лестнице клиенты, кореша, поставщики.

На первом этаже под ними пожилая мать Любка и взрослая дочка Ольга. Каждое утро Любка отправляется с коляской на поиски съестного в "альтфатерах" — мусорниках. У Ольги двое детей от разных ухажеров. Но из-за ее постоянной пьянки их забрали в интернат. Однажды вечером взбешенная парами самогонки Ольга проломила матери голову. Но после пребывания в милиции и принудительного лечения в ее голове что-то перещелкнуло. Она устроилась дворником в ЖЭК, и ей аннулировали долги за коммунальные услуги. По вечерам из их квартиры подымается нестерпимый тошнотворный запах. Любка разбирает найденные в "альтфатере" сокровища. И готовит еду из этих объедков.

На самом верху живут поп с попадьей. "Священника", так он именует себя, в свое время выгнали из церкви за чрезмерное употребление спиртного. Он организовал собственный бизнес. Взял лицензию, и как частный батюшка ходит крестить, молить, отпевать. Так что на хлеб с маслом на старости и автомобиль "Мерседес" он уже себе заработал. Попадья, как все книжные прототипы, имеет вреднющий характер. И пишет кляузы на всех соседей. И всегда всем недовольна. Ее никогда не увидишь на дворовой скамейке. А только выглядывающую с заостренным любопытным курносым носом из окна веранды. Услышав недоброе слово где-нибудь в отдаленном конце двора, она пытается выяснить отношения, впрочем, не спускаясь со своего наблюдательного пункта, а метая едкие фразы врагам через пространство двора. Потому так часто разгораются дикие скандалы, иногда с метанием тарелок и прочих нужных и не очень вещей.

Такую атмосферу двора соседи считают весьма дружелюбной и умиротворяющей.

Несмотря на драки и ссоры, все друг другу доверяют. Не то что тридцать лет назад, когда квартиру нельзя было оставить открытой. Никто не знал, что тихоня Дунька ворует все, что ей попадется на глаза. Как-то тетя Дора, редкая хозяйка и умница, нажарила на день рождения толстолобика. Получилась большая кастрюля. Вынесла на веранду. А через пятнадцать минут посудина исчезла. Где искать, никто не знал. Видеокамер в ту пору не устанавливали. Зато Дунька так наелась рыбы, что аж в больницу попала с отравлением. В следующий раз она ограбила квартиру толстозадой Сары. Дома была только ее семилетняя дочка Мила. Незнакомая женщина попросила девочку дать ей золото для матери, чтобы почистить. Это была подруга Дуньки, с которой они разделили награбленное. После это-

го она хвасталась соседям, что теперь самая богатая невеста. Но выйти замуж ей так и не пришлось. Когда Дуньку выселили из квартиры за долги и прописали на окраине Одессы, кражи резко прекратились.

— Скажите, а почему вы с нами не пьете? — вопрошает меня полная, как бочка пива, соседка с красным, изъеденным морщинами лицом. Мужа ее недавно не стало. Две дочки неофициально выходили замуж, оставшись матерями-одиночками. И теперь вместе участвуют в посиделках.

— Потому что уже не могу, — отшучиваюсь.

— Я девять месяцев так не могла, — признается старшая дочь Таня, еле проговаривая слова заплетающимся языком. — А сейчас могу.

— Так ты ж кормишь? — спрашиваю.

— Сынок быстрее засыпает, — делится секретом Таня и начинает выть мелодию.

— Сегодня праздник, а где флаги? — вторит ей мать.

— Дура ты, Дуська, — наливает стопку Николай с соседнего двора. Он всегда не прочь задарма выпить.

— Дура, да! — вспыхивает мамаша. — А чью водку пьешь, мерзавец! Ты мне холодильник починил? Сгорел после того, как ты руку приложил к нему. А в нем, как в шкафу, теперь крупы храню, ни на что другое не годен.

— А мне обещал мешок сахара привезти! — включается Дора. — Где, спрашиваю?

— А ну, уходи, давай, — поднимается на защиту дворничиха, размахивая полотенцем.

— Ша, бабы, разошлись, — Николай пытается найти поддержку у соседа Толика. Но осоловевший парень только зевает, обнимая девушку Наташу.

Все это сопровождается выражениями. Потому как они не матюкаются, а на нем разговаривают.

Крик перерастает в драку. Летят стаканы, тарелки. И наконец, побежденный Николай в мокрой, пропитанной самогонкой одежде, уходит.

На миг настает тишина. Никто не понимает, почему все так быстро кончилось. И снова берутся за стаканы.

На небе рассыпаются звезды крупным горохом. Светит луна, словно просит выключить слепящий ее фонарь. Но он горит всю ночь. И только на рассвете завсегдатаи двора расходятся, чтобы спать мертвецким сном, не слыша будильников, зовущих кого на работу на базар, не отзываясь на крик ребенка. Управляться с делами домашними приходится дежурным во дворе по этому дню. Мало ли что с кем может произойти.

Самый цимис

Утром ни свет ни заря Соню Абрамовну разбудил звук стиральной машинки. Через тонкие перегородки хорошо было слышно, как она заскрежетала, набирая обороты, и пошла вращать белье соседей.

— Какого беса так рано стирать! — поворочалась под одеялом женщина. Но сна уже ни в одном глазу. Тем более что сверху сосед Степан снова начал прибивать паркет, мелодично постукивая молоточком. Именно в выходные дни он "заканчивал" ремонт. Но, как известно, ремонт — это состояние души, в котором некоторые пребывают всю жизнь.

Чтобы не быть белой вороной, которая ничего не делает и только отлеживает себе бока, Соня Абрамовна начала отбивать мясо. Вчера верная подруга Сара Львовна, работающая в мясном корпусе Привоза, подкинула на отбивные хороший кусочек свинины. На обед должны были прийти дочка с внуками. Усердно отбивая куски, она выстукивала веселую мелодию. Однако сосед стучал громче. Не выдержав состязания, женщина решила пожаловаться подруге на нарушителя тишины. Она вышла на веранду — и обомлела. Общая веревка, протянутая от дома до дома со второго этажа, была полностью завешена простынями и полотенцами. Подруга, подкручивая роликом веревку, пододвинула последний свободный кусок и заняла его своей ночной рубашкой.

— Ты что вздумала? — крикнула Соня Абрамовна. — А мне где вешать?

— Так ты даже не замочила свои простыни, — ответила Сара Львовна, — а мне время не терпит.

— Откуда такая торопь? — поставила руки в боки Соня Абрамовна. — А где уговор: мою половину не занимать? Я зачем половину денег на веревку и ролики давала?

— Ему ж всего полдня сохнуть, — не унималась подруга. — Солнце — вишь, какое жаркое.

— А я вот сейчас машинку запущу, — пригрозила соседка. — Сымай с моей стороны.

— Не сыму.

— Тогда я сама! — Соня Абрамовна потянулась за простыней.

— Не смей! — крикнула Сара Львовна. — Все перепачкаешь своими грязными руками.

— Шо, у меня грязные?

— И рот черный!

Соня Абрамовна задохнулась от возмущения и скрылась в комнате. Через минуту она вернулась с ножницами.

— Вот тебе черноротая, — перерезала она веревку. Белье плавно спланировало на крышу пристройки первого этажа.

— Ах ты, подлая! — скинула с себя косынку Сара Львовна. — Это за все, что я тебе сделала. Вот я облэнерго расскажу, как ты счетчик скручиваешь.

— А ты самогонку гонишь и всю улицу вдрызг спаиваешь, — кричала в ответ довольная содеянным Соня Абрамовна, — я ментам доложу, где ты бутылки прячешь.

— А ты незаконно веранду пристроила! Я в ЖЭК пойду, вот тебя оштрафуют.

— А ты плиту газовую перенесла.

Соседи с интересом стали выглядывать из окон. Зойка с нижнего этажа выбежала и тоже включилась в спор:

— Да закройте вы свои хлеборезки, у меня ребенка разбудили.

— Ты своим басом его разбудила, — переключилась Соня Абрамовна, — хоть бы пеленки стирала. А то вешает — вонь идет.

— А ты из мусорки вчера апельсины собирала, — ответила Зойка.

— Да я тебя! — рассвирепела Соня Абрамовна, что раскрыли ее тайну. Пенсии, чтобы полакомиться фруктами, не хватало. А тут со склада ящик полугнилых апельсинов выбросили. Как не взять?

Щупленькая Зойка встала в стойку, приготовившись к атаке.

— Не трожь ее, — выдвинула артиллерию Сара Львовна, — я тебе всю харю поломаю.

— Мине? — тыкнула себя в грудь Соня Абрамовна. — Да я все патлы тебе повырываю, — и запустила руку в крашеные рыжие волосы, собранные в хвост.

Та в ответ стала молотить подругу по голове.

— Давай ее, Сонька, — скандировал сверху плотник Степа, отвлекшись от паркета.

— Задай, Сара, неча наших трогать, — поддерживал сосед Петька с противоположного дома.

Сара Львовна схватила чугунную трубу, валявшуюся у двери, и двинула обидчицу. Та, как подкошенная, упала наземь.

— Сделала ее! — только и сказал Петька и побежал вызывать милицию.

— Убийца, — зарыдала Зойка, выбежав с орущим ребенком на руках. — Что стоите? "Скорую" вызывайте.

Милиция и "скорая" приехали одновременно. К тому времени Сара Львовна обнаружила, что не может пошевельнуть рукой, так ей больно.

Утром Соня Абрамовна пришла в себя в палате. Голова ее была обмотана бинтами, глаз заклеен, как у пирата. Рядом на табурете сидела с рукой на перевязи Сара Львовна.

— Возьми апельсинку, — протянула она, — силы восстанавливает. Как ты?

— Башка трещит. И не пили же вчера. Чё это было?

— Петька со Степаном веревку восстановили. И еще одну сделали. Теперь у нас личные, — поделилась соседка.

— Да ну тебя, — махнула рукой пострадавшая.

— Я тебе еще окна выкрашу, мне краску дармовую подкинули, — продолжала тараторить Сара Львовна. — Самый цимис будет.

— Только ты трубу эту от двери убери, а то в другой раз еще под руку подвернется, — ощупала свою забинтованную голову женщина, простив подругу, как делала это уже много раз.

— Уже убрала, — согласилась подруга, — а твоих внуков я борщом накормила и пирожков своих дала. Отбивные твои пожарила. Мясо-то ничего. Я ж плохого не дам. Дочка к тебе в 10 утра придет. Я еще варенье сварю, мне малины принесли.

— А что ментов вызывали? — наконец сообразила Соня Абрамовна, почему соседка так вокруг нее хлопочет. Она приподнялась и внимательно оглядела пришедшую с забинтованной рукой. — Донесли, значит, — проговорила она — На тебя протокол составили? — посмотрела она испытывающе, и тут же добавила: — Узнаю, кто, — харю намылю.

— И я тоже, — поддакнула Сара Львовна, — мы ж вместе сила!

— Сила! — повторила Соня Абрамовна и запихала в рот дольку апельсина, — самый цимис!



Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК

"Городок" — пятый угол!

По мнению нашего Городка

Хорошая приемная стоматолога (кресла, журналы, табличка "Стоматолог Беззубов Г.Г."). Клиент, прислонив к щеке платок, постанывает от зубной боли. Входит жизнерадостный Мужчина с папочкой подмышкой.

МУЖЧИНА: Добрый день! Вы туда? (*Клиент молча кивает.*) А там сейчас женщина? (*Клиент молча кивает.*) Это моя жена. Подожду ее. (*Садится.*) Представляете, утром мы с ней поругались. Плохое выдалось утро, очень плохое...

Из-за двери кабинета доносится звук бормашины и женский стон.

МУЖЧИНА: О... (*Поднимает брови.*) А день вроде ничего... (*Вопль "Ой-ё-ё-ёй!".*) Отличный денек сегодня! (*Клиент молчит.*) Зуб болит, да? Будут уколы делать, нервы дергать? (*Клиент с ненавистью смотрит на него.*) А хотите, я вам помогу? (*Подмигивает ему.*) А?

КЛИЕНТ: Это как? Вы что, стоматолог?

МУЖЧИНА: Нет, я социолог. Опросы общественного мнения. Вы же все равно тут сидите и дурью... то есть, простите, болью маетесь. А я вас отвлеку. (*Достает папочку.*) А?

КЛИЕНТ: Не, не хочу.

МУЖЧИНА: Это анонимно! (*Пожимает плечами.*) Ну, если вы боитесь моих вопросов...

КЛИЕНТ: Я ваших вопросов не боюсь! Я боюсь своих ответов... Да и кому интересно мое мнение?

МУЖЧИНА: Напрасно вы так думаете — ваше мнение дорогого стоит. Очень даже!

КЛИЕНТ: Правда?

МУЖЧИНА: Да! Вот казалось бы — тьфу на него, на ваше мнение. Плюнуть и растереть!.. А мне за него платят по 100 рублей за анкету. (*Перелистывает бланки, прикрепленные к планшету, как обычно при опросах.*) Уверяю, это очень отвлечет. Тут у меня есть вопросы о ценах, о политике... Вот интересный вопрос: борьба с коррупцией — это что? Варианты ответов: Один. Важнейшее дело. Два. Путь к светлому будущему. Три...

КЛИЕНТ (*раздраженно*)**:** Вот эта борьба?! Запишите: борьба с коррупцией — это полная фигня!

МУЖЧИНА: Ну, зачем вы так, это же неправда... Как вы разволновались! А зуб как? Не болит?

КЛИЕНТ (*щупает щеку*): Хм, как-то отвлекло... Ха! Тогда так и запишите: борьба с коррупцией — это заговаривание зубов. Это правда!

МУЖЧИНА: Еще вопрос. Соответствует ли ваша зарплата вашей работе? Ваше мнение: да, нет?

КЛИЕНТ: Насчет зарплаты у меня своего мнения нет.

МУЖЧИНА: Как это "своего мнения нет"?

КЛИЕНТ: Ну, я давно считал, что зарплату мне надо поднять. И вчера решился зайти к шефу, чтобы на этот счет обменяться мнениями... И обменялся! Зашел к нему со своим мнением, а вышел с его...

МУЖЧИНА: Ха! Быстро он вас переубедил!

КЛИЕНТ: Ничего-ничего... Зато вечером лежим мы с Людкой, она говорит, ладно, я его о тебе в постели попрошу, он точно не откажет.

МУЖЧИНА: Кхм... Не понял... Вы что же, свою жену к начальнику пошлете?!

КЛИЕНТ: Почему свою? Людка — это его жена...

МУЖЧИНА: Вот как... Простите за нескромный вопрос... Но у нас же тут все анонимно. Так, как я понял, у вас с женой вашего шефа — роман, да?

КЛИЕНТ: Что вы, какой роман?!.. Так, небольшая повесть. Даже, скорее, рассказик... Стишок!

МУЖЧИНА: А вы женаты, да?

КЛИЕНТ: Ну да, женат...

МУЖЧИНА: То есть можно записать, что вы изменяете своей жене.

КЛИЕНТ: Слушайте, мне бы не хотелось на эту тему так категорично.

МУЖЧИНА: Но тут вопрос четко — изменяете ли вы своей жене? В скобках — мужу. Да или нет.

КЛИЕНТ: Хм... Ну, так напишите как-то... уклончиво. Например, и да, и нет.

МУЖЧИНА: Это как — и да, и нет?

КЛИЕНТ: Ну, жене я изменяю, а мужу — нет...

Из-за двери кабинета доносится женский стон.

КЛИЕНТ: Видно, укол не помог, это бывает... (*Держась за щеку.*) Бедная...

МУЖЧИНА: Чего это она бедная? Сюда... (*Обводит пальцем.*) бедные не ходят. Кстати, вопрос: вы поддерживаете платное медицинское об-

служивание? Вот врачи говорят, что людям намного удобней класть деньги не в карман врачу, а в кассу.

КЛИЕНТ: Врачи говорят? Ха! Так понятное дело — в кассу же намного больше влезет.

МУЖЧИНА: А вот я знаю одного врача, так он с клиентов вообще ни копейки не берет! И при этом лучший специалист в своей области!

КЛИЕНТ (*недоверчиво*)**:** Не может быть... Что, стоматолог?

МУЖЧИНА: Почему обязательно стоматолог? Он патологоанатом...

КЛИЕНТ: Ужас...

МУЖЧИНА: А вот очень интересный вопрос. Как вы думаете, кто будет следующим президентом России? Сейчас найду варианты ответов... (*Ищет листик.*)

КЛИЕНТ: Ха! Да чего их искать? Там всего два варианта, конечно?

МУЖЧИНА: Ну почему всего два? Не помню точно, но там, кажется, вариантов двадцать пять...

КЛИЕНТ: Двадцать пять?!. Это интересно! Тогда, как говорится, огласите, пожалуйста, весь список.

МУЖЧИНА: Пожалуйста. (*Нашел листик.*) Вот варианты. Опять Медведев... опять Путин... и опять двадцать пять.

КЛИЕНТ: М-да... А какой-нибудь вопрос о молодежи у вас есть? Хочу высказать свое мнение о современной молодежи.

МУЖЧИНА: Да? Хм... (*Достает листик.*) Вот интересный вопрос, о пенсионном возрасте. Ваше мнение, с какого возраста у нас мужчинам надо выходить на пенсию?

КЛИЕНТ: Я думаю, что надо, как в Европе! Выходить на пенсию в шестьдесят пять лет.

МУЖЧИНА: Да?.. Боюсь, что у нас в шестьдесят пять придется на пенсию уже не выходить, а выносить... Теперь вопрос о партиях. Вы какую партию поддерживаете?

КЛИЕНТ: Я, естественно, за эту... за единую...

МУЖЧИНА (*перебивает*)**:** Ясно, отмечаем... (*Ставит галочку.*)

КЛИЕНТ: ...и справедливую Россию!

МУЖЧИНА: Стоп! Но "Единая Россия" и "Справедливая Россия" — это же две разные партии!

КЛИЕНТ: Да?! Странно... Никогда бы не подумал! Хорошо, что вы сказали.

МУЖЧИНА: Хотя действительно как-то странно получается... Что

за выбор? Одно из двух. Россия — или единая, или справедливая. Хотелось бы уже как-то два в одном... Еще такой вопросик. Назовите имена всех ваших любовниц в алфавитном порядке.

КЛИЕНТ: В алфавитном? Ну, Алла, Белла... Вероника... Елена, Жанна... Стоп! Это зачем? При анонимном опросе общественного мнения! Вы же не спрашиваете, как меня зовут.

МУЖЧИНА: Да как вас зовут, я и так знаю, Юлий Олегович. Ну, я пошел... (*Встает уходить.*)

КЛИЕНТ: Откуда вы знаете? И куда вы, а как же ваша жена? (*Показывает на дверь.*)

МУЖЧИНА (*недоуменно*)**:** Моя жена? А-а! Это я... пошутил. Понимаете, я не социолог, я частный детектив. Ваша жена наняла меня выяснить, не изменяете ли вы ей. И я решил, зачем мне за вами месяц шпионить, шнырять за спиной, дежурить в подъездах, подглядывать в окна, когда вы за полчаса мне все сами расскажете.

КЛИЕНТ: Что?!. Да как вы могли!

МУЖЧИНА: Слушайте, зато я и вам помогу — дам совет, который поможет вам сэкономить.

КЛИЕНТ: Какой еще совет?

МУЖЧИНА: Ваша жена сказала: "Если узнаю, что он мне изменяет, я ему все зубы повыбиваю!". Так что, не тратьте зря деньги на стоматолога... (*Выскакивает в дверь, Клиент за ним.*)



ИЗДАНО В ОДЕССЕ

Это было? Было! В Одессе

Одесса – чудесный город, составленный из всех наций в мире,
и наводнен итальянцами!
К.Н. Батюшков – Е.Ф. Муравьевой
12 июля <1818>. Одесса

Из мертвой Ольвии я приехал в лучший из городов наших, в Одессу.
К.Н. Батюшков – А.Н. Оленину
17 июля 1818. Одесса



Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Профессор с Дерибасовской
Одесса, Optimum, 2011

Сколько копий сломано вокруг "одесского мифа"! Здесь было все — и создание легенд, и восхищение ими, и развенчание, и желчное осмеяние...

Открываешь новую книгу Ростислава Александрова "Профессор с Дерибасовской", и словно волшебным образом попадаешь в Одессу благословенного для нее 19-го века. Заглядываешь в модные лавки, винные погреба ("легкое вино из погребов принесено на стол услужливым Отоном"), рассматриваешь канцелярские принадлежности, любуешься безукоризненной белизны почтовой бумагой, еще и украшенной литографиями К. Боссоли, Л. Боккачини и других мастеров. Не пропустишь известные книжные магазины, может, с платоническим интересом, но не откажешь себе в удовольствии полюбоваться изысканными изделиями ювелиров, будешь блаженствовать в знаменитых одесских кондитерских... Да мало ли что может привлечь твое внимание, вызвать любопытство в этом "лучшем из городов наших"!

Это беглое упоминание некоторых "предметов бытия" не даст представления о книге Ростислава Александрова. Ее нужно читать медленно, со вкусом, растягивая удовольствие от драгоценных подробностей жизни европейского города. Вслед за Батюшковым Александр Сергеевич Пушкин напишет: "Там все Европой дышит, веет", — и услышит, как "Язык Италии златой звучит по улице веселой".

Книга Р. Александрова представляет нам европейскую Одессу в 19-м веке.

Драгоценные подробности и мельчайшие детали, извлеченные за годы кропотливой работы в архивах и библиотеках. Сколько архивных документов, газет и журналов нужно было не просто прочесть, но сделать необходимые выписки, сохранить их в неукоснительном порядке, всегда готовыми к работе с ними. Но главное — носить это в своей голове. Задаешь Ростиславу Юльевичу какой-нибудь вопрос. И как из рога изобилия (а может, "волшебного рога Оберона"?), звучат фамилии — и какие! Адреса (часто менявшиеся, и мы можем наблюдать перемены в житейских обстоятельствах), дома, улицы, вид занятий, родственные связи, судьбы...

На страницах книги много имен знаменитых и не слишком известных.

Благороднейший Константин Факурович Амбарзаки, признанный (не официальный) третейский судья в запутанных спорах, уже пожилым человеком 24 июня 1916 года спас маленькую девочку от падавшего аэроплана в районе 7-й станции Фонтана ценой своей жизни.

К счастью, некоторые фамилии еще сравнительно недавно были хорошо известны в Одессе — профессор Москетти, доцент Калафати, который влетал в нашу шумную аудиторию в строительном институте и спрашивал: "Куда я попал?! В аудиторию или в испанские кортесы?!".

Мне же особенно дороги имена людей, забытых, но воскрешенных в книге Ростислава Александрова:

Каретник Браун. Упаковщик И. Славский. Тапер Л. Праусс. Установщик колокольчиков Бонардо. Цирюльник Артем Казаншев. Лаврентий Неверотти на Ришельевской улице мыл и доводил до первозданной чистоты "перья страуса склоненные". Фейерверкмейстер Иосиф Роджеро. Полотер Роберт Петерс...

Можно продолжать до бесконечности, но за каждым именем стоит реальный адрес и реальная жизнь.

Перед нами разворачивается свиток истории Одессы, явленный нам не только в именах, домах, но в смене времен, замеченной внимательным взором автора в мельчайших подробностях и выразительных деталях.

На смену блистательному прошлому приходит жестокая и безобразная реальность "окаянных дней". Начало 20-х годов 20-го века. Кончилась привычная жизнь, привычный уклад. Исчезает все. Прежде всего, люди. Потом самые необходимые вещи — "чернила, вслед за традиционными в таких случаях солью, спичками и мылом, тоже стали дефицитом. И теперь, читая в архиве какой-нибудь пространный документ, написанный в ту пору, можно увидеть, как от страницы к странице бледнеют строчки, поскольку автор все разбавлял и разбавлял свои чернила водой".

В каждой книге Ростислава Александрова есть основная тема, которая обрастает многочисленными маргинальными ответвлениями, — на радость читателю.

Главная тема книги "Профессор с Дерибасовской" — письмо и все, что с ним связано, — каллиграфия, бумага, перья, чернила, песочница и пресспапье... Имена учителей чистописания, гражданских и военных писарей...

Кто из нас задумывался, на какой бумаге писал А.С. Пушкин? Р. Александров не только задумался, но выяснил, что "сохранившиеся одесские рукописи А.С. Пушкина написаны на тонкой белой бумаге с водяными знаками нескольких иностранных фабрик: "Bondon 1821", "Hollande", "PR" и "J. WHATMAN 1821". Последнюю выпускал английский бумажный фабрикант Джеймс Ватман, который "изобрел" и плотную белую, используемую главным образом для чертежных работ бумагу, по сей день называемую его именем".

Отличная бумага, безукоризненное перо, не выцветающие чернила — и это было непременным условием того, что называлось "хорошими манерами", входило в культурное, цивилизационное устройство города. А если к этому добавить стремление обладать ясным красивым почерком (как знак вежливости к своему корреспонденту!), то становится понятно, почему Ростислав Александров уделяет такое внимание обучению каллиграфии, как прежде называлось чистописание. Сколько имен, адресов одесских каллиграфов, с указанием цен на их уроки! Причем автор непременно для сравнения приводит цены на различные услуги, ну, хоть в бане Исаковича. Не выцветающие чернила, стальные перья, среди них те, которые получили имя их создателя, Адольфа Исидоровича Коссодо, того "Профессора с Дерибасовской", в честь и память которого и названа новая книга Ростислава Александрова.

Памятник Александру Сергеевичу Пушкину на Приморском бульваре. Р. Александров развенчивает засаленные истории, связанные с установкой памятника, и воздает должное людям, безвозмездно передавшим

на ступени памятника славившийся "гранит гниванских ломокъ Винницкого уезда". Надпись об этом с именами благотворителей была высечена на верхней ступени памятника, со стороны бульвара. Но "к нему не зарастет народная тропа". И сотни тысяч подошв стерли эту признательную надпись.

К счастью, сохранились классически ясные надписи, вырезанные в граните на лицевой стороне, — "А.С. Пушкину граждане Одессы", и противоположной — "Сооружен в 1888 году".

"Эскизы надписей безо всякой за то оплаты создали и в масштабе один к одному передали в работу известный одесский архитектор Юрий Мелетьевич Дмитренко и профессор с Дерибасовской Адольф Исидорович Коссодо. И остались эти надписи каменными их автографами, безымянными, правда, но по благородству души своей они на другое, наверное, и не рассчитывали. Такие были времена..."

Так, напоминанием о былом благородстве и бескорыстии и тихим невысказанным упреком нашим меркантильным временам (мне так послышалось) заканчивается книга Ростислава Александрова.

А в заключение мне хочется поведать один эпизод. Недавно мой приятель с университетских времен в Ленинграде, один из ведущих специалистов Эрмитажа Борис Иосифович Асварищ спросил меня о благотворительной (в помощь бедным) выставке в Одесской бирже в 1850 году. К стыду и сожалению, ничего о ней не знаю, и на мой вопрос, почему выставка его интересует, он ответил: "Это была ПЕРВАЯ экспозиция современной европейской живописи в России. Ее каталог был издан в Одессе по-французски". До Салонов Издебского оставалось еще более полувека.

Так "одесский миф" или европейский город Одесса?

Может, и об этой выставке мы со временем прочтем у Ростислава Александрова?..

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ

Книжный развал

ИЗДАНО В ОДЕССЕ



Константин А. ИЛЬНИЦКИЙ
Географии разрез
Одесса, 2010

Журналист, директор издательства "Порты Украины", главный редактор одноименного журнала Константин Алексеевич Ильницкий в детстве, юности, как и многие, писал стихи. Казалось бы, забылось юношеское увлечение. Но в апреле 2008 года — после того, как в Черногории погиб его сын Алексей, на 29 году жизни, свое горе, свой плач Костя не мог выразить иначе, как только стихами. Так возникли одиннадцать стихотворений цикла "Лёшкина Голгофа". В предисловии К. Ильницкий признался: "Чтобы выжить в те дни, я начал писать стихи".

Мне кажется, очень хорошие стихи. За три года написано уже пятьдесят стихотворений. С гордостью могу сказать, что все они публиковались в нашем альманахе, в газете "Всемирные одесские новости".

Сегодня, собранные вместе, они книгой "Географии разрез" пришли к читателю. Не часто бывает, что первая книга поэта оказывается столь зрелой. Но за плечами автора не только жизненный опыт, но и пронесенная сквозь жизнь любовь к настоящей поэзии.

Эту книгу Константин Ильницкий посвятил матери Алексея, поэту и прозаику Ольге Ильницкой.

А в моем компьютере уже есть файл с новыми стихами Константина Ильницкого. Они будут опубликованы в следующем выпуске "Дерибасовской — Ришельевской".



Сергей ЛУЩИК, Владимир СЕЛИВАНОВ
Роберт Граббе – художник из Караганды
Одесса, Печатный дом, 2011

Сергей Лущик – старейший и авторитетнейший исследователь культурного пространства Одессы, библиофил и краевед, автор, книг о Салонах Издебского, о Вениамине Бабаджане, катаевском романе "Уже написан Вертер" и других, не менее интересных и значительных.

Владимир Селиванов – увлеченный коллекционер экслибрисов, пропагандист графики малых форм. Оба они как коллеги, члены научной секции книги одесского Дома ученых (кстати, и об этой секции С.З. Лущик написал обстоятельную книгу), заинтересовались творчеством бывшего студента одесского художественного училища 20-х годов, затем проживавшего в далекой Караганде, Роберта Граббе.

Интерес С. Лущика был связан с тем, что Граббе был иллюстратором книг Эдуарда Багрицкого, дружил с поэтом. Интерес В. Селиванова, естественно, привлекли экслибрисы Р. Граббе, а этому жанру художник был верен 60 лет – с 1924 по 1985 год.

Книга получилась информационно насыщенной и эмоциональной. Ибо и сегодня, спустя годы, трудно читать без волнения пусть скупые, но выразительные строки писем Р. Граббе авторам книги.

Неожиданная находка подстерегала и меня в этой книге. Впервые обратил внимание, а Сергей Лущик приводит полностью титульный лист книги Э. Багрицкого "Дума про Опанаса", что либретто по поэме, написанное Багрицким для оперы, было посвящено Д. Шмидту. А в апреле я писал предисловие к одесскому изданию "Конармии" И. Бабеля. И там один из рассказов посвящен Д. Шмидту. Начал выяснять, кто это, – и понял, что это тема для отдельного очерка, настолько все интересно. Так что постараюсь продолжить поиски и опубликовать их в нашем альманахе.



Николай ДРОННИКОВ
Русский Париж
Одесса, Симэкс-принт, 2011

Художник Николай Дронников уже давно вошел в культурную жизнь Одессы. Он многие годы живет в Париже, но в Одессе выходят книги с его рисунками, проходят выставки его работ. Заслуга в этом, прежде всего, Игоря Потоцкого, который и в этой книге выступает и как редактор, и как автор стихов о Париже.

Но, естественно, особую привлекательность придает этому изданию возможность увидеть графические этюды Н. Дронникова, портреты тех, кто представлял и представляет "русский Париж", а это Аркадий Столыпин и Петр Данзас, Алексей Хвостенко и Александр Галич, Лев Савинков и Серж Лифарь, Виктор Некрасов и Наталья Горбаневская... Нет возможности перечислить все тридцать четыре портрета, мгновенных наброска, за которыми угадывается и характер, и настроение.

Все вместе они приносят в Одессу удивительную раскрепощенность Парижа, его ауру.

Свои заметки Н. Дронников назвал "Русский Париж по обе стороны баррикад — литературных и поэтических".

Есть в книге статья об одесских художниках в Париже (Е. Голубовского и Е. Деменка), статьи о творчестве Н. Дронникова на страницах одесской прессы (М. Гудымы, А. Остроуховой, Г. Маркеловой, Н. Бжестовской, И. Потоцкого) и поэтический этюд о Париже молодого прозаика Анастасии Мамонтенко.

ИЗДАНО В ФЕОДОСИИ – МОСКВЕ



Зинаида ШИШОВА
Сильнее любви и смерти
Стихотворения. Воспоминания. Письма
Феодосия – Москва,
Издательский дом "Коктебель", 2011

Сегодня Зинаида Шишова (1898-1977) известна как детский писатель, автор книг "Джек-Соломинка", "Великое плаванье", но в 1917-1919 годах Зика Шишова была одесским поэтом, равноправным участником заседаний "Коллектива поэтов", "Зеленой лампы".

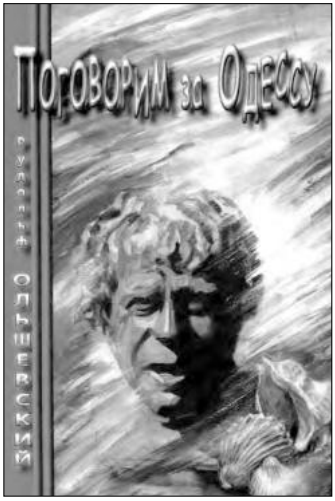
Усилиями невестки З.К. Шишовой Натальи Колышкиной, заместителя директора Одесского литмузея Алены Яворской, редактора-издателя Дмитрия Лосева и автора этих строк поэтическое наследие Зинаиды Шишовой, а это не только сборник "Пенаты", изданный в Одессе в 1919 году, но и поэма "Блокада" – одно из самых честных свидетельств о ленинградской трагедии, возвращены читателям.

Так постепенно исчезают "белые пятна" в истории литературы нашего города – изданы книги стихов трагически погибшего первого мужа З. Шишовой – Анатолия Фиолетова, книги стихов Ю. Олеши, В. Катаева, ранних, одесских стихов С. Кирсанова... Читателям решать: все это история литературы или настоящая литература.

Но "белые пятна" еще остаются. Лишь готовится к печати "Одесский Шенгели", ждет своего возвращения Эскесс (Семен Кессельман)...

Но пока будем радоваться тому, что на заветной одесской книжной полке появились стихи Зинаиды Шишовой.

ИЗДАНО В БОСТОНЕ



Рудольф ОЛЬШЕВСКИЙ
Поговорим за Одессу. Рассказы
Бостон, 2010

Недавно наш альманах сообщал о большом томе стихов Р. Ольшевского, как бы подводящем итог его поэтического творчества. А сейчас жена Рудольфа Ада Ольшевская прислала том рассказов, написанных Р. Ольшевским уже в эмиграции, но посвященных его любимому городу — Одессе.

Рудольф Ольшевский прожил 65 лет. Он родился в сентябре 1938 года, умер в 2003 году. Детство, юность — это Одесса, зрелые годы — Кишинев, последние три года жизни — Бостон. Это хронология. А творчество — как бы продолжение южнорусской школы — проникнуто добром и иронией, в нем слышится гул Черного моря.

Рудику (а именно так его звали друзья) посвящено много статей, стихов. Но одно из самых лучших написал Юрий Михайлик. Я рад, что в эту книгу, словно в заключение, Ада Ольшевская включила это стихотворение. Вот несколько строк из него:

Ничем мы не лучше прочих за столом или на столе,
но за нами придет шаланда, а не ладья Харона,
чтоб, откачнувшись на веслах, угадать в густеющей мгле
знакомый берег Отрады, зеленый склон Ланжерона...

...Налегай на весла, вглядывайся во тьму — дальний берег еще горбат.
Мы ушли не сегодня, мы устарели прежде, чем постарели.
Но там, над шарами и плитами, взлетает стремительный акробат,
мой веселый друг, загорелый как дьявол уже в апреле.

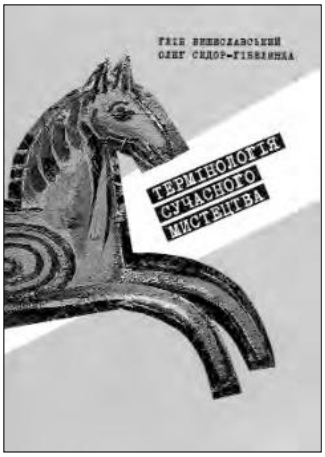
Понимаю, что рекомендовать всем прочесть эту книгу, вышедшую в Бостоне, напрасно. Но в Интернете выставлены рассказы "Поговорим за Одессу", а раз так, возможность войти в фантасмагорический мир нашей одесской жизни существует.

Будем же благодарны Аде Ольшевской, хранительнице памяти.

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ



Про неологізми та жаргони



Гліб ВИШЕСЛАВСЬКИЙ, Олег СИДОР-ГІБЕЛИНДА
Термінологія сучасного мистецтва
Paris – Kyiv, Terra Incognita, 2010

В подзаголовке к своему труду авторы после определения "сучасного" вставили еще и "візуального", а после "мистецтва" уточнили — "в Україні". И это сразу же определяет координаты объекта исследования.

Действительно, под термин "современное" попадает и живопись, и графика, и скульптура, и керамика, — традиционные виды художественной деятельности. А вот "визуальность" — свойство пограничных жанров, рожденных в последние годы минувшего и первые нынешнего столетий. Это — и видеоарт, и компьютерные штудии, и интернет-витрибеньки. Словом, границы современного искусства значительно расширяются — и многое еще нам только предстоит почувствовать, уловить и пережить. А авторам — отобразить "весь этот джаз" в дополненном издании...



Мирослав Кульчицкий. Обложка книги "Germania" 1994 г.

В книге много занимательного и неожиданного даже для меня, который (так уж вышло) был причастен к рождению, развитию и перерождению некоторых упомянутых на ее страницах разновидностей сучасного і зокрема — візуального. Разумеется, в Украине, и в частности, — в Одессе.



Сергей Ануфриев, Маргарита Жаркова, Вадим Бондаренко, Игорь Гусев, Юлия Депешмод и др.
Аква вита. Мост и лодка. 1993 г.

В алфавитном порядке даются определения терминов, которые со временем (за какой-то век, а то и за десятилетие) наполнились иным — дополнительным содержанием. Среди них — и классический "Авангардизм" с его подразделениями, и отечественный "Алк-арт", не нуждающийся в расшифровке, и многоликий "Гепенінг" — он же — "Хеппенинг", и советский неологизм "Заказуха", и "Гей-готика" — совсем не то, что вы подумали...



Леонид Войцехов
Эта рубаха ближе к телу
1983 г.

Наш город, его новаторы, интерпретаторы, создатели направлений и даже школ встречаются на страницах довольно часто. Есть несколько терминов, которые, уверен, многие даже искушенные читатели встретят впервые именно здесь. Скажем, "Жорсткий Одеський кул" — такова эмоциональная (джазовая) характеристика группы одесситов из группы АПТАРТ (80-е годы). А был еще и "Кул Московский". Чем они отличались? Загляните в книгу.

Один из авторов — Глеб Вышеславский — наш добрый и давний знакомый, как мне кажется, с особым вниманием и даже симпатией относится к одесситам и тому, что они делают. Недавно он представлял "Термінологію..." на презентации в одной из галерей, а затем бродил по городу, ходил на выставки, мы с ним о многом говорили, о многом вспоминали. Глеб сделал фотографии работ в мастерских и у собирателей — набирал материал для новых книг...



Александр Лисовский
Без названия. 1995 г.

Но вернемся к рецензируемой новинке. Объемистый том (415 страниц

убористого шрифта) содержит много интересного, порой неожиданного, и предназначен и для неспешного чтения, и для справки, и для размышлений. К примеру, о том, как несколько молодых ребят однажды придумали себе то ли дело, то ли забаву и пригласили нас то ли на вернисаж, то ли на тусовку, то ли на массовку, то ли подурачиться вместе, то ли в Шахском дворце, то ли на Потемкинской лестнице, то ли на Староконном базаре... И вот сегодня два уважаемых искусствоведа изыскивают средства (в основном — международные фонды и отечественные галереи), собирают свои публикации разных лет, пишут новые, все это систематизируют и выстраивают книгу, в которой давний одесский хеппенинг обретает осмысление, к нему присовокупляется термин, и уже кажется, что без него история сучасного візуального мистецтва просто немыслима...

Но может быть, так оно и есть.

Феликс КОХРИХТ



Содержание

От редакции 3

ИСТОРИЯ, КРАЕВЕДЕНИЕ

Олег ГУБАРЬ
Функции Одесского строительного комитета в контексте истории градостроительства Одессы 6

Ева КРАСНОВА, Анатолий ДРОЗДОВСКИЙ
"Соловки — жемчужина Белого моря" 15

Олег ГУБАРЬ
"Энциклопедия забытых одесситов" 25

Ирина АВЕРИНА
"Культурное гнездо" Щепкиных-Станкевичей 32

Геннадий ГРЕБЕННИК
Записки обитателя одесского истфака 42

Феликс КОХРИХТ
Бальная Одесса 49

ОДЕССКИЙ КАЛЕНДАРЬ

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Четыре угла 52

Ростислав АЛЕКСАНДРОВ
Саша Черный родился в доме у самого Александровского участка 55

ПРОЗА

Дмитрий ГЛУХОВСКИЙ
Телефонное право 62

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ
Тосты жён 75

Валерий ПОПОВ
Три рассказа 79

Вячеслав ПЬЕЦУХ
Эволюция продолжается 95

Асар ЭППЕЛЬ
Кладем петунии 105

Леонид ЮЗЕФОВИЧ
Колокольчик. 1989 г. 113

ПОЭЗИЯ

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
У Эвксинского Понта 133

Юрий МИХАЙЛИК
Из новых стихотворений 144

Владимир САЛИМОН
"Май, а жарко, как в июле..." 146

Ефим ЯРОШЕВСКИЙ
...приметы осени, предчувствие зимы 157

ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА

Евгений СОЛОНОВИЧ
Господин Гоголь сказал мне... 163

Джузеппе Джоакино БЕЛЛИ
Сонеты 167

ДРАМАТУРГИЯ

Олег КУДРИН
Вольфрам, или Праздник Вильгельма Телля 181

ЖИЗНЬ – ИСКУССТВО – ЖИЗНЬ

Николай БОГОМОЛОВ
Из заметок об одном бабелевском рассказе 197

Снежана ПАВЛОВА
Два интервью о Бабеле 205

Александра ИЛЬФ
Подарок от мамы 211

Роман БРОДАВКО
Маэстро 229

Виктор КОНДЫРЕВ
От Сталинграда до Пигаль 233

Вика ХРУЩ
"Хрущ пришел!" 242

Евгений ДЕМЕНОК
Одесситы в Праге 254

Феликс КОХРИХТ
"Смутная алчба – 2": от "А" до "Я" 267

НАШИ ПРЕДШЕСТВЕННИКИ

Татьяна ЩУРОВА
"Пусть чуждый дым у дивной двери тает…" 272

ПУТЕШЕСТВИЕ

Феликс КОХРИХТ
"Черногорцы? Что такое?" 286

АХ, ОДЕССА

Анатолий ГОРБАТЮК
Записки бывшего эмигранта 290

Инна ИЩУК
Золотые чаевые 297

Владимир ТРУХНИН, Ирина ПОЛТОРАК
"Городок" — пятый угол! 306

ИЗДАНО...

Валентина ГОЛУБОВСКАЯ
Это было? Было! В Одессе 311

Евгений ГОЛУБОВСКИЙ
Книжный развал 315

Феликс КОХРИХТ
Про неологізми та жаргони 321



Литературно-художественное издание

ДЕРИБАСОВСКАЯ — РИШЕЛЬЕВСКАЯ

Одесский альманах

Книга 45

DERIBASOVSKAYA — RISHELIEVSKAYA

Odessa almanac

Book 45

Издается с 2000 года

Технический редактор Евгений Светин
Корректор Татьяна Коциевская

Оригинал-макет, верстка
ТИА "Вікна-Одеса"
Тел. 067 48-03-705

Подписано в печать 27.05.2011.
Бумага офсетная. Печать офсетная.
Формат 60x84/16
Физ. печ. л. 20,75. Усл. печ. л. 19,2
Зак. № 2. Тираж 500 экз.

www.odessitclub.org

Отпечатано в типографии издательства "Печатный дом"

Издательская организация "ПЛАСКЕ" АО
Регистрационное свидетельство ДК № 2149 от 08.04.05
а/я 299, г. Одесса, 65001, УКРАИНА
Тел. +38 (048) 7 385 385
E-mail: books@plaske.ua

ВСЕМИРНЫЙ
КЛУБ ОДЕССИТОВ



WORLDWIDE
CLUB OF ODESSITES

7, Marazlievskaya St., Odessa, 65014, Ukraine. Tel. +38 (048) 725-45-67